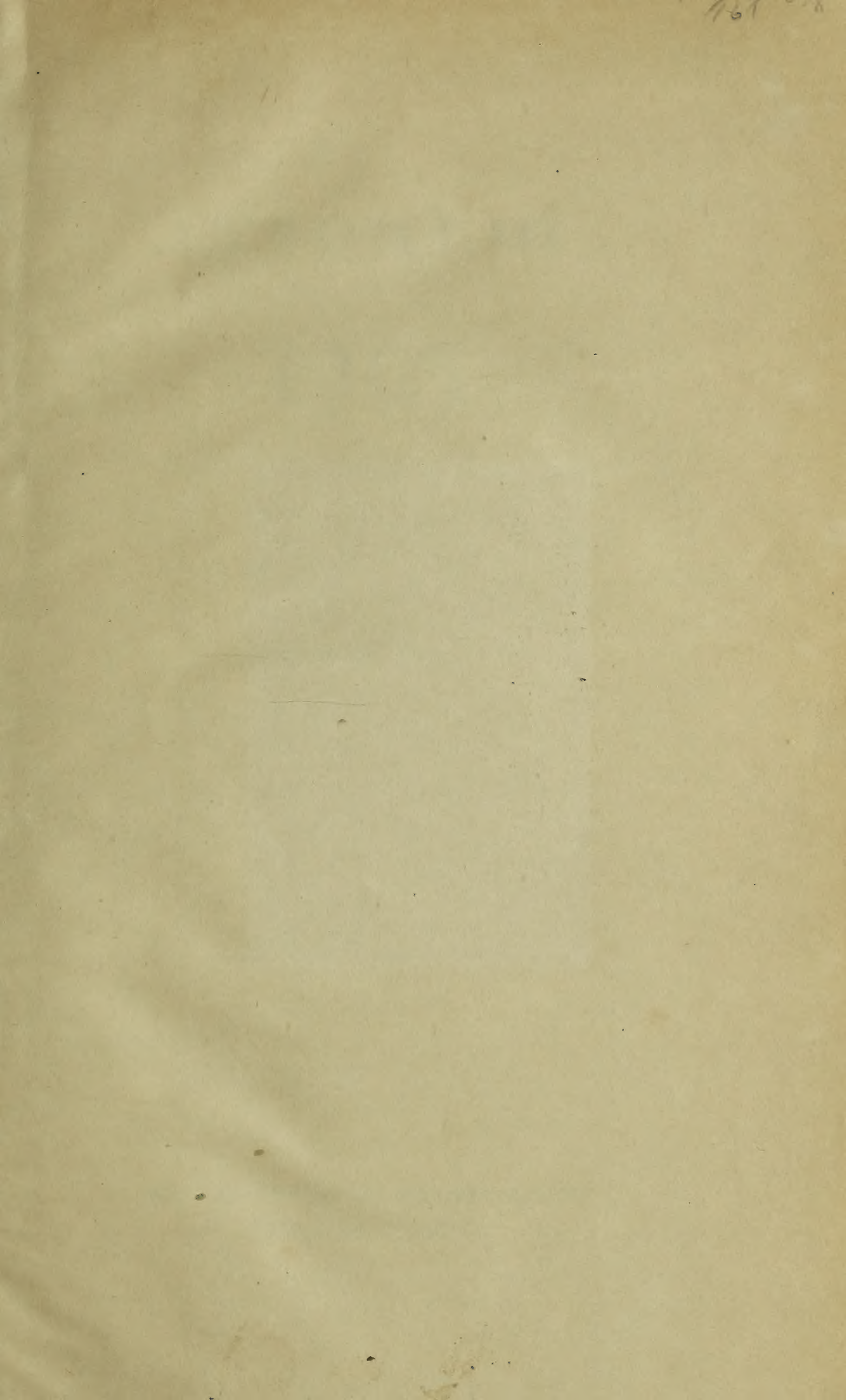


Л. ТРОЦКИЙ

# 1905

2-ое ИЗДАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА ~ 1922

Гиз. № 3162. Главлит. № 411. Москва. Напеч. 10.000 экз.

1-я Образцовая типография М. С. Н. Х. Пятницкая, 71.

# Предисловие к первому изданию.

События 1905 г. являются могущественным прологом к революционной драме 1917 г. В течение ряда лет победоносной реакции 1905 год стоял перед нашим сознанием, как законченное целое, как русская революция. Сейчас он эту самостоятельность утратил, нисколько не умалившись в своем историческом значении. Революция 1905 г. непосредственно выросла из русско-японской войны, как революция 1917 г. явилась непосредственным плодом великой империалистской бойни. Таким образом и по происхождению и по развитию пролог заключал в себе все элементы той исторической драмы, свидетелями и участниками которой мы ныне являемся. Но в прологе эти элементы заключались в сжатом, еще неразвернутом виде. Все составные силы, выступавшие в 1905 г. на арене борьбы, ярче, чем ранее, освещаются теперь отбрасываемым назад светом событий 1917 года. Красный Октябрь, как мы его называли уже и тогда, вырос через двенадцать лет в другой, несравненно более могучий и подлинно победоносный Октябрь.

Большим нашим преимуществом в 1905 г. было то, что уже в эпоху революционного пролога мы, марксисты, были вооружены научным методом познания исторического процесса. Это позволяло теоретически разбираться в тех отношениях, которые материальным процессом истории давались только в виде намеков. Уже хаотическая июльская стачка 1903 г. на юге России дала ма-

териал для выводов о том, что основным методом русской революции явится всеобщая стачка пролетариата с ее последующим превращением в вооруженное восстание. События 9 января, яркое подтверждение этого прогноза, потребовали конкретной постановки вопроса о революционной власти. С этого момента остро ставится в рядах тогдашней русской социал-демократии вопрос о природе русской революции и ее внутренней классовой динамике. Именно в промежуток между 9 января и октябрьской стачкой 1905 г. сложились у автора те взгляды на характер революционного развития России, которые получили название теории «перманентной революции». Мудреное название это выражало ту мысль, что русская революция, перед которой непосредственно стоят буржуазные цели, не сможет, однако, на них остановиться. Революция не сможет разрешить свои ближайшие, буржуазные задачи иначе, как поставив у власти пролетариат. А этот последний, взявши в руки власть, не сможет ограничить себя буржуазными рамками революции. Наоборот, именно для обеспечения своей победы, пролетарскому авангарду придется на первых же порах своего господства совершать глубочайшие вторжения не только в феодальную, но и в буржуазную собственность. При этом он придет во враждебные столкновения не только со всеми группировками буржуазии, которые поддерживали его на первых порах его революционной борьбы, но и с широкими массами крестьянства, при содействии которых он пришел к власти. Противоречия в положении рабочего правительства в отсталой стране, с подавляющим большинством крестьянского населения, смогут найти свое разрешение только в международном масштабе, на арене мировой революции пролетариата. Взорвав, в силу исторической необходимости, ограниченные буржуазно-демокра-

тические рамки русской революции, победоносный пролетариат вынужден будет взорвать ее национально-государственные рамки, т.-е. должен будет сознательно стремиться к тому, чтобы русская революция стала прологом революции мировой.

Хотя и с перерывом в 12 лет, эта оценка подтвердилась целиком. Русская революция не могла завершиться буржуазно-демократическим режимом. Она должна была передать власть рабочему классу. Если этот последний оказался в 1905 г. еще слишком слаб для завоевания власти, то крепнуть и дозревать ему пришлось не в буржуазно-демократической республике, а в подполье 3-июньского царизма. Пролетариат пришел в 1917 г. к власти, опираясь на приобретенный в 1905 г. опыт своего старшего поколения. Молодым рабочим нужно овладеть этим опытом, нужно знать историю 1905 г.

* * *

В виде приложения к первой части книги я решил дать две статьи, из которых одна (о книге Череванина) была напечатана в журнале Каутского «Neue Zeit», в 1908 г., а другая, посвященная обоснованию теории «перманентной революции» и полемике с господствовавшими тогда в русской социал-демократии воззрениями на этот предмет, была напечатана (кажется, в 1909 г.) в польском партийном журнале, вдохновителями которого были Роза Люксембург и Лео Иогихес. Эти статьи, как мне кажется, не только облегчат ориентировку в идейной борьбе среди русских социал-демократов, в период, непосредственно следовавший после первой революции, но и бросят отраженный свет на некоторые важнейшие вопросы сегодняшнего дня. Завоевание власти вовсе не было октябрьскою импровизациею 1917 г., как думал обыва-

тель, и национализация фабрик и заводов победоносным рабочим классом отнюдь не явилась «ошибкой» рабочего правительства, не внявшего своевременно предостерегающему голосу меньшевиков. Вопросы эти обсуждались и принципиально разрешались в течение полутора десятилетий.

Борьба вокруг вопроса о характере русской революции уже в тот период вышла за пределы русской социалдемократии и захватила передовые элементы мирового социализма. Меньшевистская концепция буржуазной революции была наиболее добросовестно, то-есть наиболее плоско и откровенно, изложена в книжке Череванина. Немецкие оппортунисты уже тогда уцепились за нее. По предложению Каутского, я дал оценку книжки Череванина в «Neue Zeit». Каутский тогда целиком присоединился к этой оценке. Сам он, как и покойный Меринг, стоял на точке зрения «перманентной революции». Теперь, задним числом, Каутский зачисляет себя в меньшевики. Он хочет свое прошлое принизить до уровня своего настоящего. Однако эта фальсификация, вытекающая из потребностей нечистой теоретической совести, встречает препятствия в печатных документах. То, что Каутский писал в ту, лучшую, эпоху своей научно-литературной деятельности (его ответ польскому социалисту Люсня, его этюды об американском и русском рабочем, его ответ на анкету Плеханова о характере русской революции и пр.), было и остается беспощадным ниспровержением меньшевизма и полным теоретическим оправданием последующей революционной тактики большевиков, которых тупицы и ренегаты, с нынешним Каутским во главе, обвиняют в авантюризме, демагогии и бакунизме.

В качестве третьего приложения я даю статью «Борьба за власть», напечатанную в 1915 году в парижской газе-

те «Наше Слово» и сводящуюся к обоснованию той мысли, что политические отношения, определенно наметившиеся в Первую Революцию, должны найти свое завершение во Второй.

* * *

В отношении формальной демократии в этой книге, как и в том движении, какое она обобщала, нет еще необходимой ясности. И немудрено: полной отчетливости в этом вопросе не было у нашей партии и десять лет спустя, в 1917 г. Но эта неясность или недоговоренность не имели в себе ничего принципиального. Мы были и в 1905 г. бесконечно далеки от мистицизма демократии; ход революции мы представляли себе не как осуществление абсолютных демократических норм, а как борьбу классов, которые пользуются для своих временных нужд лозунгами и учреждениями демократии. Мы прямо выдвигали в ту пору лозунг завоевания власти рабочим классом и выводили неизбежность этого завоевания не из шансов «демократической» избирательной статистики, а из соотношения классов. Петербургские рабочие уже в 1905 г. называли свой Совет пролетарским правительством. Это название вошло в тогдашний обиход и целиком укладывалось в программу борьбы за завоевание власти рабочим классом. В то же время мы противопоставляли царизму развернутую программу политической демократии (всеобщее избирательное право, республику, милицию и пр.). Иначе мы и не могли поступать. Политическая демократия есть необходимый этап в развитии рабочих масс—с той существеннейшей оговоркой, что в одном случае этот этап проходится ими в течение десятилетий, а в другом—революционная ситуация позволяет массам освободиться от предрассудков политической демократии еще прежде, чем ее учреждения осуществились на деле. Государствен-

ный режим русских эс-эров и меньшевиков (март—октябрь 1917 г.) полностью и целиком скомпрометировал демократию прежде, чем она успела отлиться в законченные буржуазно-республиканские формы. Но и в этот период, непосредственно предшествовавший пролетарскому перевороту, мы, написав на своем знамени: «вся власть Советам», все еще шли формально под лозунгами демократии, не давая не только массам, но и себе законченного ответа на вопрос, что же будет, если зубья колес формальной демократии не совпадут с зубьями советской системы? В эпоху, когда писалась наша книга, как и гораздо позже, в эпоху керенщины, существо задачи состояло для нас в фактическом овладении властью рабочим классом,— формальная, правовая сторона этого процесса отступала на третьестепенный план, и мы просто не давали себе труда распутывать формальные противоречия в то время, когда еще предстояло брать с бою материальные препятствия.

Разгон Учредительного Собрания был революционно-грубым осуществлением той цели, которая могла бы быть достигнута и путем отсрочки и соответственной подготовки выборов. Но именно это пренебрежительное отношение к правовой технике борьбы поставило проблему революционной власти ребром, а разгон Учредительного Собрания вооруженной силой пролетариата потребовал, в свою очередь, полного пересмотра вопроса о взаимоотношении между демократией и диктатурой. Пролетарский Интернационал в конечном счете только выиграл от этого как теоретически, так и практически.

* * *

История этой книги в двух словах такова. Написана она в 1908—1909 г.г. в Вене для немецкого издания, кото-

рое вышло в Дрездене. В основу немецкой книги легли некоторые главы русской книги «Наша революция» (1907 г.), но значительно измененные и приспособленные для иностранного читателя. Большая часть книги была написана заново. Сейчас пришлось воссоздавать текст отчасти по сохранившимся русским рукописям, отчасти путем перевода с немецкого. При этом я пользовался сотрудничеством тов. Румера, который с чрезвычайной тщательностью выполнил работу. Весь текст был мною просмотрен. Надеюсь, что читатель будет избавлен от тех неисчислимых ошибок, описок, искажений и опечаток, которыми кишмя-кишат наши издания.

*Л. Троцкий.*

Москва,
12 января 1922 г.

---

## Предисловие ко второму изданию.

От первого русского издания настоящее отличается двумя дополнениями: 1) речью автора на лондонском съезде партии (1907 г.): об отношении социал-демократии (по тогдашнему) к буржуазным партиям в революции и 2) ответом т. Покровскому на тему об особенностях исторического развития России.

*Л. Т.*

10 июля 1922 г.

---

# Предисловие к немецкому изданию.

Время для исчерпывающей исторической оценки русской революции не наступило,—отношения для этого еще недостаточно определились; революция продолжается, влечет за собой все новые и новые последствия,—значение ее необозримо. Предлагаемая книга и не претендует на роль исторического труда, она хочет быть свидетельством очевидца и участника по живым следам событий, освещаемых с партийной точки зрения автора, который в политике является социал-демократом [1]), а в науке марксистом. Автор прежде всего стремился уяснить читателю революционную борьбу русского пролетариата, нашедшую в деятельности петербургского Совета Рабочих Депутатов свой кульминационный пункт и вместе с тем трагическое завершение. Если ему это удалось, он будет считать свою основную задачу выполненной.

* * *

«Вступление» анализирует экономическую основу русской революции. Царизм, русский капитализм, аграрная структура России, ее производственные отношения и формы, ее общественные классы, землевладельческое дворянство, крестьянство, крупный капитал, мелкая буржуазия, интеллигенция, пролетариат—в их отношении друг

---

[1]) В те времена мы все еще носили имя социал-демократов.

к другу и к государству—таково содержание «вступления», имеющего целью показать читателю в их статике те общественные силы, которые в последующем предстанут пред ним в революционной динамике.

* * *

Наша книга отнюдь не притязает также и на полноту фактического материала.

Мы умышленно отказались от задачи дать подробное изображение революции во всей стране; в ограниченных рамках нашей работы мы могли бы дать разве только перечень фактов, быть может, полезный для справок, но ничего не говорящий ни о внутренней логике событий, ни об их живой форме. Мы избрали другой путь: выделив те события и учреждения, в которых как бы резюмировался смысл революции, мы поставили в центре нашего изображения центр самого движения—Петербург. Мы покидаем почву северной столицы лишь постольку, поскольку сама революция переносит свою главную арену на берега Черного моря («Красный флот»), в деревню («Мужик бунтует») или в Москву («Декабрь»).

* * *

Ограничив себя в пространстве, мы должны были сжать себя и во времени.

Последним трем месяцам 1905 г.—октябрю, ноябрю и декабрю, этому кульминационному периоду революции, начавшемуся великой всероссийской октябрьской стачкой и закончившемуся разгромом декабрьского восстания в Москве,—мы уделили главное место.

Что касается до предшествующего подготовительного периода, то мы извлекли из него два момента, необходимые для понимания общего хода событий. Во-пер-

вых, краткую «эру» князя Святополка-Мирского, этот медовый месяц сближения между правительством и «обществом», когда все дышало сердечнейшим доверием, когда правительственные сообщения и либеральные передовицы писались отвратительной смесью из анилина и патоки. Во-вторых, 9 января, несравненное по своему драматизму Красное Воскресенье, когда насыщенную доверием атмосферу прорезали со свистом пули гвардейцев и сотрясли проклятия пролетарских масс. Комедия либеральной весны пришла к концу,—начиналась трагедия революции.

Восемь месяцев между январем и октябрем мы обошли почти полным молчанием. Как ни интересно это время само по себе, оно не дает ничего принципиально нового, без чего история трех решающих месяцев 1905 г. оставалась бы непонятной. Октябрьская стачка почти так же непосредственно вытекает из январского шествия к Зимнему Дворцу, как декабрьское восстание—из октябрьской стачки.

Заключительная глава исторической части подводит итоги революционного года, анализирует методы революционной борьбы и дает краткое изложение политического развития следующих трех лет. Решающий вывод этой главы можно выразить словами: «La révolution est morte, vive la révolution!».

* * *

Глава, посвященная октябрьской стачке, помечена ноябрем 1905 г. Статья была написана во время последних часов великой стачки, которая загнала в тупик правящую клику и заставила Николая II дрожащей рукой подписать манифест 17 октября. В свое время статья была опубликована в двух номерах петербургской социал-демократи-

ческой газеты «Начало»; она воспроизведена здесь почти без изменений—не только потому, что она с достаточной для нашей цели полнотой рисует общую картину стачки, но еще и потому, что она уже самым своим настроением и тоном характеризует до известной степени публицистику той эпохи.

* * *

Вторая часть книги представляет собою самостоятельное целое: это история судебного процесса Совета Рабочих Депутатов и далее—ссылки в Сибирь и бегства автора этой работы. Между обеими частями книги есть, однако, внутренняя связь. Не потому только, что петербургский Совет Рабочих Депутатов к концу 1905 г. стоял в центре революционных событий, но прежде всего потому, что его арестом открывается эпоха контр-революции. Ее жертвами падают все революционные организации страны одна за другой. Систематически, шаг за шагом, с бешеным упрямством и кровавой мстительностью победители вытравляют все следы великого движения. И чем меньше они чуют непосредственную опасность, тем кровожаднее становится их низменная мстительность. Петербургский Совет Рабочих Депутатов был привлечен к ответственности еще в 1906 г.—высшее наказание было: лишение всех прав и бессрочная ссылка в Сибирь. Екатеринославский Совет Рабочих Депутатов предстал перед судом только в 1909 г.—результат был иной: несколько десятков осужденных на каторжные работы и 32 смертных приговора, из которых 8 было приведено в исполнение.

После титанической борьбы и временной победы революции наступает эпоха ликвидации,—аресты, ссылка, попытка к бегству, рассеяние по всему миру... Такова связь между обеими частями этой книги.

* * *

Мы заключаем предисловие выражением горячей благодарности известной петербургской художнице, госпоже Зарудной-Кавос, которая предоставила в наше распоряжение свои карандашные этюды и рисунки пером, сделанные ею во время судебного процесса Совета Рабочих Депутатов.

Вена,
октябрь 1909 г.

1905

# Социальное развитие России и царизм.

Наша революция [1]) убила нашу «самобытность». Она показала, что история не создала для нас исключительных законов. И в то же время именно русская революция имеет совершенно своеобразный характер, который является итогом особенностей всего нашего общественно-исторического развития и, в свою очередь, раскрывает совершенно новые исторические перспективы.

Нет надобности останавливаться на метафизическом вопросе о том, имеем ли мы при сравнении России с Западной Европой дело с «качественным» или «количественным» различием. Но нельзя сомневаться в том, что основное отличие русского социального развития составляет его медленность и примитивность. Русское государство, в сущности, немногим моложе европейских государств: начало русской государственной жизни летопись ведет с 862 года. Однако крайне медленный темп экономического развития, обусловленный неблагоприятной естественной средой и редкостью населения, задерживал процесс социальной кристаллизации и наложил на всю нашу историю отпечаток крайней отсталости.

Трудно сказать, как сложилась бы жизнь русского государства, если бы она протекала изолированно, под влиянием одних только внутренних тенденций. Достаточно того, что этого не было. Русская общественная жизнь находилась—и чем дальше, тем больше—под непрестанным давлением более развитых общественных и государственных отношений Западной Европы. При слабом сравнительно развитии международной торговли решающую

---

[1]) Речь идет о революции 1905 г. и о тех изменениях, какие она внесла в общественную и государственную жизнь России: формирование партий, думское представительство, открытая политическая борьба и пр.

роль играли междугосударственные военные отношения. Социальное влияние Европы в первую очередь сказывалось чрез посредство военной техники.

Русское государство, возникшее на примитивной экономической основе, столкнулось на своем пути с государственными организациями, которые сложились на более высоком экономическом базисе. Здесь открывались две возможности: русское государство должно было либо пасть в борьбе с ними, как пала Золотая Орда в борьбе с московским царством, либо оно должно было обгонять развитие своих собственных экономических отношений, поглощая под давлением извне несоразмерно большую часть жизненных соков нации. Для первого исхода русское народное хозяйство оказалось уже недостаточно примитивным. Государство не рухнуло, а стало расти при чудовищном напряжении хозяйственных сил народа.

До известной степени сказанное применимо, разумеется, и ко всякому другому европейскому государству. Но с той разницей, что в своей взаимной борьбе за существование эти государства опирались на приблизительно однородный экономический базис и потому развитие их государственности не испытывало таких могучих экономически непосильных внешних давлений.

Борьба с крымскими и ногайскими татарами вызывала большое напряжение сил. Но, разумеется, не большее, чем вековая борьба Франции с Англией. Не татары вынудили Русь ввести огнестрельное оружие и создать постоянные стрелецкие полки; не татары заставили впоследствии создать рейтарскую конницу и солдатскую пехоту. Тут было давление Литвы, Польши и Швеции. Чтобы удержаться против лучше вооруженных врагов, русское государство было вынуждено заводить у себя промышленность и технику, нанимать военных специалистов, государственных фальшивомонетчиков и пороховщиков, доставать учебники по фортификации, вводить навигационные школы, фабрики, тайных и действительных тайных советников. Если военных инструкторов и тайных советников можно было выписать из-за границы, то материальные средства нужно было во что бы то ни стало извлекать из самой страны.

История русского государственного хозяйства есть непрерывная цепь героических в своем роде усилий, направленных на обеспечение военной организации необходимыми средствами. Весь

правительственный аппарат строился и то-и-дело перестраивался в интересах казны. Его задача заключалась в том, чтобы всякую частицу накопленного народного труда поймать и использовать для своих целей.

В поисках за средствами правительство не отступало ни перед чем: оно накладывало на крестьян произвольные и всегда непомерно большие налоги, к которым население никак не могло приспособиться. Оно установило круговую поруку общины. Просьбами и угрозами, увещаниями и насилием оно отнимало деньги у купцов и монастырей. Крестьяне разбегались, купцы эмигрировали. Переписи семнадцатого века свидетельствуют о прогрессирующем сокращении населения. Из полуторамиллионного бюджета около 85% расходовалось в то время на войска. В начале восемнадцатого века Петр, под влиянием нанесенных ему жестоких ударов, был вынужден реорганизовать пехоту по новому образцу и создать флот. Во второй половине этого столетия бюджет уже достиг 16—20 миллионов, при чем на войско и флот уходило 60—70%. Ниже 50% этот расход не опускался и при Николае I. В середине XIX века крымская война столкнула царское самодержавие с экономически наиболее могущественными государствами Европы, с Англией и Францией,—в результате оказалось необходимым реорганизовать армию на основе всеобщей воинской повинности. При полуосвобождении крестьян в 1861 г. фискальные и военные потребности государства играли решающую роль.

Но внутренних средств не хватало. Уже при Екатерины II правительство получило возможность заключать внешние займы. Отныне европейская биржа все больше становится источником финансирования царизма. Накопление огромных капиталов на западно-европейских денежных рынках получает с этого времени роковое влияние на ход политического развития России. Усиленный рост государственной организации выражается теперь не только в непомерном увеличении косвенных налогов, но и в лихорадочном возрастании государственного долга. За десятилетие 1898—1908 года он поднялся на 19% и к концу этого периода достиг уже 9 миллиардов рублей. В какой зависимости государственный аппарат самодержавия находится от Ротшильда и Мендельсона, показывает то обстоятельство, что одни проценты поглощают сейчас около трети чистого дохода государственной

казны. В предварительном бюджете на 1908 г. расходы на армию и флот вместе с процентами по уплате государственных долгов и издержками, связанными с окончанием войны, составляют 1.018.000.000 рублей, т.-е. 40,5% всего государственного бюджета.

В результате этого давления Западной Европы самодержавное государство поглощало непропорционально большую долю прибавочного продукта, т.-е. жило за счет формировавшихся привилегированных классов и тем задерживало их и без того медленное развитие. Но мало этого. Государство набрасывалось на необходимый продукт земледельца, вырывало у него источники его существования, сгоняло его этим с места, которого он не успел обогреть, и тем задерживало рост населения и тормозило развитие производительных сил. Таким образом, поскольку государство поглощало непропорционально большую долю прибавочного продукта, оно задерживало и без того медленную сословную дифференциацию; поскольку же оно отнимало значительную долю необходимого продукта, оно разрушало даже и те примитивные производственные основы, на какие опиралось.

Но для того, чтобы существовать и господствовать, государство само нуждалось в сословно-иерархической организации. Вот почему, подкапываясь под экономические основания ее роста, оно стремится в то же время форсировать ее развитие мерами государственного порядка,—и, как и всякое другое государство, стремится отвести этот процесс сословного формирования в свою сторону.

В игре социальных сил равнодействующая гораздо дальше отклонялась в сторону государственной власти, чем это имело место в западно-европейской истории. Тот обмен услуг—за счет трудящегося народа—между государством и верхними общественными группами, который выражается в распределении прав и обязанностей, тягот и привилегий, складывался у нас к меньшей выгоде дворянства и духовенства, чем в средневековых сословных государствах Западной Европы. И, тем не менее, страшным преувеличением, нарушением всяких перспектив будет сказать, как это делает Милюков в своей истории русской культуры, будто в то время, как на Западе сословия создавали государство, у нас государственная власть в своих интересах создавала сословия.

Сословия не могут быть созданы законодательным или административным путем. Прежде, чем та или другая общественная группа сможет при помощи государственной власти опериться в привилегированное сословие, она должна сложиться экономически во всех своих социальных преимуществах. Сословий нельзя фабриковать по заранее созданной табели о рангах или по уставу Légion d'honneur.

Несомненно только то, что в своем отношении к русским привилегированным сословиям царизм пользовался несравненно большею независимостью, чем европейский абсолютизм, выросший из сословной монархии.

Наибольшего могущества абсолютизм достиг тогда, когда буржуазия, поднявшаяся на плечах третьего сословия, окрепла настолько, чтобы служить достаточным противовесом для сил феодального общества. Положение, при котором привилегированные и имущие классы, борясь, уравновешивали друг друга, обеспечило государственной организации наивысшую независимость. Людовик XIV говорил: L'état c'est moi (Государство,—это я). Прусская абсолютная монархия представлялась Гегелю самоцелью, осуществлением идеи государства вообще.

В своем стремлении к созданию централизованного государственного аппарата царизму приходилось не столько тягаться с притязаниями привилегированных сословий, сколько бороться с дикостью, бедностью и разобщенностью страны, отдельные части которой жили вполне самостоятельной экономической жизнью. Не равновесие экономически-господствующих классов, как на Западе, а их социальная слабость и политическое ничтожество создали из бюрократического самодержавия самодовлеющую организацию. В этом отношении царизм является промежуточной формой между европейским абсолютизмом и азиатским деспотизмом,—быть может, более близкой к последнему.

Но в то время, как полуазиатские социальные условия превратили царизм в самодержавную организацию, европейская техника и европейский капитал вооружили эту организацию всеми средствами европейской великой державы. Это дало царизму возможность вмешиваться во все политические отношения Европы, в которых его увесистый кулак стал играть роль решающего фактора. В 1815 г. Александр I появляется в Париже, восстанавливает Бурбонов и сам становится носителем идеи Священного Сою-

за. В 1848 г. Николай I делает блестящий заем для подавления европейской революции и посылает русских солдат против восставших венгров. Европейская буржуазия надеялась, что царские войска послужат ей еще когда-нибудь против социалистического пролетариата, как они прежде служили европейскому деспотизму против самой буржуазии.

Но историческое развитие пошло другим путем. Абсолютизм разбил себе голову о капитализм, который он сам так ревностно насаждал.

В докапиталистическую эпоху влияние европейского хозяйства на русское было по необходимости ограниченным. Натуральный, следовательно, самодовлеющий характер русского народного хозяйства ограждал его от влияния более высоких форм производства. Структура наших сословий, как сказано, осталась недоразвившейся до конца. Но когда в самой Европе окончательно воцарились капиталистические отношения, когда денежный капитал стал носителем нового хозяйства, когда абсолютизм, борясь за самосохранение, сделался пособником европейского капитализма, тогда положение изменилось совершенно.

Те «критические» социалисты, которые перестали понимать значение государственной власти для социалистического переворота, могли бы убедиться даже на примере бессистемной и варварской деятельности русского самодержавия, какую огромную роль может играть государственная власть в чисто хозяйственной области, когда она в общем работает в направлении исторического развития.

Сделавшись историческим орудием в деле капитализирования экономических отношений России, царизм этим прежде всего укреплял себя.

К тому времени, когда развивавшееся буржуазное общество почувствовало потребность в политических учреждениях Запада, самодержавие, с помощью европейской техники и европейского капитала, превратилось в крупнейшего капиталистического предпринимателя, в банкира и монопольного владельца железных дорог и винных лавок. Оно опиралось на централизованно-бюрократический аппарат, негодный для регулирования новых отношений, но вполне способный развить большую энергию в деле систематических репрессий. Огромные размеры государства были

побеждены телеграфом, который придает действиям администрации уверенность, относительное единообразие и быстроту, а железные дороги позволяют перебрасывать в короткое время военную силу из конца в конец страны. До-революционные правительства Европы почти не знали ни железных дорог, ни телеграфа. Армия в распоряжении абсолютизма колоссальна,—и если она оказалась несостоятельной в серьезных испытаниях русско-японской войны, то она все же достаточно хороша для внутреннего господства. Ничего подобного нынешней русской армии не знало не только правительство старой Франции, но и европейские правительства накануне 1848 года.

Финансовое и военное могущество абсолютизма подавляло и ослепляло не только европейскую буржуазию, но и русский либерализм, отнимая у него всякую веру в возможность тягаться с абсолютизмом в деле открытого соразмерения сил. Военно-финансовое могущество абсолютизма исключало, казалось, какие бы то ни было возможности русской революции.

На самом же деле оказалось как раз обратное.

Чем централизованнее государство и чем независимее от господствующих классов, тем скорее оно превращается в самодовлеющую организацию, стоящую над обществом. Чем выше военно-финансовые силы такой организации, тем длительнее и успешнее может быть ее борьба за существование. Централизованное государство с двухмиллиардным бюджетом, с восьмимиллиардным долгом и с миллионной армией под ружьем, могло продержаться еще долго после того, как перестало удовлетворять элементарнейшим потребностям общественного развития—в том числе и потребности в военной безопасности, на охранении которой оно первоначально сложилось.

Таким образом, административное, военное и финансовое могущество абсолютизма, дававшее ему возможность существовать наперекор общественному развитию, не только не исключало возможности революции, как думал либерализм, но, наоборот, делало революцию единственным выходом, при чем за этой революцией заранее был обеспечен тем более радикальный характер, чем более могущество абсолютизма углубляло пропасть между ним и народными массами, захваченными новым экономическим развитием.

Русский марксизм поистине может гордиться тем, что он один уяснил направление развития и предсказал его общие формы [1]) в то время, как либерализм питался внушениями самого утопического «реализма», а революционное народничество жило фантасмагориями и верой в чудеса.

---

[1]) Даже такой реакционный бюрократ, как проф. Менделеев, не может не признать этого. Говоря о развитии индустрии, он замечает; «Социалисты тут кое-что увидали и даже отчасти поняли, но сбились, следуя за латинщиной (!), рекомендуя прибегать к насилиям, потворствуя животным инстинктам черни и стремясь к переворотам и власти».

# Русский капитализм.

Низкий уровень развития производительных сил при хищничестве государства не давал места ни накоплению избытков, ни широкому развитию общественного разделения труда, ни росту городов. Ремесло не отделялось от земледелия, не концентрировалось в городах, а вместе с сельским населением оставалось в виде кустарничества, рассеянного по всей стране. Именно в силу распыленного характера промыслов, кустарям приходилось работать не на заказчика, как ремесленникам европейских городов, а на продажу. Посредником между разбросанным производителем и разбросанным потребителем являлся купец, или гость. Таким образом редкость и бедность населения и связанная с этим незначительность городов обусловливали огромную роль торгового капитала в организации хозяйства старой московской России. Но и торговый капитал оставался рассеянным и не создавал крупных торговых центров.

Не деревенский кустарь и даже не крупный торговец столкнулись с необходимостью создания крупной промышленности, а государство. Шведы навязали Петру флот и новый тип армии. Но, усложнив свою военную организацию, петровское государство попадало в прямую зависимость от промышленности ганзейских городов, Голландии и Англии. Создание отечественных мануфактур, обслуживающих армию и флот, становится таким образом насущной задачей государственной обороны. О фабричном производстве до Петра не было и речи. После него насчитывается уже 233 казенных и частных предприятий крупного масштаба: горные и оружейные заводы, суконные, полотняные, парусинные фабрики и пр. Экономическую основу для этих промышленных новообразований создавали, с одной стороны, государственные средства, с другой — торговый капитал. Наконец, нередко новая отрасль промышленности импортировалась вместе

с европейским капиталом, заручавшимся соответственными привилегиями на ряд лет.

Купеческий капитал играл большую роль при создании крупного производства и в З. Европе. Но там мануфактура выросла на основе разлагающегося ремесла, при чем бывшего самостоятельного ремесленника превратила в своего наемного работника. Здесь, в Московии, перенесенная с Запада мануфактура вовсе не застала свободных ремесленников и вынуждена была пользоваться трудом крепостных крестьян.

Таким образом, наша фабрика XVIII ст. с самого начала не имела конкурента в лице городского ремесла. Но и кустарь не был ей соперником: он работал на массового потребителя, в то время как регламентированная с ног до головы фабрика обслуживала, главным образом, государство и отчасти высшие классы.

В первой половине XIX ст. текстильная промышленность разбивает кольцо крепостного труда и государственной регламентации. Фабрика, основанная на вольнонаемном труде, была, разумеется, в корне враждебна социальным отношениям николаевской России. Крепостническое дворянство оказалось поэтому сплошь фритрэдерским. Николай, по своим симпатиям, стоял всецело на его стороне. И, тем не менее, потребности государства, в том числе интересы фиска, вынудили его к политике запретительного тарифа и денежных субсидий фабрикантам. После отмены запрета вывоза машин из Англии русская текстильная индустрия складывалась целиком по готовым английским образцам. Немец Кнопп в 40—50-х годах перевез из Англии в Россию 122 прядильные фабрики, до последнего гвоздя. В текстильном районе сложилась даже поговорка: «где церковь—там поп, где фабрика—там Кнопп». Благодаря тому, что текстильная промышленность работала на рынок, она, несмотря на постоянный недостаток умелых и свободных рук, поставила Россию еще до отмены крепостного права, по числу веретен, на пятое место. Но остальные отрасли промышленности, и прежде всего железоделательная, почти не развивались после Петра. Основной причиной этого застоя был рабский труд, который делал применение новой техники совершенно недоступным. Если ситец выделывался для потребностей крепостных крестьян, то железо уже предполагает развитую промышленность, города, железные дороги, пароходы. Но все это было невозможно на основе крепостного права. В то

же время это последнее задерживало и развитие сельского хозяйства, которое с течением времени все больше работало на иностранный рынок. Отмена крепостного права стала поэтому неотложным требованием экономического развития. Но кто мог его провести? Дворянство не хотело об этом и слышать. Капиталистический класс был еще слишком ничтожен, чтоб добиться такой огромной реформы своим давлением. Частые волнения крестьян, которые во всяком случае не шли ни в какое сравнение по своим размерам с крестьянской войной в Германии или с жакерией во Франции, оставались разрозненными вспышками и, не находя руководства в городах, сами по себе были слишком слабы, чтоб уничтожить помещичью власть. Решающее слово оставалось за государством. Царизму нужно было понести жестокое военное поражение в Крымской кампании, чтобы в своих собственных интересах расчистить перед капиталистическим развитием путь полуосвободительной реформой 1861 года.

С этого времени открывается новый период экономического развития страны, который характеризуется быстрым образованием резервуара «свободного» труда, лихорадочным развитием железнодорожной сети, созданием портов, непрерывным притоком европейского капитала, европеизацией промышленной техники, удешевлением и облегчением кредита, ростом числа акционерных компаний, введением золотой валюты, бешеным протекционизмом и лавинообразным нарастанием государственного долга. Царствование Александра III (1881—1894), когда идеология национальной самобытности владела всем общественным сознанием, начиная с конспиративной квартиры революционера (народничество) и кончая собственной канцелярией его величества (казенная «народность»), было в то же время эпохой беспощадной революции в производственных отношениях; насаждая крупное производство и пролетаризуя мужика, европейский капитал автоматически подкапывал самые глубокие устои азиатско-московской самобытности.

Могущественным рычагом индустриализации страны явились железные дороги. Инициатива их проведения принадлежала, конечно, государству. Первая железная дорога—между Москвой и Петербургом—была открыта в 1851 г. После крымского краха правительство уступает в железнодорожном строительстве место частной предприимчивости. Но само оно, как неутомимый ангел-

хранитель, становится за спиною железнодорожных предпринимателей: содействует образованию акционерных и облигационных капиталов, берет на себя гарантию прибыли на капитал и усыпает путь акционеров льготами и поощрениями. В течение первого десятилетия после крестьянской реформы у нас было сооружено 7 тыс. верст железных дорог, во второе десятилетие—12 тыс. верст, в третье—6 тыс. верст и в четвертое—в Европейской России более 20 тыс., а во всей империи—около 30 тыс. верст.

В 80-х и особенно в 90-х годах, когда Витте выступил как глашатай идеи самодержавно-полицейского капитализма, снова начинается сосредоточение железных дорог в руках казны. Как в развитии кредита Витте видел средство в руках министра финансов «направлять народную промышленность в ту или другую сторону», так государственные железные дороги отражались в его канцелярском мозгу, как «могучее орудие для управления экономическим развитием страны». Биржевой делец и политический невежда, он не понимал, что собирает силы и оттачивает оружие революции. К 1894 г. длина ж.-дорожных линий равняется 31.800 верст, в том числе 17.000 казенных. В 1905 г., в год революции, железнодорожный персонал, сыгравший такую огромную политическую роль, насчитывал в своих рядах 667 тысяч человек.

Таможенная политика русского правительства, в которой тесно сочетались фискальная жадность и слепой протекционизм, почти совершенно преграждала дорогу европейским товарам. Лишенный возможности выбрасывать к нам свои продукты, западный капитал перешагнул восточную границу в своей наиболее неуязвимой и привлекательной ипостаси: в форме денег. Оживление русского денежного рынка всегда обусловливалось заключением новых займов за границей. Параллельно с этим европейские предприниматели непосредственно овладевали важнейшими отраслями русской индустрии. Финансовый капитал Европы, впитывая в себя львиную долю русского государственного бюджета, одной своей частью возвращался на территорию России, в виде капитала промышленного. Это давало ему возможность не только истощать через посредство царского фиска производительные силы русского мужика, но и непосредственно эксплоатировать рабочую энергию русского пролетария. В течение одного лишь последнего десятилетия истекшего века и особенно после введения золотой валюты (1897) в Россию притекло не менее $1^1/_2$ миллиарда

рублей промышленного капитала. В то время, как в течение 40 лет до 1892 г. основной капитал акционерных предприятий возрос всего на 919 миллионов, он в течение одного лишь следующего десятилетия сразу увеличился на 2,1 миллиарда рублей.

Какое значение имел этот шедший с Запада золотой поток для русской промышленности, видно из того, что в то время, как в 1890 г. сумма производства всех наших фабрик и заводов равнялась $1^1/_2$ миллиардам руб., она к 1900 г. выросла до $2^1/_2$—3 миллиардов. Параллельно с этим число фабрично-заводских рабочих поднялось за тот же период с 1,4 миллиона до 2,4 миллиона.

Если русская экономика, как и политика, всегда развивалась под непосредственным влиянием, вернее давлением европейской, то форма и глубина этого влияния, как мы видим, постоянно изменялись. В эпоху ремесленно-мануфактурного производства на Западе Россия заимствовала оттуда техников, архитекторов, мастеров, вообще искусные рабочие руки. Когда мануфактуру вытеснила фабрика, главным предметом заимствования и ввоза сделалась машина. И, наконец, когда под непосредственным влиянием государственных потребностей пало крепостное право, уступив место «свободному» труду, Россия открылась прямому воздействию промышленного капитала, для которого расчистили дорогу внешние государственные займы.

Летопись рассказывает, что мы в IX веке призывали из-за моря варягов, чтоб установить при их помощи нашу государственность. Затем пришли шведы, чтобы научить нас европейскому ратному искусству. Томас и Кнопп обучили нас текстильному делу. Англичанин Юз насадил на нашем юге металлургическую промышленность. Нобель и Ротшильд превратили Закавказье в фонтан нефтяных барышей. И в то же время викинг всех викингов,—великий, интернациональный Мендельсон,—превратил Россию в домен биржи.

Пока экономическая связь с Европой ограничивалась ввозом мастеров и машин или даже займами на производительные цели, дело, в конце концов, сводилось к тому, чтобы усвоить национально-хозяйственному организму России те или другие элементы европейского производства. Когда же свободные иностранные капиталы в погоне за высоким уровнем прибыли бросились на русскую территорию, огражденную китайской стеной таможенных пошлин, на историческую очередь сразу стало внедрение всего

хозяйства России в капиталистически-индустриальный организм Европы. Эта программа и заполняет собою последние десятилетия нашей экономической истории.

До 1861 г. возникло всего 15% общего числа русских промышленных предприятий; с 1861 до 1880—23,5%, за время 1881 до 1900—свыше 61%, при чем на одно лишь последнее десятилетие прошлого века приходится возникновение 40% всех предприятий.

В 1767 г. Россия выплавляет 10 милл. пудов чугуна. В 1866 г. (через сто лет!) выплавка все еще едва достигает 19 м. В 1896 г. она уже поднимается до 98 милл. и в 1904 до 180 милл., при чем если в 1890 г. юг дает лишь $^1/_5$ всей выплавки, то через десять лет он доставляет уже половину. Таким же темпом идет развитие нефтяной промышленности на Кавказе. В 60-х г.г. добывается еще менее 1 милл. пудов нефти; в 1870—21,5 м. п. С середины 80-х г.г. в дело вступает иностранный капитал, овладевает Закавказьем от Баку до Батума и открывает работу на мировой рынок. В 1890 г. добыча нефти уже поднимается до 242,9 м. п. и в 1896 г. до 429,9 м. п.

Таким образом железнодорожное, каменноугольное и нефтяное производство юга, куда стремительно передвигается экономический центр тяжести страны, насчитывает каких-нибудь двадцать-тридцать лет. Здесь развитие с самого начало приняло чисто американский характер, и в несколько лет франко-бельгийский капитал радикально изменил облик степных губерний, покрыв их чудовищными предприятиями, каких почти не знает Европа. Для этого нужны были два условия: европейско-американская техника и русский государственный бюджет. Все металлургические заводы юга—многие из них целиком, до последнего винта, заказывались в Америке и перевозились через океан!—уже при самом своем возникновении обеспечиваются государственными заказами на несколько лет вперед. Урал со своими патриархально-полукрепостническими порядками и «национальным» капиталом остался далеко позади, и лишь в самое последнее время английский капитал начинает и там вытравлять варварскую самобытность.

Исторические условия развития русской промышленности достаточно объясняют, почему, несмотря на ее относительную молодость, ни мелкое, ни среднее производства не играют в ней

значительной роли. Крупная фабрично-заводская индустрия не выросла у нас «естественно», органически, постепенно из ремесла и мануфактуры, ибо самое ремесло не успело у нас обособиться от кустарничества и было осуждено чужеземным капиталом и чужеземной техникой на экономическую гибель, прежде чем успело родиться. Хлопчатобумажной фабрике не приходилось бороться с ремесленником; наоборот, она сама вызвала к жизни хлопчатобумажный кустарный промысел в деревне. Железоделательной промышленности юга или нефтяной Кавказа также не приходилось поглощать мелкие предприятия; наоборот, приходилось еще только вызывать их к жизни в целом ряде второстепенных и служебных отраслей хозяйства.

Выразить соотношение мелкого и крупного производства в России в точных цифрах совершенно невозможно ввиду крайне жалкого состояния нашей промышленной статистики. Нижеследующая таблица дает лишь приблизительное представление о действительном положении, так как сведения о первых двух категориях предприятий, занимающих до 50 рабочих, основаны на крайне несовершенном, вернее сказать, на случайном материале.

| Группы горнозаводских и фабричных предприятий. | Число предприятий. | Число рабочих в тысячах и процентах. | |
|---|---|---|---|
| Меньше 10 рабочих . . . . . . . . . | 17.436 | 65,0 | 2.5 |
| От 10— 49 » . . . . . . . . . . | 10.586 | 236,5 | 9,2 |
| » 50— 99 » . . . . . . . . . . | 2.551 | 175,2 | 6,8 |
| » 100—499 » . . . . . . . . . . | 2.779 | 608,0 | 23,8 |
| » 500—999 » . . . . . . . . . . | 556 | 381,1 | 14,9 |
| » 1.000 и больше . . . . . . . . . . | 453 | 1.097,0 | 42,8 |
| Всего. . . . . . . . | 34.361 | 2.562,8 | 100,0 |

На тот же вопрос бросает яркий свет сравнение барышей, получаемых различными категориями торговых и промышленных предприятий России:

| | Число предприятий. | Сумма прибылей в миллионах. |
|---|---|---|
| С прибыл. от 1.000 до 2.000 р. . . . | 37.000=44,5% | 56= 8,6% |
| » » свыше 50.000 » . . . | 1.400= 1,7% | 201=45,0% |

Другими словами, около половины всех предприятий (44,5%) получает менее одной десятой всего дохода (8,6%), между тем как на долю одной шестидесятой части предприятий (1,7%) приходится почти половина всей прибавочной ценности (45%). Несомненно, к тому же, что доходы крупных предприятий здесь крайне преуменьшены. Для характеристики чрезвычайной концентрированности русской промышленности приведем параллельные данные относительно Германии и Бельгии (без горнозаводских предприятий) *(см. таблицу на стр. 33).*

Первая таблица, несмотря на оговоренную неполноту данных, позволяет с полной несомненностью заключить, что: 1) внутри однородных групп на одно русское предприятие приходится в среднем значительно больше рабочих, чем на одно немецкое и 2) группы крупных (51—1.000) и крупнейших (более 1.000) предприятий сосредоточивают в России больший процент рабочих, чем в Германии. В последней группе этот перевес имеет не только относительный, но и абсолютный характер. Вторая таблица показывает, что те же выводы, только в еще более выпуклой форме, выступают при сравнении России с Бельгией.

Мы увидим далее, какое огромное значение для хода русской революции, как и для всего политического развития страны, имеет этот концентрированный характер русской индустрии!

Вместе с тем нам придется учесть и другое не меньшей важности обстоятельство: эта новейшая индустрия столь высокого капиталистического типа непосредственно охватывает только м е н ь ш и н с т в о населения, в то время как его крестьянское большинство бьется в сетях сословной кабалы и нищеты. Это ставит, в свою очередь, узкие пределы развития капиталистической индустрии.

Вот распределение п р о м ы ш л е н н о-д е я т е л ь н о г о населения между земледельческими и неземледельческими занятиями в России и Соединенных Штатах С. Америки *(см. таблицу на стр. 34).*

На 128 миллионов жителей в России приходится не больше занятых в промышленности элементов (30,6 миллионов), чем в Северной Америке (29 миллионов) на 76 миллионов населения. Это является результатом общей экономической отсталости страны и обусловленного ею о г р о м н о г о п е р е в е с а з е м л е д е л ь ч е с к о г о н а с е л е н и я н а д н е з е м л е д е л ь-

I.

| Группы фабрично-заводских предприятий. | Германия (перепись 1895 года). | | | | Россия (статистическое обследование 1902 г.). | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Число предприятий. | Число рабочих. | | | Число предприятий. | Число рабочих. | | |
| | | В тысячах. | В процентах. | На 1 предприятие. | | В тысячах. | В процентах. | На 1 предприятие. |
| От 6— 50 раб. | 191.101 | 2.454,3 | 44 | 13 | 14.189 | 234,5 | 12,5 | 16,5 |
| » 51—1.000 » | 18.698 | 2.595,5 | 46 | 139 | 4.722 | 918,5 | 49,0 | 195,0 |
| » 1.000 и более | 296 | 562,6 | 10 | 1.900 | 302 | 710,2 | 38,5 | 2.351,0 |
| Всего | 210.095 | 5.612,4 | 100 | — | 19.213 | 1.863,2 | 100.0 | — |

II.

| Группы предприятий. | Бельгия (перепись 1896 года). | | | | Россия (статистическое обследование 1902 г.). | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Число предприятий. | Число рабочих. | | | Число предприятий. | Число рабочих. | | |
| | | В тысячах. | В процентах. | На 1 предприятие. | | В тысячах. | В процентах. | На 1 предприятие. |
| От 5— 49 раб. | 13.000 | 162 | 28,3 | 12,5 | 14.189 | 234,5 | 12,6 | 16,5 |
| » 50— 499 » | 1.446 | 250 | 43,7 | 170,0 | 4.298 | 628,9 | 33,8 | 146,3 |
| 500 и более | 184 | 160 | 28,0 | 869,0 | 726 | 999,8 | 53,6 | 1.377,0 |
| Всего | 14.650 | 572 | 100,0 | — | 19.213 | 1.863,2 | 100,0 | |

| | Россия (перепись 1897 года). | | Соединенные Штаты (перепись 1900 г.). | |
|---|---|---|---|---|
| | В тысячах. | В процентах. | В тысячах. | В процентах. |
| Земледелие, лесное хозяйство и тому подобные предприятия . . . . . . . . . . . . . | 18.653 | 60,8 | 10.450 | 35,9 |
| Горное дело, обрабатывающая промышленность, торговля, транспорт, «либеральные» профессии, прислуга . . . . . | 12.040 | 39,2 | 18.623 | 64,1 |
| Всего. . . . | 30.693 | 100,0 | 29.073 | 100,0 |

ческим (60,8% против 39,2%)—обстоятельство, налагающее властную печать на все области народного хозяйства.

В 1900 г. фабрики, заводы и крупные мануфактурные предприятия Соединенных Штатов производили товаров на 25 миллиардов рублей, в России же всего на 2 с половиной миллиарда, т.-е. в десять раз меньше, что свидетельствует также и о крайне низкой средней производительности труда. В том же году каменного угля было добыто: в России—1 миллиард пудов, во Франции—1 миллиард, в Германии—5 миллиардов, в Англии—13 миллиардов пудов. Железа было добыто в России 1,4 пуда на человека, во Франции—4,3, в Германии—9, в Англии—13,5 пудов. «А между тем,—говорит Менделеев,—мы можем снабдить весь мир нашим чрезвычайно дешевым чугуном, железом и сталью. Наши нефтяные источники, наши каменноугольные и другие земельные богатства едва тронуты». Но соответствующее этому богатству развитие промышленности немыслимо без расширения внутреннего рынка, без повышения покупательной силы населения,—словом, без хозяйственного подъема крестьянских масс.

В этом заключается решающее значение аграрного вопроса для капиталистических судеб России.

# Крестьянство и аграрный вопрос.

По исчислениям, весьма, впрочем, не точным, весь хозяйственный доход России и в добывающей и в обрабатывающей промышленности достигает 6—7 миллиардов рублей в год, из которых около $1^{1}/_{2}$ миллиарда, т.-е. больше одной пятой, поглощается государством. Таким образом Россия относительно в 3—4 раза беднее европейских государств. Число хозяйственно-деятельных элементов по отношению ко всему населению, как мы видели, очень мало, и производительная сила этих промышленно-деятельных элементов, в свою очередь, очень низка. Это относится к индустрии, годовой продукт которой далеко не соответствует числу занятых ею рук; но на несравненно более низком уровне стоят производительные силы земледелия, которое занимает около 61% рабочих сил страны и доход с которого, несмотря на это, составляет только 2,8 миллиарда, т.-е. меньше половины общенационального дохода.

Условия русского сельского хозяйства, в подавляющей массе своей крестьянского, в существенных чертах были предопределены характером «освободительной реформы» 1861 г. Проведенная в интересах государства, эта реформа была целиком приноровлена к своекорыстным интересам дворянства,—мужика не только обошли при наделении землей, но еще и впрягли в ярмо податного рабства.

Нижеследующая таблица показывает количество надельной земли, доставшейся трем главным категориям крестьянства при ликвидации крепостного права:

| Категории крестьян. | Число мужск. душ в 1860 г. | Число получ. десятин. | Число десятин на одну душу. |
|---|---|---|---|
| Помещичьи . . . . . . . . | 11.907.000 | 37.758.000 | 3.17 |
| Государственные. . . . . | 10.347.000 | 69.712.000 | 6,74 |
| Удельные . . . . . . . . . | 870.000 | 4.260.000 | 4,90 |
| Всего. . . . . . | 23.124.000 | 111.730.000 | 4,83 |

3*

Если принять, что полученный государственными крестьянами надел (6,7 десятин на мужскую душу) был, при данных экономических условиях, достаточен для того, чтобы сполна занять рабочие силы крестьянской семьи,—а это приблизительно соответствует действительности,—то оказывается, что помещичьи и удельные крестьяне не получили до полной нормы около 44 миллионов десятин. Те земельные участки, которые во время крепостного права обрабатывались крестьянами для собственных нужд, поглощали только половину их рабочей силы, потому что три дня в неделю они были обязаны работать на помещика. Тем не менее, и от этих недостаточных наделов было в общем и целом—с большими отклонениями по разным районам—отрезано в пользу помещиков около 2% наиболее удобной земли. Таким образом, земледельческое перенаселение, заложенное в условия барщинного хозяйства, было еще усугублено дворянским грабежом крестьянских земель.

Протекшее после реформы полустолетие произвело значительную перетасовку в землевладении путем перехода из рук дворянства в руки купеческой и крестьянской буржуазии земли ценою в 3/4 миллиарда рублей. Но массе крестьянства этот процесс почти ничего не принес.

В пятидесяти губерниях Европейской России распределение земельной площади представлялось в 1905 году в следующем виде:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Земельные наделы | 112 | миллион. | десятин. |
| Из них принадлежат: | | | |
| Бывшим государственным крестьянам | 66,3 | » | » |
| » помещичьим крестьянам | 38,4 | » | » |
| 2. Частновладельческих земель | 101,7 | » | » |
| Из них принадлежит: | | | |
| Обществам и товариществам | 15,7 | » | » |
| (Из них 11,4 крестьянск. товариществ.). | | | |
| Отдельным собственникам: | | | |
| До 20 десятин | 3,2 | » | » |
| (Из них 2,3 крестьян. собственникам). | | | |
| От 20 до 50 десятин | 3,3 | » | » |
| Свыше 50 десятин | 79,4 | » | » |
| 3. Коронные и удельные земли | 145,0 | » | » |
| Из них свободных от леса и годных для запашки около | 4—6 | » | » |
| 4. Земли, принадлежащие церкви, монастырям, городским и проч. учреждениям | 8,8 | » | » |

В результате реформы, как мы видели выше, на каждую отдельную мужскую душу приходилось в среднем 4,83 десятины;

45 лет спустя, в 1905 г., на каждую душу приходится, вместе со вновь приобретенными участками, уже только 3,1 десятины. Другими словами, площадь крестьянского землевладения сократилась на 36%.

Развитие торгово-промышленной деятельности, поглощавшей не более $^1/_3$ ежегодного прироста крестьянского населения; переселенческое движение на окраины, разрежавшее до известной степени крестьянское население в центре; наконец, деятельность Крестьянского банка, давшего возможность крестьянам среднего и высшего достатка за время с 1882 по 1905 г.г. приобресть 7,3 миллионов десятин земли,—все эти факторы оказались, следовательно, бессильны хотя бы только уравновесить действие естественного прироста населения и предупредить обострение земельной нужды.

По приблизительным расчетам около 5 миллионов взрослых мужчин в стране не находят приложения своим силам. Только меньшая часть их составляет резервную промышленную армию или состоит из профессиональных бродяг, нищих и пр. Подавляющее же большинство этих 5 миллионов «лишних людей» приходится на черноземное крестьянство. Это не пролетарии, а прикрепленные к наделам крестьяне. Прилагая свои силы к земле, которая могла бы быть обработана и без них, они понижают производительность крестьянского труда на 30% и, растворяясь в общей массе крестьянства, спасаются от пролетаризации путем пауперизации еще более широких крестьянских масс.

Теоретически мыслимый исход состоит в интенсификации земледельческого хозяйства. Но для этого крестьянам нужны знания, инициатива, свобода от опеки и устойчивый правовой порядок,—условия, которых не было и не могло быть в самодержавной России. Но главным и основным препятствием к усовершенствованию хозяйства было и остается отсутствие материальных средств. И эта сторона кризиса крестьянского хозяйства так же, как и малоземелье, восходит к реформе 1861 года.

Свои недостаточные наделы крестьяне получили не даром. За участки, с которых они кормились во время крепостного права, т.-е. за свои собственные участки, к тому же обрезанные реформой, они должны были заплатить помещикам через посредство государства выкупную сумму. Расценку производили агенты правительства рука об руку с землевладельцами,—и

вместо 648 миллионов рублей, по капитализованной доходности земли, они взвалили на спину крестьянства долг в 867 милл. Сверх платы за собственные земли крестьяне фактически внесли помещикам еще 219 миллионов за свое освобождение из крепостного плена. Сюда же присоединились грабительские арендные цены, как результат малоземелья, и чудовищная работа царского фиска. Так, прямые поземельные налоги падают на крестьянскую надельную десятину в размере 1 р. 56 к., на частно-владельческую десятину в размере 23 коп. В соответствии с этим государственный бюджет почти всей тяжестью ложится на крестьянство. Пожирая львиную часть крестьянского дохода от земледелия, государство почти ничего не дает деревне взамен для повышения ее культурного уровня и развития ее производительных сил. Организованные правительством в 1902 г. местные сельско-хозяйственные комитеты установили, что прямые и косвенные налоги поглощают от 50 до 100% и более чистого земледельческого дохода крестьянской семьи. Это ведет, с одной стороны, к накоплению безнадежных недоимок, с другой—к застою и даже падению сельского хозяйства. На огромном пространстве центральной России техника и урожаи на том же уровне, что и тысяча лет тому назад. Средний урожай пшеницы в Англии—26,9 гектолитров с гектара, в Германии—17,0, в России—6,7. К этому нужно прибавить, что урожайность на крестьянских полях на 46% ниже, чем на помещичьих, и эта разница тем больше, чем хуже урожай. О запасах хлеба про черный год крестьянин уже давно разучился мечтать. Новые товарно-денежные отношения, с одной стороны, фиск, с другой— вынуждают его превращать все свои натуральные запасы и хозяйственные избытки в звонкую наличность, которая немедленно поглощается арендными платежами и государственным казначейством. Судорожная погоня за рублем заставляет земледельца беспощадно насиловать почву, лишенную удобрения и разумной обработки. Ближайший неурожай, которым земля мстит за свое истощение, обрушивается на лишенную запасов деревню стихийным опустошительным бедствием.

Но и в «нормальные» годы крестьянская масса не выходит из полуголодного существования. Вот мужицкий бюджет, который следовало бы выгравировать на золотых лбах европейских банкиров, кредиторов царизма: на пищу каждый член кре-

стьянской семьи расходует в год 19,5 руб., на жилище—3,8 р., на одежду—5,5 р., на остальные материальные нужды—1,4 рубля, на духовные нужды—2,5 рубля! Один квалифицированный американский рабочий потребляет прямо и косвенно столько же, сколько расходуют в России две крестьянские семьи по шести душ каждая. Но для покрытия такого рода расходов, которых никакой государственный моралист не назовет чрезмерными, крестьянство недобирает ежегодно с земледелия свыше миллиарда рублей. Кустарные промысла приносят деревне около 200 миллионов дохода. За вычетом этой суммы крестьянское хозяйство дает ежегодный дефицит в 850 милл. руб.,—это как раз та сумма, которую фиск ежегодно вырывает у крестьянства.

В характеристике крестьянского хозяйства мы игнорировали до сих пор экономические различия районов, имеющие на самом деле огромное значение и очень выразительно сказавшиеся в формах аграрного движения (см. главу «Мужик бунтует»). Если ограничиться только 50 губерниями Европейской России и выделить северную лесную полосу, то остальное пространство можно, под углом зрения характера крестьянского хозяйства и экономического развития вообще, разбить на три больших бассейна:

I. Промышленная полоса, в которую Петербургская губерния входит с севера, а Московская—с юга. Фабрика, особенно текстильная, кустарные промысла, льноводство, торговое земледелие, в частности огородничество, характеризуют этот северный капиталистический бассейн, над которым господствуют Петербург и Москва. Как всякая индустриальная страна, этот район не удовлетворяется собственным хлебом и прибегает к ввозу зерна с юга.

II. Юго-восточный район, примыкающий к Черному морю и низовьям Волги, русская «Америка». Эта область, почти не знавшая крепостного права, играла роль колонии по отношению к центральной России. На свободных степях, привлекавших массу переселенцев, быстро раскинулись «пшеничные фабрики», применяющие усовершенствованные земледельческие машины и отправляющие зерно на север—в промышленный район, и на запад—за границу. Параллельно шло отвлечение рабочих рук к обрабатывающей промышленности, расцвет «тяжелой» индустрии и лихорадочный рост городов. Дифференциация внутри

крестьянской общины здесь очень глубока. Крестьянину-фермеру противостоит земледельческий пролетарий, нередко пришлый из черноземных губерний.

III. Между старо-промышленным севером и ново-промышленным югом пролегает широкая полоса чернозема—русская «Индия». Население ее, сравнительно густое еще при крепостном праве и целиком привязанное к земледелию, утратило при реформе 1861 г. 24% земельной площади, при чем самые лучшие и совершенно неотъемлемые части крестьянских наделов отошли к помещикам. Цены на землю быстро росли, помещики вели чисто паразитарное хозяйство, частью обрабатывая свои земли крестьянским инвентарем, частью сдавая их крестьянам, которые не выходили из условий кабальной аренды. Сотни тысяч рабочих уходят отсюда на север, в промышленный район, и в южные степи, ухудшая там условия труда. В черноземной полосе нет ни крупной промышленности, ни капиталистического земледелия. Капиталист-фермер бессилен здесь конкурировать с арендатором-паупером, и паровой плуг терпит поражение в борьбе с физиологической упругостью мужика, который, уплатив, в виде аренды, не только всю прибыль на свой «капитал», но и большую часть своей заработной платы, питается хлебом из муки, смешанной с древесными опилками или с молотой корой. Местами нищета крестьян принимает такие размеры, что даже присутствие в избе клопов и тараканов считается уже красноречивым признаком зажиточности. И действительно, земский врач Шингарев, ныне либеральный депутат III Думы, установил, что у безземельных крестьян обследованных им волостей Воронежской губернии клопов не встречается вовсе, а у других категорий сельского населения количество клопов в общем и целом пропорционально зажиточности семьи. Таракан, оказывается, менее аристократичен, но и он нуждается в большем комфорте, чем воронежский паупер: у 9,3% крестьян тараканы не живут по причине голода и холода.

О развитии техники при таких условиях не приходится говорить. Хозяйственный инвентарь, в том числе рабочий скот, распродается на уплату аренды и податей или проедается. Но где нет развития производительных сил, там нет места и социальной дифференциации. Внутри черноземной общины царит равенство нищеты. Расслоение крестьянства, в сравнении с се-

вером и югом, очень поверхностно. Над зародышевыми классовыми противоположностями обостренный сословный антагонизм между пауперизуемым крестьянством и паразитическим дворянством.

Три охарактеризованных нами хозяйственных типа, разумеется, не совпадают точно с географическими пределами районов. Государственное единство и отсутствие внутренних таможенных перегородок исключают возможность образования обособленных хозяйственных организмов. В 80-х годах полукрепостнические отношения в земледелии, господствовавшие в 12 губерниях черноземного центра, преобладали, сверх того, в 5 губерниях нечерноземной полосы. Капиталистические сельско-хозяйственные отношения, с другой стороны, преобладали в 9 черноземных губерниях и в 10 нечерноземных. Наконец, в 7 губерниях обе системы уравновешивали друг друга.

Бескровная, но не безжертвенная борьба между продовольственной арендой и капиталистическим хозяйством шла и идет непрерывно, и последнее далеко не может похвалиться победой. Замкнутый в мышеловке своего надела и лишенный сторонних заработков, крестьянин вынужден, как мы видели, арендовать помещичью землю по какой угодно цене. Он не только отказывается от прибыли, не только урезывает до последней степени свое личное потребление, но и распродает свой земледельческий инвентарь, понижая и без того крайне низкую технику своего хозяйства. Перед этими роковыми «преимуществами» мелкого производства бессильно отступает крупный капитал: помещик ликвидирует рациональное хозяйство и сдает землю клочками—в аренду крестьянам. Гоня вверх арендные цены и цены на землю, избыточное население центра в то же время понижает во всей стране заработную плату. Этим оно опять-таки делает невыгодным введение машин и усовершенствование техники—уже не только в земледелии, но и в других отраслях промышленности. В последнее десятилетие XIX в. глубокий хозяйственный упадок захватил уже значительную долю южного района, где параллельно с ростом арендных цен наблюдается прогрессивная убыль крестьянского рабочего скота. Кризис земледельческого хозяйства и обнищание крестьянства сужает далее базу русского индустриального капитализма, которому в первую очередь приходится рассчитывать на внутренний рынок. По

скольку тяжелая индустрия питается государственными заказами, прогрессивное разорение мужика превратилось для нее в не менее грозную опасность, так как подкопало самые основы государственного бюджета.

Эти условия достаточно объясняют, почему аграрный вопрос стал осью политической жизни России. От столкновения с острыми гранями земельной проблемы успели до сих пор получить жестокие раны все революционные и оппозиционные партии страны: в декабре 1905 г., в первой Думе и во второй Думе. Вокруг аграрного вопроса вертится теперь, как белка в колесе, третья Дума. И об этот же вопрос рискует вдребезги разбить свою преступную голову царизм.

Дворянско-бюрократическое правительство—даже при лучших намерениях—бессильно произвести коренную реформу в той области, где паллиативы давно потеряли смысл. Те 6—7 миллионов десятин пригодной земли, которые имеются в распоряжении государства, совершенно недостаточны при наличности в деревне пяти миллионов избыточных мужских сил. Но и эту землю правительство может лишь п р о д а т ь крестьянам по ценам, которые оно само оплатит помещикам: значит, даже при полном и быстром переходе этих миллионов десятин к крестьянам, теперь, как и в 1861 г., всякий мужицкий рубль вместо того, чтобы найти производительное применение в хозяйстве, попадет в бездонный карман дворянства и правительства.

Крестьянство не может совершить скачок из нищеты и голода в рай интенсивного и рационального земледелия; чтоб такой переход вообще стал возможен, крестьянство должно сейчас, при данных условиях своего хозяйства, получить достаточную земельную базу для приложения своего труда. Передача всех крупных и средних земельных владений в руки крестьян является первой и необходимой предпосылкой глубокой аграрной реформы. При этом—по сравнению с теми десятками миллионов десятин, которые служат в руках помещиков лишь средством извлечения ростовщической ренты,—отступают на второй план те 1.840 имений с 7 миллионами десятин, где ведется относительно культурное крупное хозяйство. Продажа этой частновладельческой земли крестьянам, однако, мало изменила бы дело: то, что теперь мужик платит, в виде арендной платы, он тогда вносил бы в виде выкупного платежа. Остается конфискация.

Но нетрудно показать, что и конфискация крупного землевладения сама по себе еще не спасает крестьян. Общий доход сельского хозяйства составляет 2,8 миллиардов руб., из них 2,3 миллиарда приходится на долю крестьян и земледельческих рабочих и около 450 миллионов—на помещиков. Выше мы упоминали, что ежегодный дефицит крестьянства достигает 850 миллионов. Следовательно, сам по себе доход от конфискации помещичьей земли даже не покроет этого дефицита.

Такого рода вычислениями не раз пользовались противники экспроприации дворянских земель. Они при этом игнорировали главную сторону вопроса: экспроприация имеет значение именно постольку, поскольку на вырванном из праздных рук земельном фонде сможет развиться свободное фермерское хозяйство высокой культуры, которое во много раз увеличит общий доход с земли. Такого рода американское фермерство на русской почве мыслимо, в свою очередь, лишь при полном упразднении царского абсолютизма с его фиском, бюрократической опекой, с его всепожирающим милитаризмом, с его долговыми обязательствами европейской бирже. Развернутая формула аграрного вопроса гласит: экспроприация дворянства, упразднение царизма, демократия.

Только таким путем можно сдвинуть сельское хозяйство с мертвой точки. Это повысит его производительные силы и вместе с тем его спрос на продукты промышленности. Индустрия получит могучий толчок к дальнейшему развитию и поглотит значительную долю избыточного сельского населения. Все это еще далеко не дает «решения» аграрного вопроса: при капиталистическом строе он вообще не может быть решен. Но во всяком случае революционная ликвидация самодержавия и феодального строя должна предшествовать этому решению.

Аграрный вопрос в России представляет собой огромную гирю на ногах капитализма, опору и в то же время главную трудность для революционной партии, камень преткновения для либерализма, memento mori для контр-революции.

# Движущие силы русской революции.

5,4 миллиона квадр. километров в Европе, 17,5 миллионов—в Азии, 150 миллионов населения. На этом огромном пространстве—все эпохи человеческой культуры: от первобытной дикости северных лесов, где питаются сырой рыбой и молятся чурбану, и до новейших социальных отношений капиталистического города, где социалистический рабочий сознает себя активным участником мировой политики и напряженно следит за событиями на Балканах или за прениями германского рейхстага. Самая концентрированная в Европе индустрия на основе самого отсталого в Европе земледелия. Колоссальнейшая государственная машина в мире, которая пользуется всеми завоеваниями технического прогресса, чтобы задержать исторический прогресс собственной страны. В предшествующих главах мы пытались, отвлекаясь от всех частностей, дать общую картину экономических отношений и социальных противоречий России. Это та почва, из которой вырастают, на которой живут и борются общественные классы. Революция покажет нам эти классы в эпоху самой напряженной борьбы. Но в политической жизни непосредственно действуют сознательно созданные объединения: партии, союзы, армия, бюрократия, пресса и над ними министры, вожди, демагоги и палачи. Классов сразу разглядеть нельзя, они остаются обыкновенно за кулисами. Это не мешает, однако, партиям, их вождям, министрам и их палачам быть только органами классов. Хороши или дурны эти органы, это отнюдь не безразлично для хода и исхода событий. Если министры являются лишь поденщиками «объективного государственного разума», это никоим образом не освобождает их от необходимости иметь кусочек мозга под собственным черепом,—обстоятельство, о котором они слишком часто забывают. Как и, с другой стороны, логика классовой борьбы не избавляет нас от необходимости пользоваться нашей субъектив-

ной логикой. Кто не умеет найти простора для инициативы, энергии, таланта и героизма в рамках экономической необходимости, тот, значит, не овладел философской тайной марксизма. Но, с другой стороны, если мы хотим охватить политический процесс, в данном случае революцию, в его целом, мы должны уметь за пестрым гардеробом партий и программ, за коварством и кровожадностью одних, мужеством и идеализмом других, открыть действительные очертания общественных классов, которые своими корнями сидят в глубине производственных отношений, а свои цветы раскрывают в высших сферах идеологии.

## Современный город.

Характер капиталистических классов тесно связан с историей развития индустрии и города. Правда, индустриальное население в России менее, чем где бы то ни было, совпадает с населением городским. Помимо фабричных пригородов, лишь формально не включенных в городскую черту, существует несколько десятков значительных индустриальных центров в селах. В общем вне городов расположено 57% общего числа предприятий с 58% общего числа рабочих. Тем не менее капиталистический город остается наиболее законченным выразителем нового общества.

Современная городская Россия, это—продукт последних десятилетий. В первой четверти XVIII ст. городское население России составляло 328 тысяч, около 3% населения страны. В 1812 году в городах жило 1,6 миллионов душ, что составляло все еще только 4,4%. В середине XIX ст. города насчитывают 3,5 миллионов жителей, или 7,8%. Наконец, по переписи 1897 г. население городов составляет уже 16,3 миллиона, или около 13% всего народонаселения. С 1885 г. по 1897 г. городское население выросло на 33,8%, а сельское—только на 12,7%. Еще быстрее росли отдельные города. Население Москвы за последние 35 лет поднялось с 604 до 1.359 тысяч, т.-е. на 123%. Еще более быстрым темпом росли города юга: Одесса, Ростов, Екатеринослав, Баку...

Параллельно с увеличением числа и размера городов во второй половине XIX в., совершалось полное перерождение их хозяйственной роли и внутренней классовой структуры.

В противоположность ремесленно-цеховым городам Европы, которые энергично и во многих случаях победоносно боролись за сосредоточение всей обрабатывающей промышленности в своих стенах, старые русские города, подобно городам азиатских деспотий, почти совершенно не выполняли производительных функций. Это были военно-административные пункты, полевые крепости и в некоторых случаях торговые центры, которые жили на всем готовом. Их население состояло из служилых людей, содержавшихся на счет казны, из торговых людей и, наконец, из земледельцев, искавших прикрытия в городских стенах. Даже Москва, самый большой город старой России, представляла собою просто большую деревню, соединенную с царской усадьбой.

Ремесло в городах занимало ничтожное место, так как тогдашняя обрабатывающая промышленность, как мы уже знаем, была в виде кустарничества рассеяна по деревням. Предки тех четырех миллионов кустарей, которых насчитала перепись 1897 г., выполняли производственные функции европейского городского ремесла, но, в отличие от последнего, они совершенно не были причастны к процессу создания мануфактуры и фабрики. Когда последняя явилась, она пролетаризовала бо̀льшую половину кустарей, а остальных прямо и косвенно подчинила себе.

Как русская промышленность не прошла через эпоху средневекового ремесла, так русские города не знали постепенного роста третьего сословия в цехах, гильдиях, коммунах и муниципалитетах. Европейский капитал в течение нескольких десятилетий создал русскую индустрию, а русская индустрия создала современные города, в которых основные производственные функции выполняет пролетариат.

## Крупная капиталистическая буржуазия.

Экономическое господство досталось, таким образом, крупному капиталу без боя. Но огромная роль, которую играл при этом иностранный капитал, сказалась убийственно на политическом влиянии русской буржуазии. В силу государственной задолженности значительная доля национального дохода уходила ежегодно за границу, обогащая и усиливая финансовую буржуазию Европы. Но биржевая аристократия, которой в европейских

странах принадлежит гегемония и которая без труда превратила царское правительство в своего финансового вассала, не могла и не хотела стать составной частью буржуазной оппозиции внутри России уже потому, что никакое другое национальное правительство не обеспечило бы ей таких ростовщических процентов, как царизм. Но не только финансовый—иностранный промышленный капитал, эксплоатируя русскую природу и русскую рабочую силу, реализовал свою политическую мощь вне пределов России: во французском, английском или бельгийском парламенте.

Однако и туземный капитал не мог стать во главе национальной борьбы с царизмом, так как он сразу оказался враждебно противопоставлен народным массам: пролетариату, который он эксплоатирует непосредственно, и крестьянству, которое он обирает чрез посредство государства. В особенности сказанное относится к тяжелой индустрии. Эта последняя в настоящее время везде стоит в зависимости от государственных мероприятий, преимущественно от милитаризма. Правда, она заинтересована в «твердом гражданском правопорядке», но еще более ей нужна концентрированная государственная власть, великая раздавательница благ. У себя на заводах предприниматели-металлурги стоят лицом к лицу с наиболее передовой и активной частью рабочего класса, которая каждым ослаблением царизма пользуется для набега на капитал.

Текстильная промышленность более независима от государства, кроме того, она непосредственно заинтересована в повышении покупательной способности масс, которое немыслимо вне широкой аграрной реформы. Поэтому текстильная Москва развила в 1905 г. значительно более резкую, если не более энергичную оппозицию самодержавной бюрократии, чем металлургический Петербург. Московская городская дума с несомненным благоволением взирала на растущий прибой. Но тем решительнее и «принципиальнее» повернула она в сторону крепкой государственной власти, когда революция развернула перед нею все свое социальное содержание и вместе с тем толкнула текстильных рабочих на путь металлургических. Своего вождя контрреволюционный капитал, соединившийся с контр-революционным землевладением, нашел в московском купце Гучкове, лидере третьедумского большинства.

## Буржуазная демократия.

Убив в зародыше русское ремесло, европейский капитал тем самым вырвал социальную почву из-под ног буржуазной демократии. Можно ли нынешние Петербург или Москву сравнивать с Берлином или Веной 1848 г., а тем более с Парижем 1789 г., который не мечтал еще ни о железной дороге, ни о телеграфе и считал мануфактуру в 300 рабочих крупнейшим предприятием. У нас нет и в помине того коренастого мещанства, которое прошло вековую школу самоуправления и политической борьбы и затем рука об руку с молодым, еще несложившимся пролетариатом брало приступом бастилии феодализма. Что пришло ему на смену? «Новое среднее сословие», профессиональная интеллигенция: адвокаты, журналисты, врачи, инженеры, профессора, учителя. Лишенный самостоятельного значения в общественном производстве, немногочисленный, экономически зависимый, слой этот, в правильном сознании собственного бессилия, неизменно ищет массивного общественного класса, к которому он мог бы прислониться. Замечательное дело! Такая опора отыскалась первоначально не в лице капиталистов, а в лице землевладельцев.

Руководившая первыми двумя Думами конституционно-демократическая (кадетская) партия образовалась в 1905 г. путем объединения Союза земских конституционалистов с Союзом освобождения. В либеральной фронде земцев находило свое выражение, с одной стороны, завистливое недовольство аграриев чудовищным индустриальным протекционизмом правительственной политики; с другой—оппозиция более прогрессивных землевладельцев, которым варварство русских аграрных отношений препятствовало поставить свое хозяйство на капиталистическую ногу. Союз освобождения объединил те элементы интеллигенции, которым «приличное» общественное положение и связанная с ним сытость мешали стать на революционный путь. На земской оппозиции всегда стояла печать трусливой немощности, и августейший недоросль сказал только горькую правду, когда назвал в 1894 г. ее политические пожелания «бессмысленными мечтаниями». С другой стороны, и привилегированная интеллигенция, к тому же состоящая в прямой или

косвенной материальной зависимости от государства, протежируемого им крупного капитала или либерально-цензового землевладения, не способна была развить сколько-нибудь внушительную политическую оппозицию.

По своему происхождению кадетская партия была, следовательно, соединением оппозиционного бессилия земцев со всесторонним бессилием дипломированной интеллигенции. Поверхность земского либерализма обнаружилась с полной наглядностью уже в конце 1905 г. в резком повороте помещиков—под влиянием аграрных беспорядков—в сторону старой власти. Либеральной интеллигенции пришлось со слезой в глазу покинуть помещичью усадьбу, где она была в сущности только приемышем, и искать признания на своей исторической родине, в городах. Но что она нашла здесь кроме самой себя? Консервативный крупный капитал, революционный пролетариат и непримиримый классовый антагонизм между ними.

Тот же антагонизм расколол до основания и мелкое производство во всех тех отраслях, где оно сохранило значение. Ремесленный пролетариат развивается в атмосфере крупной индустрии и мало отличается от пролетариата фабричного. Притиснутые крупной индустрией и рабочим движением, русские ремесленники представляют собою темный, полуголодный, озлобленный класс, который, на-ряду с лумпен-пролетариатом, поставляет боевой персонал черносотенных демонстраций и погромов...

В результате—безнадежно запоздалая буржуазная интеллигенция, рожденная под звуки социалистических проклятий, висит над бездной классовых противоречий, отягченная помещичьими традициями и опутанная профессорскими предрассудками, без инициативы, без влияния на массы и без доверия к завтрашнему дню.

## Пролетариат.

Те же причины всемирно-исторического характера, которые превратили буржуазную демократию в России в голову (весьма путанную) без тела, подготовили и условия для выдающейся роли молодого русского пролетариата. Но как велика прежде всего его численность?

Крайне неполные цифры 1897 г. дают нам на это следующий ответ:

| Число рабочих: | |
|---|---|
| А. Горнозаводская и обрабатывающая промышленность, пути сообщения, строительное дело и торговые предприятия. | 3.322.000 |
| Б. Земледелие, лесное хозяйство, рыболовство и охота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2.723.000 |
| В. Поденщики и подмастерья . . . . . . . . | 1.195.000 |
| Г. Прислуга, швейцары, дворник и т. д. . . | 2.132.000 |
| Всего (мужчин и женщин) . | 9.272.000 |

Вместе с зависимыми членами семьи пролетариат составлял в 1897 г. 27,6% всего населения, т.-е. несколько больше одной четверти. Политическая активность отдельных слоев этой массы обнаруживает большие различия, и руководящая роль в революции принадлежит почти исключительно рабочим первой группы (см. таблицу). Было бы, однако, грубейшей ошибкой измерять действительное и возможное значение русского пролетариата в революции масштабом его относительной численности. Это значило бы за голой цифрой не видеть социальных отношений.

Влияние пролетариата определяется его ролью в современном хозяйстве. Наиболее могущественные средства производства нации находятся в прямой и непосредственной зависимости от рабочих. 3,3 миллиона рабочих сил (группа А) производят не меньше половины ежегодного национального дохода! Важнейшие средства сообщения, железные дороги, которые только и превращают огромную страну в экономическое целое, как показали события, представляют собою в руках пролетариата экономическую и политическую позицию неизмеримой важности. Сюда же нужно присоединить почту и телеграф, которые находятся не в столь непосредственной, но тем не менее в очень действительной зависимости от пролетариата.

В то время как крестьянство разбросано по всей стране, пролетариат мобилизован в больших массах на фабриках и в фабрично-заводских центрах. Он образует ядро населения каждого города, важного в хозяйственном и политическом отношении, и все те преимущества, какие имеет город в капиталистической стране: сосредоточение производственных сил и средств, соединение самых активных элементов населения и наибольших культурных благ, превращаются естественно в классовые преимущества пролетариата. Его классовое самоопределение развивалось

с беспримерной в истории быстротой. Едва выйдя из колыбели, русский пролетариат оказался лицом к лицу с самой концентрированной государственной властью и столь же концентрированной силой капитала. Цеховые традиции и ремесленные предрассудки не имели над его сознанием никакой власти. Он с первых же шагов стал на путь непримиримой классовой борьбы.

Таким образом ничтожество ремесла, вообще мелкого производства и крайне развитый характер русской крупной индустрии привели в политике к вытеснению буржуазной демократии демократией пролетарской. Вместе с производственными функциями мелкой буржуазии рабочий класс перенял ее былую политическую роль и ее исторические притязания на руководство крестьянскими массами в эпоху их сословной эмансипации из-под дворянско-фискального ига.

Политическим оселком, на котором история подвергла испытанию городские партии, явился аграрный вопрос.

## Дворянство и землевладение.

Кадетская или, вернее, бывшая кадетская программа принудительного отчуждения среднего и крупного землевладения по «справедливой» оценке представляет собою, по мнению кадетов, максимум того, что может быть достигнуто путем «законодательной творческой работы». В действительности, однако, либеральная попытка экспроприировать законодательным путем крупные поместья привела только к экспроприации правительством избирательных прав и к coup d'état третьего июня (1907 г.). Кадеты смотрели на ликвидацию землевладельческого дворянства, как на чисто финансовую операцию, и добросовестно старались сделать свою «справедливую оценку» возможно более приемлемой для помещиков. Но дворянство смотрело на вещи иными глазами. Своим непогрешимым инстинктом оно тотчас поняло, что дело здесь идет не о простой продаже 50 миллионов десятин, хотя бы и по высоким ценам, а о ликвидации всей его социальной роли, как господствующего сословия, и наотрез отказалось пустить себя с молотка. «Пусть же,—воскликнул во время первой Думы граф Салтыков, обращаясь к помещикам,—вашим девизом и вашим лозунгом будет: ни одной пяди нашей земли, ни одной песчинки наших полей, ни одной былинки наших лугов, ни одного сучка на-

ших лесов!» И это не было гласом вопиющего в пустыне: нет, как раз годы революции являются периодом сословной концентрации и политического укрепления русского дворянства. Во время самой мрачной реакции при Александре III дворянство было одним из сословий, хотя и первым. Самодержавие, бдительно охранявшее свою независимость, ни на минуту не выпускало дворянства из тисков полицейского надзора и надевало намордник своего контроля даже на пасть его сословного своекорыстия. Теперь же дворянство является в самом полном смысле слова командующим сословием: оно заставляет губернаторов плясать под свою дудку, грозит министрам и открыто смещает их, ставит правительству ультиматумы и добивается их выполнения. Его лозунг гласит, ни пяди нашей земли, ни крупицы наших привилегий!

В руках 60.000 частных землевладельцев, с годовым доходом свыше 1.000 рублей, сосредоточено около 75 миллионов десятин: при рыночной цене в 56 миллиардов рублей они приносят своим собственникам больше 450 миллионов рублей чистого дохода в год. Не меньше двух третей этой суммы приходятся на дворянство. С землевладением тесно связана бюрократия. На содержание 30.000 чиновников, получающих свыше 1.000 рублей жалованья, тратится ежегодно почти 200 миллионов рублей. И как раз в этих средних и высших кругах чиновничества заметно преобладает дворянство. Наконец, то же дворянство безраздельно распоряжается органами земского самоуправления и связанными с этим доходами.

Если до революции во главе доброй половины земств стояли «либеральные» помещики, выдвинувшиеся на почве «культурной» земской работы, то годы революции произвели в этой области полный переворот, в результате которого в первых рядах оказались самые непримиримые представители помещичьей реакции. Всесильный Совет объединенного дворянства в зародыше подавляет попытки правительства, предпринимаемые в интересах капиталистической промышленности, «демократизировать» земства или ослабить сословные путы крестьянства.

Перед лицом этих фактов кадетская аграрная программа, как основа з а к о н о д а т е л ь н о г о с о г л а ш е н и я, оказывается безнадежно-утопической, и немудрено, если сами кадеты от нее молчаливо отказались.

Социал-демократия вела критику кадетской программы главным образом по линии «справедливой оценки»,—и была права. Уже с финансовой стороны выкуп всех имений, приносящий своим владельцам свыше 1.000 р. в год, прибавил бы к нашему девятимиллиардному государственному долгу круглую сумму в 5—6 миллиардов; это значит, что одни проценты начали бы пожирать ежегодно в целом три четверти миллиарда. Но решающее значение имеет не финансовая сторона вопроса, а политическая.

Условия так называемой освободительной реформы 1861 года при помощи преувеличенной выкупной суммы за крестьянские земли фактически вознаграждали помещиков за крестьянские души (приблизительно в размере одной четверти миллиарда, т.-е. 25% всей выкупной суммы). В этом случае при помощи «справедливой оценки» действительно ликвидировались крупные исторические права и привилегии дворянства, и это последнее сумело приспособиться к полуосвободительной реформе и примириться с нею. Оно проявило тогда такой же правильный инстинкт, как и теперь, когда оно решительно отказывается кончать сословным самоубийством,—хотя бы и по «справедливой оценке». Ни пяди нашей земли и ни крупицы наших привилегий!—под этим знаменем дворянство окончательно овладело потрясенным революцией правительственным аппаратом и показало, что будет бороться со всей свирепостью, на какую способен правящий класс, когда дело идет о его жизни и смерти.

Не посредством парламентского соглашения с этим сословием может быть решен аграрный вопрос, а посредством революционного натиска масс.

## Крестьянство и город.

Узел социально-политического варварства России завязан в деревне; но это не значит, что деревня же выдвинула класс, способный собственными силами этот узел разрубить. Рассеянное на пространстве 5 миллионов квадратных верст Европейской России—между 500 тысяч поселений—крестьянство из своего прошлого не вынесло никаких навыков согласованной политической борьбы. Во времена аграрных мятежей 1905—1906 г.г. задача сводилась для восставших крестьян к изгнанию помещиков

из пределов своей деревни, своей волости и, наконец, своего уезда. Против крестьянской революции поместное дворянство имело готовый централизованный аппарат государства. Преодолеть его крестьянство могло бы лишь единовременным и решительным восстанием. Но на это оно оказалось неспособным по всем условиям своего существования. Локальный кретинизм—историческое проклятие крестьянских восстаний. Они освобождаются от него, лишь поскольку перестают быть чисто-крестьянскими и сливаются с революционными движениями новых общественных классов.

Уже во время революции немецкого крестьянства в первой четверти XVI века, несмотря на экономическую слабость и политическую незначительность городов тогдашней Германии, крестьянство естественно становилось под прямое руководство городских партий. Социально-революционное по своим объективным интересам, но политически раздробленное и беспомощное, оно неспособно было создать свою собственную партию и давало—в зависимости от местных условий—перевес либо бюргерски-оппозиционной, либо плебейски-революционной партии города. Эта последняя, единственная сила, которая могла бы обеспечить победу крестьянской революции, хотя и опиралась на самый радикальный класс тогдашнего общества, на эмбрион современного пролетариата, сама была, однако, совершенно лишена общенациональной связи и ясного сознания революционных целей. И то и другое было невозможно вследствие экономической неразвитости страны, примитивности путей сообщения и государственного партикуляризма. Таким образом задача революционного сотрудничества мятежной деревни и городского плебса не была и не могла быть тогда разрешена. Крестьянское движение было раздавлено...

Через три слишком столетия однородные соотношения повторились в революции 1848 года. Либеральная буржуазия не только не хотела поднять крестьянство и объединить его вокруг себя, но она пуще всего боялась роста крестьянского движения именно потому, что оно прежде всего усиливало и укрепляло позиции плебейски-радикальных элементов города против нее самой. С другой стороны, эти последние все еще не преодолели своей социально-политической бесформенности и раздробленности и потому не способны были, отстранив либеральную буржуазию,

стать во главе крестьянских масс. Революция 48 года терпит поражение...

Но за шесть десятилетий до этого мы видим во Франции победоносное осуществление задач революции именно при помощи кооперации крестьянства и городского плебса, т.-е. пролетариев, полупролетариев и лумпен-пролетариев той эпохи. Эта «кооперация» приняла форму диктатуры Конвента, т.-е. диктатуры города над деревней, Парижа над провинцией и санкюлотов над Парижем.

В условиях современной России социальный перевес индустриального населения над земледельческим несравненно значительнее, чем в эпоху старых европейских революций, и в то же время в нынешних русских городах место хаотического плебса занял резко очерченный промышленный пролетариат. Но одно не изменилось: на крестьянство во время революции может попрежнему опереться только та партия, которая ведет за собою наиболее революционные массы городов и которая не побоится потрясти феодальную собственность из священного трепета перед собственностью буржуазной. Такой партией является теперь только социал-демократия.

## Характер русской революции.

По своим прямым и непосредственным задачам русская революция «буржуазна», ибо стремится освободить буржуазное общество из пут и оков абсолютизма и феодальной собственности. Но главную движущую силу этой революции образует пролетариат,—и потому по методу своему она является пролетарской. Это противоречие оказались не способны переварить многие педанты, которые историческую роль пролетариата определяют при помощи арифметико-статистических выкладок или устанавливают путем формальных исторических аналогий. Для них провиденциальным вождем русской революции является буржуазная демократия, тогда как пролетариат, фактически шедший во главе событий во все периоды революционного подъема, эти педанты пытаются завернуть в пеленки своего собственного теоретического недомыслия. Для них история одной капиталистической нации—лишь с большими или меньшими отклонениями—повторяет историю другой. Они не видят единого в настоящее время

процесса мирового капиталистического развития, который поглощает все встречающиеся на его пути страны и из соединения туземных условий с общекапиталистическими создает социальную амальгаму, природу которой можно определить не посредством исторического шаблонизирования, а лишь при помощи материалистического анализа.

Между Англией, пионером капиталистического развития, которая в течение веков создавала новые социальные формы и, как их носительницу, могущественную буржуазию,— и между нынешними колониями, куда европейский капитал, на готовых броненосцах, привозит готовые рельсы, шпалы, гвозди и салон-вагоны для колониальной администрации, и затем винтовкой и штыком выбрасывает туземцев из их первобытной обстановки, вгоняя их в капиталистическую цивилизацию, нет никакой аналогии исторического развития, хотя и есть глубокая внутренняя связь.

Новая Россия получила совершенно своеобразный характер благодаря тому, что ее капиталистическое крещение совершал во второй половине XIX столетия европейский капитал, достигший своей наиболее концентрированной и абстрагированной формы— капитал финансовый. Его собственная предшествующая история ничем не связана с предшествующей историей России. Для того, чтобы он мог достигнуть у себя на родине высот современной биржи, он должен был сперва вырваться из тесных улиц и переулков ремесленного города, где он учился ползать и ходить, он должен был, в непрестанной борьбе с церковью, развить технику и науку, сплотить вокруг себя всю нацию, завоевать власть путем восстания против феодальных и династических привилегий, расчистить для себя открытую арену, доканать самостоятельное мелкое производство, из которого он сам вышел, чтобы затем, оторвавшись от национальной пуповины, от праха отцов, от политических предрассудков, от расовых симпатий, от географической долготы и широты,—плотоядно парить над земным шаром, сегодня отравляя опиумом им же разоренного китайского ремесленника, завтра обогащая новым броненосцем воды России, послезавтра овладевая алмазными россыпями на юге Африки.

Но когда английский или французский капитал, исторический сгусток ряда веков, появляется в степях Донецкого бассейна, он совершенно неспособен развернуть из себя те самые

социальные силы, отношения и страсти, которые он последовательно в себя впитал. Он не повторяет на новой территории уже проделанного им развития, а начинает с того, на чем остановился на родине. Вокруг машин, которые он перебросил через моря и таможни, он сразу, без всяких промежуточных этапов, сосредоточивает массы пролетариата, и в этот класс он переливает застывшую в нем революционную энергию старых поколений буржуазии.

В героический период французской истории мы видим буржуазию, еще не обнаружившую перед собой противоречий собственного положения, на которую история возлагает руководство борьбой за новый порядок вещей не только против отживших учреждений Франции, но и против реакционных сил всей Европы. Буржуазия последовательно, в лице всех своих фракций, сознает себя и становится вождем нации, вовлекает массы в борьбу, дает им лозунг, диктует им боевую тактику. Демократия связывает нацию политической идеологией. Народ—мещане, крестьяне и рабочие—посылает своими депутатами буржуа, и те наказы, которые дают им общины, написаны языком буржуазии, приходящей к сознанию своей мессианистической роли. Во время самой революции хотя и вскрываются классовые антагонизмы, но властная инерция революционной борьбы последовательно сбрасывает с политического пути наиболее косные элементы буржуазии. Каждый слой отрывается не раньше, как передаст свою энергию следующим за ним слоям. Нация, как целое, продолжает при этом бороться за свои цели все более и более острыми и решительными средствами. Когда от национального ядра, пришедшего в движение, отрываются верхи имущей буржуазии и вступают в союз с Людовиком XVI, демократические требования нации, направленные уже против этой буржуазии, приводят ко всеобщему избирательному праву и республике, как логически неизбежным формам демократии.

Великая французская революция есть действительно революция национальная. Более того. Здесь в национальных рамках находит свое классическое выражение мировая борьба буржуазного строя за господство, власть, безраздельное торжество.

В 1848 году буржуазия уже неспособна была сыграть подобную роль. Она не хотела и не смела брать на себя ответственность за революционную ликвидацию общественного строя, стоявшего

помехой ее господству. Ее задача состояла в том,—и она отдавала себе в этом отчет,—чтобы ввести в старый строй необходимые гарантии—не своего политического господства, но лишь совладения с силами прошлого. Она не только не вела массы на штурм старого порядка, но она упиралась спиною в старый порядок, чтобы дать отпор массам, толкавшим ее вперед. Ее сознание восставало против объективных условий ее господства. Демократические учреждения отражались в ее голове не как цель ее борьбы, но как угроза ее благополучию. Революция могла быть проведена не ею, но против нее. Поэтому в 48 году для успеха революции нужен был класс, способный итти во главе событий помимо буржуазии и вопреки ей, готовый не только толкать ее вперед силой своего давления, но и сбросить в решительную минуту со своего пути ее политический труп.

Ни мещанство, ни крестьянство не были на это способны.

Мещанство было враждебно не только по отношению ко вчерашнему, но и по отношению к завтрашнему дню. Еще опутанное средневековыми отношениями, но уже неспособное противостоять «свободной» промышленности; еще налагавшее на города свой отпечаток, но уже уступавшее свое влияние средней и крупной буржуазии; погрязшее в своих предрассудках, оглушенное грохотом событий, эксплоатирующее и эксплоатируемое, жадное и беспомощное в своей жадности, захолустное мещанство не могло руководить мировыми событиями.

Крестьянство в еще большей мере было лишено самостоятельной инициативы. Рассеянное, отброшенное от городов, нервных центров политики и культуры, тупое, ограниченное в своем кругозоре околицей, равнодушное ко всему, до чего додумался город, крестьянство не могло иметь руководящего значения. Оно успокоилось, как только с его плеч была сброшена ноша феодальных повинностей, и отплатило городу, который боролся за его права, черной неблагодарностью: освобожденные крестьяне стали фанатиками «порядка».

Интеллигентная демократия, лишенная классовой силы, то плелась вслед за своей старшей сестрой, либеральной буржуазией, в качестве ее политического хвоста, то отделялась от нее в критические моменты, чтобы обнаружить свое бессилие. Она путалась сама в неназревших противоречиях и эту путаницу несла с собою всюду.

Пролетариат был слишком слаб, лишен организации, опыта и знания. Капиталистическое развитие пошло достаточно далеко, чтобы сделать необходимым уничтожение старых феодальных отношений, но недостаточно далеко, чтобы выдвинуть рабочий класс, продукт новых производственных отношений, как решающую политическую силу. Антагонизм пролетариата с буржуазией зашел слишком далеко, чтобы дать возможность буржуазии безбоязненно выступить в роли национального руководителя, но недостаточно далеко, чтобы позволить пролетариату взять на себя такую роль.

Австрия дала особенно резкий и трагический образчик этой незаконченности политических отношений в революционный период.

Венский пролетариат проявил в 1848 году беззаветный героизм и большую революционную энергию. Он снова и снова шел в огонь, движимый одним лишь темным классовым инстинктом, лишенный общего представления о целях борьбы, переходящий ощупью от лозунга к лозунгу. Руководство пролетариатом удивительным образом перешло к студенчеству, единственной демократической группе, пользовавшейся, благодаря своей активности, большим влиянием на массы, а значит—и на события. Но хотя студенты и способны были храбро драться на баррикадах и умели честно брататься с рабочими, они совершенно не могли, однако, руководить общим ходом революции, вручившей им «диктатуру» над улицей. Когда 26 мая вся рабочая Вена поднялась на ноги по призыву студентов, чтобы бороться против разоружения «академического легиона», когда население столицы фактически завладело городом, когда монархия, находившаяся в бегах, лишилась значения, когда, под давлением народа, последние войска были выведены из столицы, когда правительственная власть Австрии оказывалась таким образом выморочным достоянием, не нашлось политической силы, чтобы овладеть рулем. Либеральная буржуазия сознательно не хотела воспользоваться властью, добытою столь разбойничьим путем. Она только и мечтала о возвращении императора, удалившегося в Тироль из осиротевшей Вены. Рабочие были достаточно мужественны, чтобы разбить реакцию, но недостаточно организованы и сознательны, чтобы ей наследовать. Неспособный овладеть кормилом, пролетариат не мог подвинуть на этот исторический подвиг и буржуаз-

ную демократию, которая, как это часто бывает с нею, скрылась в самую нужную минуту. В общем получилось положение, которое один современник совершенно правильно характеризует словами: «в Вене фактически установилась республика, но, к несчастью, никто не видал этого»... Из событий 48—49 г.г. Лассаль извлек тот непоколебимый урок, что «никакая борьба в Европе не может быть успешна, если только с самого начала она не будет провозглашена чисто социалистической; что не может больше удаться никакая борьба, в которой социальные вопросы входят лишь, как туманный элемент, и стоят на заднем плане, и которая с внешней стороны ведется под знаменем национального возрождения или буржуазного республиканизма»...

В революции, начало которой история отнесет к 1905 г., пролетариат впервые выступил под собственным знаменем во имя собственных целей. И в то же время, несомненно, что ни одна из старых революций не поглотила такой массы народной энергии и не дала таких ничтожных положительных завоеваний, как русская революция до настоящего момента. Мы далеки от намерения пророчествовать, как сложатся события в ближайшие недели или месяцы. Но для нас ясно одно: победа возможна лишь на том пути, который в 49 г. формулировал Лассаль. От классовой борьбы к единству буржуазной нации возврата нет. «Безрезультатность» русской революции—не что иное, как преходящее отражение ее глубокого социального характера. В этой «буржуазной» революции без революционной буржуазии пролетариат внутренним ходом вещей толкается к гегемонии над крестьянством и борьбе за государственную власть. О политическое тупоумие мужика, который у себя в деревне громил барина, чтоб овладеть его землей, а напялив солдатскую куртку, расстреливал рабочих, разбился первый вал российской революции. Все события ее можно рассматривать как ряд беспощадных предметных уроков, посредством которых история вбивает крестьянину сознание связи между его местными земельными нуждами и центральной проблемой государственной власти. В исторической школе суровых столкновений и жестоких поражений вырабатываются предпосылки революционной победы.

«Буржуазные революции,—писал Маркс в 1852 г.,—быстрее стремятся от успеха к успеху, их драматические эффекты импозантнее, люди и события как бы озарены бенгальским огнем,

экстаз является господствующим настроением каждого дня; но они быстротечны, скоро достигают своего высшего пункта, и продолжительная апатия похмелья охватывает общество, прежде чем оно успевает трезво усвоить себе результаты периода бури и натиска. Напротив, пролетарские революции непрерывно критикуют самих себя, то-и-дело прерывают свой ход, возвращаются назад и заново начинают то, что, повидимому, уже совершено, с беспощадной суровостью осмеивают половинчатость, слабость, недостатки своих первых попыток, низвергают противника как бы только для того, чтобы он набрался новых сил и встал перед ними еще более могучим, все снова и снова отступают назад, пугаясь неопределенной колоссальности своей собственной задачи, пока, наконец, не будут созданы условия, исключающие возможность всякого отступления, пока сама жизнь не заявит властно: Hic Rhodus, hic salta!» («Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта»).

# Весна.

## I.

Покойный генерал Драгомиров писал в частном письме о министре внутренних дел Сипягине: «Какая у него внутренняя политика? Он просто егермейстер и дурак». Эта характеристика так верна, что ей можно простить ее манерную солдатскую грубоватость. После Сипягина мы видели на том же месте Плеве, потом князя Святополк-Мирского, потом Булыгина, потом Витте—Дурново... Одни из них отличались от Сипягина только тем, что не были егермейстерами, другие были на свой лад умными людьми. Но все они, один за другим, сходили со сцены, оставляя после себя тревожное недоумение вверху, ненависть и презрение внизу. Скорбный главою егермейстер или профессиональный сыщик, благожелательно-тупой барин или лишенный совести и чести биржевой маклер, все они поочередно появлялись с твердым намерением остановить смуту, восстановить утраченный престиж власти, охранить основы,—и все они, каждый по-своему, открывали шлюзы революции и сами сносились ее течением. Смута развивалась с могучей планомерностью, неизменно расширяла свою территорию, укрепляя свои позиции и срывая препятствия за препятствиями,—а на фоне этой великой работы, с ее внутренними ритмом, с ее бессознательной гениальностью, выступают властные игрушечного дела людишки, издают законы, делают новые долги, стреляют в рабочих, разоряют крестьян,—и в результате только глубже погружают охраняемую ими правительственную власть в состояние остервенелого бессилия.

Воспитанные в атмосфере канцелярских заговоров и ведомственных интриг, где наглое невежество соперничает с бессовестным коварством, без малейшего представления о ходе и смысле современной истории, о движении масс, о законах революции,

вооруженные двумя-тремя жалкими программными идейками для сведения парижских маклеров, эти люди—чем дальше, тем больше—силятся соединить свои приемы временщиков восемнадцатого века с манерами «государственных людей» парламентарного Запада. С униженным заискиванием они беседуют с корреспондентами биржевой Европы, излагают перед ними свои «планы», свои «предначертания», свои «программы», и каждый из них выражает надежду, что ему, наконец, удастся разрешить задачу, о которую разбились усилия его предшественников. Только бы прежде всего успокоить смуту! Они начинают разно, но все приходят к тому, что приказывают стрелять ей в грудь. К их ужасу она бессмертна!.. А они кончают постыдным крахом,—и если услужливый удар террориста не освобождает их от их жалкого существования, они бывают осуждены пережить свое падение и видеть, как смута в своей стихийной гениальности воспользовалась их планами и предначертаниями для своих побед.

Сипягин был убит револьверной пулей. Плеве был разорван бомбой. Святополк-Мирский был политически превращен в труп в день 9-го января. Булыгина вышвырнула, как старую ветошь, октябрьская забастовка. Гр. Витте, совершенно изнуренный рабочими и военными восстаниями, бесславно пал, споткнувшись о порог им же созданной Государственной Думы...

В известных кругах оппозиции, преимущественно в среде либеральных земцев и демократической интеллигенции, со сменой министерских фигур искони неизбежно связывались неопределенные надежды, ожидания и планы. И действительно, для агитации либеральных газет, для политики конституционных помещиков совершенно не безразлично было, стоит ли у власти старый полицейский волк Плеве или министр доверия Святополк-Мирский. Конечно, Плеве был так же бессилен против народной смуты, как и его преемник, но за то он был грозен для царства либеральных газетчиков и земских конспираторов. Он ненавидел революцию бешеной ненавистью состарившегося сыщика, которому грозит бомба из-за каждого угла, он преследовал смуту с налитыми кровью глазами,—тщетно!.. И он переносил свою неудовлетворенную ненависть на профессоров, на земцев, на журналистов, в которых он хотел видеть легальных «внушителей» революции. Он довел либеральную печать до крайней степени унижения. Он третировал журналистов en canaille: не только высы-

лал их и запирал, но и грозил им, как мальчишкам, в беседе пальцем. Он расправлялся с умеренными членами сельско-хозяйственных комитетов, организованных по инициативе Витте, как будто это были буйные студенты, а не «почтенные» земцы. И он добился своего: либеральное общество трепетало перед ним и ненавидело его клокочащей ненавистью бессилия. Многие из тех либеральных фарисеев, которые неустанно порицают «насилие слева», как и «насилие справа», приветствовали бомбу 15-го июля, как посланницу Мессии.

Плеве был страшен и ненавистен для либералов, но для смуты он был не хуже и не лучше, чем всякий другой. Движение масс по необходимости игнорировало рамки дозволенного и запрещенного,—не все ли равно, в таком случае, были ли эти рамки немного ўже или шире?

## II.

Официальные реакционные панегиристы пытались регентство Плеве изобразить временем если не всеобщего счастья, то всеобщего спокойствия. Но на самом деле временщик был бессилен создать хотя бы полицейскую тишину. Едва став у власти и вознамерившись с православной ревностью двойного перекрещенца посетить святыни Лавры, Плеве вынужден был мчаться на юг, где вспыхнуло крупное аграрное движение в Харьковской и Полтавской губ. Частичные крестьянские беспорядки затем не прекращались. Знаменитая ростовская стачка в ноябре 1902 г. и июльские дни 1903 г. на всем промышленном юге были предзнаменованием всех позднейших выступлений пролетариата. Уличные демонстрации не прекращались. Прения и постановления комитетов о нуждах сельского хозяйства были прологом дальнейшей земской кампании. Университеты еще до Плеве стали очагами бурного политического кипения,—эту свою роль они сохранили и при нем. Два петербургских съезда в январе 1904 г.—технический и пироговский—сыграли роль аванпостной стачки для демократической интеллигенции. Таким образом, пролог общественной «весны» был сыгран еще при Плеве. Бешеные репрессалии, заточения, допросы, обыски и высылки, провоцировавшие террор, не могли, в конце концов, совершенно парализовать даже и мобилизацию либерального общества.

Последнее полугодие властвования Плеве совпало с началом войны. Смута затихла, вернее сказать, ушла в себя. О настроении в бюрократических сферах и высших кругах петербургского либерального общества за первые месяцы войны дает представление книга венского журналиста Гуго Ганца «Vor der Katastrophe» («Перед катастрофой»). Господствующее настроение—растерянность, близкая к отчаянию. «Дальше так продолжаться не может!» Где же выход? Никто не знает: ни отставные сановники, ни знаменитые либеральные адвокаты, ни знаменитые либеральные журналисты. «Общество совершенно бессильно. О революционном движении народа не приходится и думать; да если бы он и сдвинулся с места, то направился бы не против власти, а против господ вообще». Где же надежда на спасение? Финансовое банкротство и военный разгром. Гуго Ганц, проведший в Петербурге три первых месяца войны, удостоверяет, что общая молитва не только умеренных либералов, но и многих консерваторов такова: «Gott, hilf uns damit wir geschlagen werden» («Боже, помоги нам быть разбитыми»). Это, конечно, не мешало либеральному обществу подделываться под тон официального патриотизма. В целом ряде адресов земства и думы друг за другом, все без изъятия, клялись в своей преданности престолу и обязывались пожертвовать жизнью и имуществом—они знали, что им не придется этого делать!—за честь и могущество царя и России. За земствами и думами шли позорной вереницей профессорские корпорации. Одна за другой они откликались на объявление войны адресами, в которых семинарская витиеватость формы гармонировала с византийским идиотизмом содержания. Это не оплошность и не недоразумение. Это тактика, в основе которой лежит один принцип: сближение во что бы то ни стало! Отсюда—стремление облегчить абсолютизму душевную драму примирения. Сорганизоваться не на деле борьбы с самодержавием, а на деле услужения ему. Не победить правительство, а завлечь его. Заслужить его признательность и доверие, стать для него необходимым. Тактика, которой столько же лет, сколько русскому либерализму, и которая не сделалась ни умнее, ни достойнее с годами! Таким образом, с самого начала войны либеральная оппозиция сделала все, чтобы погубить положение. Но революционная логика событий не знала остановки. Порт-Артурский флот разбит, адмирал Макаров погиб, война перебросилась на сушу,—Ялу, Кин-Чжоу, Дашичао,

Вафангоу, Ляоян, Шахе—все это разные имена одного и того же самодержавного позора. Положение правительства становилось трудным, как никогда. Деморализация в правительственных рядах делала невозможной последовательность и твердость во внутренней политике. Колебания, попытки соглашения и умиротворения становились неизбежны. Смерть Плеве создавала благоприятный повод для перемены курса.

## III.

Правительственную «весну» [1]) призван был делать бывший шеф корпуса жандармов князь Святополк-Мирский. Почему? Он сам был последним из тех, кто мог бы объяснить это назначение.

Политический образ этого государственного мужа лучше всего вырисовывается из его программных бесед с иностранными корреспондентами.

«— Каково мнение князя,—спрашивает сотрудник «Echo de Paris»,—относительно существующего в обществе мнения, будто России нужны ответственные министры?

Князь улыбается:

— Всякая ответственность явилась бы искусственной и номинальной.

— Каковы ваши взгляды, князь, на вероисповедные вопросы?

— Я враг религиозных преследований, но с некоторыми оговорками...

— Верно ли, что вы склонны предоставить больше свободы евреям?

— Добротой можно достигнуть счастливых результатов.

— В общем, г. министр, вы заявляете себя сторонником прогресса?»

Ответ: министр намерен «согласовать свои действия с духом истинного и широкого прогресса, по крайней мере, **поскольку он не будет в противоречии с существующим строем**». Буквально!

Князь, впрочем, и сам не брал в серьез своей программы. Правда, «ближайшею» задачею управления является благо на-

[1]) Этим именем, приобревшим большую популярность, назвал издатель «Нового Времени» Суворин «эпоху сближения власти с народом».

селения, вверенного нашему попечению, но он признался американскому корреспонденту Томсону, что в сущности еще не знает, какое употребление сделает из своей власти.

«Я был бы неправ,—сказал министр,—если бы сказал, что у меня уже теперь есть определенная программа. Аграрный вопрос? Да, да, по этому вопросу есть огромный материал, но я знаком с ним пока только из газет».

Князь успокаивал Петергоф, утешал либералов и давал иностранным корреспондентам заверения, делавшие честь его доброму сердцу, но безнадежно ронявшие его государственный гений.

И эта беспомощная барская фигура в жандармских аксельбантах оказалась—не только в голове Николая, но и в воображении либералов—призванной разрешить вековые узы, врезавшиеся в тело великой страны!

## IV.

Казалось, все встретили Святополка-Мирского с восторгом. Князь Мещерский, редактор реакционного «Гражданина», писал, что наступил праздник для «огромной семьи порядочных людей в России», ибо на пост министра назначен, наконец, «идеально порядочный человек». «Независимость—родня благородству,— писал старец Суворин,—а благородство нам очень нужно». Князь Ухтомский в «Петербургских Ведомостях» обращал внимание на то, что новый министр «происходит из древнего княжеского рода, восходящего к Рюрику через Мономаха». Венская «Neue Freie Presse» с удовлетворением отмечает в князе главные качества: «гуманность, справедливость, объективность, сочувствие просвещению». «Биржевые Ведомости» напоминают, что князю всего только 47 лет, следовательно, он не успел еще пропитаться бюрократической рутиной.

Открылись повествования в стихах и в прозе о том, как «мы спали» и как бывший командир отдельного корпуса жандармов либеральным жестом пробудил нас от сна и предуказал пути «сближения власти с народом». Когда читаешь все эти излияния, кажется, будто дышишь глупостью в двадцать атмосфер!

Только крайняя правая не теряла головы среди этой «вакханалии либеральных восторгов». «Московские Ведомости» беспощадно напомнили князю, что вместе с портфелем Плеве он

перенял и его задачи. «Если наши внутренние враги в подпольных типографиях, в разных общественных организациях, в школе, в печати и на улице, с бомбами в руках, так высоко подняли голову, идя на приступ нашего внутреннего Порт-Артура, то это возможно лишь потому, что они сбивают с толку и общество и известную часть правящих сфер совершенно ложными теориями о необходимости устранить самые надежные устои Русского Государства—Самодержавие его царей, Православие его Церкви и национальное самосознание его народа».

Князь Святополк попытался взять среднюю линию: самодержавие, но смягченное законностью; бюрократия, но опирающаяся на общественные силы. «Новое Время», которое поддерживало князя, потому что князь был у власти, официозно взяло на себя задачу политического сводничества. К этому представлялась, повидимому, благоприятная возможность.

Министр, благожелательность которого не находила надлежащего отклика у камарильи, руководящей Николаем, сделал робкую попытку опереться на земцев: с этой целью имелось в виду использовать предполагавшееся совещание представителей земских управ. «Новое Время» приглашало земцев произвести осторожное давление слева. Поднимавшееся в обществе возбуждение и повышенный тон прессы внушали, однако, все большие опасения за исход земского совещания. 30-го октября «Новое Время» уже решительно ударило отбой. «Как бы ни были интересны и поучительны решения, к которым придут члены совещания, не следует забывать, что, вследствие его состава и способа приглашения, оно совершенно правильно рассматривается официально, как частное, и решения его имеют значение академическое и обязательность только нравственную».

В конце концов земское совещание, которое должно было создать для «прогрессивного» министра пункт опоры, было им запрещено и собралось полулегально на частной квартире.

## V.

Сотня именитых земских деятелей—большинством семидесяти голосов против тридцати—формулировала 6—8 ноября 1904 г. требования публичных свобод, неприкосновенности личности и народного представительства с участием в законодательной

власти,—не произнося, однако, сакраментального слова конституция.

Европейская либеральная пресса с почтением остановилась перед этим полным такта умолчанием земской декларации: либералы сумели выразить, чего они хотят, избегнув в то же время слов, которые могли бы создать для князя Святополка невозможность принятия земских решений.

В этом—совершенно верное объяснение земской фигуры умолчания. Формулируя свои требования, земцы имели в виду исключительно правительство, с которым они должны вступить в соглашение, а не народную массу, к которой они могли бы апеллировать.

Они выработали пункты торгово-политического компромисса, а не лозунги политической агитации. Они оставались при этом только верны самим себе.

«Общество сделало свое дело, теперь очередь за правительством!»—вызывающе и вместе подобострастно восклицала пресса. Правительство князя Святополка-Мирского приняло «вызов», и именно за этот подобострастный призыв объявило либеральному журналу «Право» предостережение. Газетам запрещено было печатать и обсуждать резолюции земского совещания. Скромная челобитная Черниговского земства была объявлена «дерзкой и бестактной». Правительственная весна была на исходе. Весна либерализма только открывалась.

Земское совещание открыло отдушину оппозиционному настроению «образованного общества». Съезд, правда, не состоял из официальных представителей всех земств, но в него входили председатели управ и много «авторитетных» деятелей, одна косность которых должна была придавать им вес и значение; правда, съезд не был узаконен бюрократией, но он происходил с ее ведома,—таким образом, ничего нет удивительного, если интеллигенция, доведенная заушениями до крайней робости, теперь сочла, что ее сокровенные конституционные желания, тайные помыслы ее бессонных ночей получили, благодаря резолюциям этого полуофициального съезда, полузаконную санкцию. А ничто не могло придать такой бодрости ущемленному либеральному обществу, как сознание, хотя бы и призрачное, что в своих ходатайствах оно стоит на почве права. Началась полоса банкетов, резолюций, заявлений, протестов, записок и петиций. Всевозможные корпора-

ции и собрания исходили из профессиональных нужд, местных событий, юбилейных торжеств, и приходили к той формулировке конституционных требований, какая дана была в знаменитых отныне «11 пунктах» резолюции земского совещания. Демократия торопилась образовать вокруг земских корифеев хор, чтобы подчеркнуть важность земских постановлений и усугубить воздействие их на бюрократию! Вся политическая задача момента сводилась для либерального общества к давлению на правительство из-за спины земцев. В первое время представлялось, что резолюции сами по себе могут взорвать бюрократию, как мина Уайтхеда. Но этого не случилось. К резолюциям стали привыкать и те, кто их писал, и те, против кого они писались. Голос печати, которую меж тем министерство внутреннего доверия все больше сдавливало за горло, становился беспредметно раздраженным... Вместе с тем начинается расчленение оппозиции. На банкетах все чаще и чаще выступают беспокойные, угловатые, нетерпимые радикальные фигуры то интеллигента, то рабочего, резко обличают земцев и требуют от интеллигенции ясности в лозунгах и определенности в тактике. На них машут руками, их умиротворяют, им льстят, их бранят, им затыкают рот, их ублажают, охаживают, наконец—их выгоняют,—но они делают свое дело, толкая левые элементы интеллигенции на революционный путь.

В то время как правое крыло «общества», материально или идейно связанное с цензовым либерализмом, занималось тем, что доказывало умеренность и лойяльность резолюций земского съезда, и взывало к государственному разуму князя Святополка, радикальная интеллигенция, преимущественно учащаяся молодежь, примкнула к ноябрьской кампании с целью вывести ее из ее жалкого русла, придать ей более боевой характер, связать ее с революционным движением городских рабочих. Таким образом возникли две уличные демонстрации: петербургская—28 ноября и московская—5 и 6 декабря. Эти демонстрации для радикальных «детей» были прямым и неизбежным выводом из лозунгов, выдвинутых либеральными «отцами»: раз решились требовать конституционного строя, нужно решиться приступить к борьбе. Но «отцы» вовсе не обнаруживали склонности к такой последовательности политического мышления. Наоборот, они первым долгом испугались, как бы излишняя торопливость и порывистость

не порвала нежную паутину доверия. «Отцы» не поддержали «детей» и с головой выдали их казакам и конным жандармам либерального князя.

Студенчество не встретило, однако, поддержки и со стороны рабочих. Здесь ясно обнаружилась, какой в сущности ограниченный характер имела ноябрьско-декабрьская банкетная кампания 1904 года; пролетариат приобщился к ней лишь в лице самого тонкого слоя своей аристократии, и «настоящие рабочие», появление которых рождало смешанные чувства враждебного опасения и любопытства, исчислялись в этот период на банкетах единицами или десятками. А тот внутренний глубокий процесс, который совершался в сознании самих масс, разумеется, не приурочивался к наскоро объявленному выступлению революционного студенчества. Таким образом, учащаяся молодежь была, в конце концов, предоставлена почти исключительно самой себе.

Тем не менее эти демонстрации, после долгого политического затишья, вызванного войной, при обостренности внутреннего положения, создавшейся военными разгромами, демонстрации резко политические, в столицах, отдавшиеся через клавиши телеграфа во всем мире, произвели, как симптом, гораздо большее впечатление на правительство, чем все мудрые увещания либеральной прессы... Оно встряхнулось и поторопилось самоопределиться.

## VI.

На конституционную кампанию, начавшуюся собранием нескольких десятков земцев в барской квартире Корсакова и закончившуюся водворением нескольких десятков студентов в полицейские участки Петербурга и Москвы, правительство ответило двояко: реформаторским «указом» и полицейским «сообщением». Именной указ 12 декабря 1904 года, оставшийся высшим плодом весенней политики «доверия», ставит непременным условием дальнейшей реформаторской деятельности сохранение незыблемости основных законов империи. В общем указ формулировал исполненные благожелательности и недомолвок беседы князя Святополка с иностранными корреспондентами. Этим достаточно определяется его цена. Несравненно большей политической определенностью отличается вышедшее через два дня после указа правительственное сообщение. Оно характеризует ноябрь-

ский земский съезд, как первоисточник дальнейшего движения, чуждого русскому народу, и ставит на вид думским и земским собраниям, что, обсуждая постановления ноябрьского совещания, они поступают вопреки требованиям закона. Правительство напоминает далее, что его законный долг—ограждать государственный порядок и общественное спокойствие; поэтому всякие сборища противоправительственного характера будут прекращаемы всеми имеющимися в распоряжении властей законными средствами. Если князь мало успевал в деле мирного обновления страны, зато он с значительным успехом выполнял более общую задачу, ради которой история и поставила его на время во главе правительства: задачу разрушения политических иллюзий и предрассудков среднего обывательского слоя.

Период Святополка-Мирского, который был открыт при примирительных звуках труб и закрыт при свисте нагаек, в своем конечном результате поднял ненависть к абсолютизму во всех сколько-нибудь сознательных элементах населения до небывалой высоты. Политические интересы стали более оформленными, недовольство глубже и принципиальнее. Вчера еще первобытная мысль сегодня уже жадно набрасывается на работу политического анализа. Все явления зла и произвола быстро сводятся к первооснове. Революционные лозунги никого не отпугивают, наоборот, находят тысячекратное эхо, превращаются в народные поговорки. Общественное сознание впитывает в себя, как губка—влагу, каждое слово отрицания, осуждения или проклятия по адресу абсолютизма. Ничто не проходит для него безнаказанно. Каждый неловкий шаг ставится ему в счет. Его заигрывания встречают насмешку. Его угрозы рождают ненависть. Правда, министерство князя Святополка оказало значительные послабления прессе, но объем ее интересов вырос гораздо больше, чем снисходительность Главного управления по делам печати. То же самое во всех других областях: полусвобода из милости раздражала не меньше, чем полное рабство. Такова общая судьба уступок в революционную эпоху; они не удовлетворяют, но лишь возбуждают требовательность. Эта повышенная требовательность сказывалась в печати, в собраниях, на съездах и в свою очередь раздражала власть, которая быстро теряла свое «доверие» и искала помощи в репрессиях. Собрания и съезды распускались, на печать сыпался град ударов, демонстрации разгонялись с зверской

беспощадностью. Наконец, как бы для того, чтобы помочь обывателю окончательно определить удельный вес указа 12-го декабря, князь Святополк издал 31 декабря циркуляр, в котором выяснял, что возвещенный либеральным указом пересмотр положения о крестьянах должен производиться на основе проекта Плеве. Это был последний правительственный акт 1904 года. 1905 г. открылся событиями, которые положили роковую грань между прошлым и настоящим. Они подвели кровавую черту под эпохой весны, периодом детства политического сознания. Князь Святополк, его доброта, его планы, его доверие, его циркуляры,—все было отброшено и забыто.

---

# 9 января.

Стрелецкий голова.
Великий государь,
Народа мы не можем удержать,—
Врываются насильно, голосят:
«Хотим царю Борису поклониться,
Царя Бориса видеть».

Борис.
Настежь двери:
Между народом русским и царем
Преграды нет.

(*А. Толстой*, «Царь Борис»).

## I.

«Государь, мы, рабочие, дети наши, жены и беспомощные старцы—родители, пришли к тебе, государь, искать правды и защиты. Мы обнищали, нас угнетают, обременяют непосильными трудами, над нами надругаются, в нас не признают людей, к нам относятся, как к рабам, которые должны терпеть свою участь и молчать. Мы и терпели, но нас толкают все дальше в омут нищеты, бесправия и невежества. Нас душит деспотизм и произвол, и мы задыхаемся. Нет больше сил, Государь! Настал предел терпению; для нас пришел тот страшный момент, когда лучше смерть, чем продолжение невыносимых мук».

Такими торжественными нотами, в которых угроза пролетариев заглушает просьбу подданных, начиналась знаменитая петиция петербургских рабочих. Она рисовала все притеснения и оскорбления, которым подвергается народ. Она перечисляла все: от сквозняков на фабриках и до политического бесправия в стране. Она требовала амнистии, публичных свобод, отделения церкви от государства, восьмичасового рабочего дня, нормальной заработной платы и постепенной передачи земли

народу. Но в первую голову она ставила созыв Учредительного Собрания путем всеобщего и равного голосования.

«Вот, Государь,—так заканчивала петиция,—главные наши нужды, с которыми мы пришли к тебе. Повели и поклянись исполнить их—и ты сделаешь Россию сильной и славной, запечатлеешь имя твое в сердцах наших и наших потомков на вечные времена. А не позволишь, не отзовешься на нашу мольбу—мы умрем здесь, на этой площади перед твоим дворцом. Нам некуда больше итти и незачем. У нас только два пути—или к свободе и счастью, или в могилу. Укажи, Государь, любой из них,—мы пойдем по нему беспрекословно, хотя бы и был путь к смерти. Пусть наша жизнь будет жертвой для исстрадавшейся России. Нам не жалко этой жертвы—мы охотно принесем ее».

И они принесли ее.

Рабочая петиция не только противопоставляла расплывчатой фразеологии либеральных резолюций отточенные лозунги политической демократии, но и вливала в них классовое содержание своими требованиями свободы стачек и восьмичасового рабочего дня. Ее историческое значение, однако, не в тексте, а в факте. Петиция была только введением к действию, которое объединило рабочие массы призраком идеальной монархии,—объединило для того, чтобы тотчас же противопоставить пролетариат и реальную монархию, как двух смертельных врагов.

Ход событий в памяти у всех. Они развернулись в несколько дней с замечательной планомерностью. 3 января вспыхнула забастовка на Путиловском заводе. 7 января число забастовщиков достигло 140.000. Кульминационным пунктом стачки было 10 января. 13 уже начали приступать к работам. Итак: сперва экономическая стачка по случайному поводу. Она расширяется, захватывает десятки тысяч рабочих и тем самым превращается в политическое событие. Ею руководит «Общество фабричных и заводских рабочих», организация полицейского происхождения. Радикалы, банкетная политика которых уперлась в тупик, сгорают от нетерпения. Они недовольны чисто экономическим характером стачки и толкают ее вождя, Гапонса, вперед. Он вступает на путь политики и находит в рабочих массах такую бездну недовольства, озлобления и революционной энергии, в которой совершенно утопают маленькие планы его либеральных вдохновителей. Выдвигается социал-демократия. Враждебно встречен-

ная, она вскоре приспособляется к аудитории и овладевает ею. Ее лозунги подхватываются массой и закрепляются в петиции.

Правительство исчезает. Где причина этого? Коварная провокация? Или жалкая растерянность? И то и другое. Бюрократы в стиле князя Святополка тупоумно растерялись. Шайка Трепова, торопившаяся положить конец «весне» и потому сознательно шедшая навстречу бойне, дала событиям развиться до их логического конца. Телеграф с полной свободой оповещал весь мир о каждом этапе январской стачки. Парижский консьерж знал за три дня, что в Петербурге, в воскресенье 9 января, в два часа дня будет революция. А русское правительство не ударило пальцем о палец, чтобы предотвратить бойню.

При одиннадцати отделах рабочего «Общества» шли непрерывные митинги. Вырабатывалась петиция и обсуждался план шествия ко дворцу. Гапон разъезжал из отдела в отдел, социал-демократические агитаторы потеряли голоса и падали от усталости. Полиция ни во что не вмешивалась. Ее не существовало.

Согласно уговору, шли ко дворцу мирно, без песен, без знамен, без речей. Нарядились в праздничные платья. В некоторых частях города несли иконы и хоругви. Всюду натыкались на войска. Умоляли пропустить, плакали, пробовали обойти, пытались прорваться. Солдаты стреляли целый день. Убитые исчисляются сотнями, раненые—тысячами. Точный учет невозможен, ибо полиция ночью увозила и тайно зарывала трупы убитых.

В 12 часов ночи 9 января Георгий Гапон писал:

«Солдатам и офицерам, убивающим невинных братьев, их жен и детей, всем угнетателям народа—мое пастырское проклятие. Солдатам, которые будут помогать народу добиваться свободы—мое благословение. Их солдатскую клятву изменнику царю, приказавшему пролить невинную кровь, разрешаю»...

История использовала фантастический план Гапона для своих целей—и Гапону оставалось только своим авторитетом священника санкционировать ее революционный вывод.

11 января в заседании Комитета министров безвластный тогда г. Витте предложил обсудить происшедшие 9-го января события и меры «для предупреждения на будущее время таких печальных явлений». Предложение г. Витте было отклонено, как «не входящее в компетенцию Комитета и неозначенное в по-



9-е января. Ждут.

вестке настоящего заседания». Комитет министров прошел мимо начала русской революции, так как русская революция не была записана в повестке его заседания.

II.

Те формы, какие приняло историческое выступление 9-го января, разумеется, никем не могли быть предвидены. Священник, которого история такими неожиданными путями поставила на несколько дней во главе рабочей массы, наложил на события печать своей личности, своих воззрений, своего сана. И эта форма скрывала от многих глаз действительное содержание событий. Но внутренний смысл 9 января не исчерпывается символикой хождения к Зимнему Дворцу. Гапоновская ряса—только аксессуар. Действующее лицо—пролетариат. Он начинает со стачки, объединяется, выдвигает политические требования, выходит на улицы, сосредоточивает на себе восторженные симпатии всего населения, приходит в столкновение с войсками и открывает русскую революцию. Гапон не создал революционной энергии петербургских рабочих, он только неожиданно для самого себя вскрыл ее. Сын священника, затем семинарист, духовный академик, тюремный священник, агитатор среди рабочих с явного благоволения полиции внезапно оказался во главе стотысячной толпы. Официальное положение, священническая ряса, стихийное возбуждение малосознательных масс и сказочно быстрое развитие событий сделали Гапона «вождем».

Фантазер на психологической подпочве авантюризма, южанин-сангвиник с оттенком плутоватости, круглый невежда в общественных вопросах, Гапон так же мало способен был руководить событиями, как и предвидеть их. События волокли его.

Либеральное общество долго верило, что в личности Гапона скрывалась вся тайна 9 января. Его противопоставляли социал-демократии, как политического вождя, который знает секрет обладания массой,—секте доктринеров. При этом забывали, что 9 января не было бы, еслиб Гапон не застал несколько тысяч сознательных рабочих, прошедших социалистическую школу. Они сразу окружили его железными кольцом, из которого он не мог бы вырваться, если бы и хотел. Но он не пытался. Гипнотизируемый собственными успехом, он отдался волне.

Но если мы отводили уже на другой день после Кровавого Воскресенья политической роли Гапона совершенно подчиненное место, то мы все, несомненно, переоценивали его личность. В ореоле пастырского гнева, с пастырскими проклятиями на устах, он представлялся издали фигурой почти библейского стиля. Казалось, могучие революционные страсти проснулись в груди молодого священника петербургской пересыльной тюрьмы. И что же? Когда догорели огни, Гапон предстал пред всеми полным политическим и нравственным ничтожеством. Его позирование пред социалистической Европой, его беспомощно «революционные» писания из-за границы, наивные и грубые, его приезд в Россию, конспиративные сношения с правительством, сребренники гр. Витте, претенциозные и нелепые беседы с сотрудниками консервативных газет, шумливость и хвастливость и, наконец, жалкое предательство, ставшее причиной его гибели,—все это окончательно убило представление о Гапоне 9 января. Нам невольно вспоминаются проницательные слова Виктора Адлера, вождя австрийской социал-демократии, который после получения первой телеграммы о прибытии Гапона за границу, сказал: «Жаль... для его исторической памяти было бы лучше, если бы он так же таинственно исчез, как появился. Осталось бы красивое романтическое предание о священнике, который открыл шлюзы русской революции... Есть люди,—прибавил он, с той тонкой иронией, которая так характерна для этого человека,—есть люди, которых лучше иметь мучениками, чем товарищами по партии»...

## III.

«Революционного народа в России еще нет». Так писал Петр Струве в своем заграничном органе «Освобождение» 7 января 1905 года—ровно за два дня до раздавленного гвардейскими полками выступления петербургских рабочих.

«Революционного народа в России нет»,—сказал устами социалистического ренегата русский либерализм, успевший убедить себя в течение трехмесячного периода банкетов, что он—главная фигура политической сцены. И не успело еще это заявление дойти до России, как телеграфная проволока разнесла во все концы мира великую весть о начале русской революции...

Мы ждали ее, мы не сомневались в ней. Она была для нас в течение долгого ряда лет только выводом из нашей «доктрины», над

которой издевались ничтожества всех политических оттенков. В революционную роль пролетариата они не верили, зато верили в силу земских петиций, в Витте, в Святополк-Мирского, в банку динамита... Не было политического предрассудка, в который бы они не верили. Только веру в пролетариат они считали предрассудком.

Не только Струве, но и все то «образованное общество», на службу к которому он перешел, оказалось застигнуто врасплох. Широко раскрытыми глазами ужаса и бессилия оно наблюдало из своих окон развертывающуюся историческую драму. Вмешательство интеллигенции в события носило поистине жалкий и ничтожный характер. Депутация из нескольких литераторов и профессоров отправилась к князю Святополк-Мирскому и к гр. Витте «с надеждой, как объясняла либеральная пресса, осветить вопрос так, чтобы можно было избежать употребления военной силы». Гора надвигалась на гору, а демократическая горсточка думала, что достаточно потоптаться в двух министерских передних, чтобы предотвратить непредотвратимое. Святополк не принял депутации, Витте беспомощно развел руками. А затем, как бы для того, чтобы с шекспировской свободой ввести элементы фарса в величайшую трагедию, полиция объявила несчастную депутацию «временным правительством» и отправила ее в Петропавловскую крепость. Но в политическом сознании интеллигенции, в этом бесформенном туманном пятне, январские дни провели резкую межевую борозду. На неопределенный срок они сдали в архив наш традиционный либерализм с его единственным достоянием: верой в счастливую смену правительственных фигур. Глупое царствование Святополк-Мирского было для этого либерализма эпохой наивысшего расцвета. Реформаторский указ 12 декабря—его наиболее зрелым плодом. Но 9-ое января смело «весну», поставив на ее место военную диктатуру, и доставило всемогущество незабвенному генералу Трепову, которого либеральная оппозиция только что перед тем спихнула с места московского полицеймейстера. Вместе с тем более явственно наметилась в либеральном обществе линия раскола между демократией и цензовой оппозицией. Выступление рабочих дало перевес радикальным элементам интеллигенции, как ранее выступление земцев дало козырь в руки элементам оппортунистическим. Перед сознанием левого крыла оппозиции вопрос политической свободы впервые выступил в реальных формах, как вопрос борьбы, пере-

веса сил, натиска тяжелых народных масс. И вместе с тем революционный пролетариат, вчерашняя «политическая фикция» марксистов, оказался сегодня могучей реальностью.

«Теперь ли,—писал влиятельный либеральный еженедельник «Право»,—после кровавых январских дней, подвергать сомнению мысль об исторической миссии городского пролетариата России? Очевидно, этот вопрос, по крайней мере, для настоящего исторического момента, решен,—решен не нами, а теми рабочими, которые в знаменательные январские дни, страшными кровавыми событиями, вписали свои имена в священную книгу русского общественного движения». Между статьей Струве и этими строками прошла неделя—и, однако, их разделяет целая историческая эпоха.

## IV.

9 января явилось поворотным моментом в политическом сознании капиталистической буржуазии.

Если в последние предреволюционные годы к великому неудовольствию капитала создалась целая школа правительственной демагогии («зубатовщина»), провоцировавшая рабочих на экономические столкновения с фабрикантами с целью отвлечь их от столкновения с государственной властью, то теперь, после Кровавого Воскресенья, нормальный ход промышленной жизни совершенно прекратился. Производство совершалось как бы урывками, в промежутке между двумя волнениями. Бешеные барыши от военных поставок падали не на промышленность, переживавшую кризис, а на небольшую группу привилегированных хищников-монополистов, и неспособны были примирить капитал с прогрессивно-растущей внутренней анархией. Одна отрасль промышленности за другой переходит в оппозицию. Биржевые общества, промышленные съезды, так называемые «совещательные конторы», т.-е. замаскированные синдикаты и прочие организации капитала, вчера еще политически девственные, вотировали сегодня недоверие самодержавно-полицейской государственности и заговорили языком либерализма. Городской купец показал, что в деле оппозиции он не уступит «просвещенному» помещику. Думы не только присоединялись к земствам, но подчас становились впереди их; подлинно купеческая московская дума выдвинулась в это время в передний ряд.

Борьба разных отраслей капитала между собой за милости и даяния министерства финансов временно отодвигается перед общей потребностью в обновлении гражданского и государственного порядка. На место простых идей: концессия и субсидия—или бок-о-бок с ними—становятся более сложные идеи: развитие производительных сил и расширение внутреннего рынка. На-ряду с этими руководящими мыслями через все петиции, записки и резолюции организованных предпринимателей проходит острая забота об успокоении рабочих и крестьянских масс. Капитал разочаровался во всеисцеляющем действии полицейской репрессии, которая одним концом бьет рабочего по живому телу, а другим—промышленника по карману, и пришел к торжественному выводу, что мирный ход капиталистической эксплоатации требует либерального режима. «И ты, Брут»—вопит реакционная пресса, видя, как московские купцы-старообрядцы, хранители древлего благочестия, прикладывают свои руки к конституционным «платформам». Но этот вопль пока еще не останавливает текстильного Брута. Он должен описать свою политическую кривую, чтобы в конце года, в момент, когда пролетарское движение достигнет зенита, снова вернуться под защиту веками освященной, единой и нераздельной нагайки.

## V.

Но знаменательнее и глубже всего было влияние январской бойни на пролетариат всей России. Из конца в конец прошла грандиозная стачечная волна, сотрясая тело страны. По приблизительному подсчету стачка охватила 122 города и местечка, несколько рудников Донецкого бассейна и 10 железных дорог. Пролетарские массы всколыхнулись до дна. Стачка вовлекла около миллиона душ. Без плана, нередко без требований, прерываясь и возобновляясь, повинуясь лишь инстинкту солидарности, она около двух месяцев царила в стране.

В разгар стачечной бури, в феврале 1905 г., мы писали: «После 9-го января революция уже не знает остановки. Она уже не ограничивается подземной, скрытой для глаз работой возбуждения все новых и новых слоев,—она перешла к открытой и спешной перекличке своих боевых рот, полков, батальонов и корпусов. Главную силу ее армии составляет пролетариат, поэтому средством своей переклички революция делает стачку.

«Профессия за профессией, фабрика за фабрикой, город за городом бросают работу. Железнодорожный персонал выступает застрельщиком стачки, железнодорожные линии являются путями стачечной эпидемии. Предъявляются экономические требования, которые почти сейчас же удовлетворяются—вполне или отчасти. Но ни начало стачки, ни конец ее не обусловливается в полной мере характером предъявленных требований и формой их удовлетворения. Стачка возникает не потому, что экономическая борьба уперлась в определенные требования,—наоборот: требования подбираются и формулируются, потому что нужна стачка. Нужно предъявить самим себе, пролетариату других мест, наконец, всему народу, свои накопленные силы, свою классовую отзывчивость, свою боевую готовность, нужна всеобщая революционная ревизия. И сами стачечники, и те, которые их поддерживают, и те, которые им сочувствуют, и те, которые их боятся, и те, которые их ненавидят,—все понимают или смутно чувствуют, что эта бешеная стачка, которая мечется с места на место, потом снова срывается и вихрем мчится вперед,—все понимают или чувствуют, что она не от себя, что она творит лишь волю пославшей ее революции. Над операционным полем стачки, а это—вся страна, нависает что-то грозное, зловещее, напоенное дерзостью.

«После девятого января революция уже не знает остановки. Не заботясь о военной тайне, открыто и шумно, издеваясь над рутиной жизни, разгоняя ее гипноз, она ведет нас к своему кульминационному пункту».

---

# Стачка в октябре.

— Так вы думаете, что революция идет?
— Идет!
*(«Новое Время» 5 мая 1905 г.).*
— Вот она!
*(«Новое Время», 14 окт. 1905 г.).*

## I.

Совершенно свободные народные собрания в стенах университетов в то время, как на улице царит неограниченная треповщина, это—один из самых удивительных парадоксов революционно-политического развития осенних месяцев 1905 г. Какой-то старый и невежественный генерал Глазов, неизвестно почему оказавшийся министром просвещения, создал, неожиданно для себя, убежища свободного слова. Либеральная профессура протестовала: университет—для науки: улице не место в академии. Князь Сергей Трубецкой умер с этой истиной на устах. Но дверь университета оставалась в течение нескольких недель широко раскрытой. «Народ» заполнял коридоры, аудитории и залы. Рабочие непосредственно из фабрик отправлялись в университет. Власти растерялись. Они могли давить, арестовывать, топтать и расстреливать рабочих, пока те оставались на улице или у себя на квартире. Но чуть рабочий переступал порог университета, как немедленно становился неприкосновенным. Массам давался предметный урок преимуществ конституционного права над правом самодержавным.

30-го сентября происходили первые свободные народные митинги в университетах Петербурга и Киева. Телеграфное агентство с ужасом перечисляет публику, скопившуюся в торжественном зале Владимирского университета. Кроме студентов, толпу, по словам телеграмм, составляли множество «посторонних

лиц обоего пола, воспитанники средне-учебных заведений, подростки из городских частных училищ, рабочие, разного рода сброд и оборванцы».

Революционное слово вырвалось из подполья и огласило университетские залы, аудитории, коридоры и дворы. Масса с жадностью впитывала в себя прекрасные в своей простоте лозунги революции. Неорганизованная случайная толпа, которая глупцам бюрократии и проходимцам реакционной журналистики казалась «разного рода сбродом», проявляла нравственную дисциплину и политическую чуткость, исторгавшие крик удивления даже у буржуазных публицистов.

«Знаете, что больше всего меня поразило на университетском митинге?—писал фельетонист «Руси».—Необыкновенный, образцовый порядок. В актовом зале был вскоре объявлен перерыв, и я отправился бродить по коридору. Университетский коридор, это—целая улица. Все аудитории, прилегающие к коридору, были полны народа, в них происходили самостоятельные митинги по фракциям. Самый коридор был переполнен до последней возможности, взад и вперед двигалась толпа. Иные сидели на подоконниках, на скамьях, на шкафах. Курили. Негромко разговаривали. Можно было подумать, что находишься на многочисленном рауте, только немножко более серьезном, чем обыкновенно. А между тем это был народ—самый настоящий, подлинный народ, с потрескавшимися от работы красными руками, с тем землистым цветом лица, который является у людей, проводящих дни в запертых, нездоровых помещениях. И у всех блестели глаза, глубоко ушедшие в орбиты... Для этих малорослых, худых, плохо упитанных людей, пришедших сюда с фабрики или с завода, из мастерской, где калят железо, плавят чугун, где от жары и дыма захватывает дыхание, университет, это—точно храм, высокий, просторный, сверкающий белоснежными красками. И каждое слово, которое произносится здесь, звучит молитвой... Пробудившаяся любознательность, как губка, пьет всякое (?) учение».

Нет, не всякое учение впитывала в себя эта одухотворенная толпа. Пусть бы перед ней попытались выступить те реакционные молодцы, которые лгут, будто между крайними партиями и массой нет политической солидарности. Они не смели. Они сидели по своим реакционным норам и ждали передышки, чтоб клеветать на прошлое. Но не только они, даже политики и ораторы ли-

берализма не выступали перед этой необозримой, вечно меняющейся аудиторией. Здесь безраздельно царили ораторы революции. Здесь социал-демократия связывала бесчисленные атомы народа живой нерасторжимой политической связью. Великие социальные страсти масс она переводила на язык законченных революционных лозунгов. Толпа, которая вышла из университета, была уже не той толпой, которая вошла в университет... Митинги происходили каждый день. Настроение рабочих поднималось все выше, но партия не давала никакого призыва. Всеобщее выступление предполагалось значительно позже—к годовщине 9-го января и ко времени созыва Государственной Думы, которая должна была собраться 10-го января. Союз железнодорожников грозил не пропустить в Петербург депутатов Булыгинской Думы. Но события сами надвинулись так скоро, как никто не ожидал.

## II.

19-го сентября забастовали в Москве наборщики типографии Сытина. Они потребовали сокращения рабочего дня и повышения сдельной платы с 1.000 букв, не исключая и знаков препинания: это маленькое событие открыло собой не более и не менее, как всероссийскую политическую стачку, возникшую из-за знаков препинания и сбившую с ног абсолютизм.

Стачкой у Сытина воспользовалось, как жалуется в своем сообщении департамент полиции, неразрешенное правительством сообщество, именующееся «Союзом московских типо-литографских рабочих». К вечеру 24-го бастовало уже 50 типографий. 25 сентября на собрании, разрешенном градоначальником, была выработана программа требований. Градоначальник усмотрел в ней «произвол Совета депутатов от типографий» и во имя личной «независимости» рабочих, которой угрожал произвол пролетарской самодеятельности, полицейский сатрап попытался задавить типографскую стачку кулаком.

Но стачка, возникшая из-за знаков препинания, успела уже переброситься на другие отрасли. Забастовали московские хлебопеки, и притом так упорно, что две сотни 1-го Донского казачьего полка вынуждены были с беззаветной храбростью, свойственной этому славному роду оружия, брать приступом булочную Филиппова. 1-го октября из Москвы телеграфировали, что за-

бастовка на фабриках и заводах начинает сокращаться. Но это было только придыхание.

2-го октября наборщики петербургских типографий постановили демонстрировать свою солидарность с московскими товарищами посредством трехдневной забастовки. Из Москвы телеграфируют, что заводы «продолжают бастовать». Уличных недоразумений не было: лучшим союзником порядка явился проливной дождь.

Железные дороги, которым суждено сыграть такую огромную роль в октябрьской борьбе, делают первое предостережение. 30-го сентября началось брожение в мастерских Московско-Курской и Московско-Казанской ж. д. Эти две дороги готовы были открыть кампанию 1-го октября. Их сдерживает железнодорожный союз. Опираясь на опыт февральских, апрельских и июльских забастовок отдельных ветвей, он готовит всеобщую железнодорожную стачку ко времени созыва Государственной Думы; сейчас он против частичных выступлений. Но брожение не унимается. Еще 20-го сентября в Петербурге открылось официальное «Совещание» железнодорожных депутатов по поводу пенсионных касс. Совещание самочинно расширило свои полномочия и, при аплодисментах всего железнодорожного мира, превратилось в независимый профессионально-политический съезд. Приветствия съезду шли со всех сторон. Брожение росло. Мысль о немедленной всеобщей стачке железных дорог начинает пробиваться в московском узле.

3-го октября телефон приносит нам из Москвы весть, что забастовка на фабриках и заводах мало-по-малу уменьшается. На Московско-Брестской дороге, где мастерские бастовали, заметно движение в пользу возобновления работ.

Забастовка еще не решилась. Она размышляет и колеблется.

Собрание депутатов от рабочих типографского цеха, механического, столярного, табачного и других приняло решение образовать общий совет рабочих всей Москвы.

В ближайшие дни все как бы направлялось к умиротворению. Стачка в Риге закончилась. Четвертого и пятого возобновились работы во многих московских типографиях. Вышли газеты. Через день появились саратовские издания после недельного перерыва: казалось, ничто не говорит о надвигающихся событиях.

На университетском митинге в Петербурге, 5-го, выносится резолюция, призывающая закончить забастовки «по симпатии» в назначенный срок. С 6-го октября становятся на работу петербургские наборщики после трехдневной стачечной манифестации. В тот же день петербургский градоначальник уже оповещает о полном порядке на Шлиссельбургском тракте и об общем возобновлении работ, прерванных московскими вестями. 7-го приступила к работам половина рабочих Невского судостроительного завода. За Невской заставой работали все заводы, за исключением Обуховского, который объявил политическую забастовку до 10-го октября.

Повидимому, готовились наступить будни,—конечно, революционные будни. Казалось, стачка сделала несколько беспорядочных опытов, бросила их и ушла... Но это только казалось.

## III.

На деле она готовилась развернуться во-всю. Она решилась совершить свое дело в кратчайший срок—и сразу принялась за железные дороги.

Под влиянием напряженного настроения на всех линиях, особенно в московском узле, центральное бюро железнодорожного союза решило объявить всеобщую забастовку. При этом имелась в виду лишь повсеместная пробная мобилизация боевых сил; самый бой попрежнему откладывался до января.

7-е октября было решительным днем. «Начались спазмы сердца,—как писало «Новое Время»:—московские железные дороги отмирали одна за другой. Москва изолировалась от страны. По телеграфной проволоке помчались, обгоняя друг друга, испуганные телеграммы: Нижний, Арзамас, Кашира, Рязань, Венев на-перебой жалуются на измену железных дорог.

7-го забастовала Московско-Казанская дорога. В Нижнем забастовала Ромодановская ветвь. На следующий день забастовка распространилась на Московско-Ярославскую, Московско-Нижегородскую и Московско-Курскую линии. Но другие центральные пункты откликнулись не сразу.

8-го октября на совещании служащих петербургского узла решено было деятельно приступить к организации всероссийского железнодорожного союза, возникшего на апрельском съезде

в Москве с тем, чтобы предъявить впоследствии правительству ультиматум и поддержать свои требования забастовкой всей железнодорожной сети. О забастовке здесь говорилось еще в неопределенном будущем.

9-го октября забастовали: Московско-Киево-Воронежская, Московско-Брестская и другие линии. Стачка овладевает положением и, чувствуя под собой твердую почву, она отменяет все сдержанные, выжидательные и враждебные ей решения.

9-го октября на экстренном собрании петербургского делегатского съезда железнодорожных служащих формулируются и немедленно же рассылаются по телеграфу по всем линиям общие лозунги железнодорожной забастовки: 8-часовой рабочий день, гражданские свободы, амнистия, Учредительное Собрание.

Стачка начинает уверенно хозяйничать в стране. Нерешительность окончательно покидает ее. Вместе с ростом численности растет самоуверенность ее участников. Над экономическими нуждами профессий выдвигаются революционные требования класса. Вырвавшись из профессиональных и местных рамок, она начинает чувствовать себя революцией,—и это придает ей неслыханную отвагу.

Она мчится по рельсам и властно замыкает за собой путь. Она предупреждает о своем шествии по проволоке железнодорожного телеграфа. «Бастуйте!»—приказывает она во все концы. 9-го газеты сообщили всей России, что на Казанской дороге арестован с прокламациями какой-то электротехник Беднов. Они все еще надеялись остановить ее, конфисковав пачку прокламаций. Безумцы! Она идет вперед...

Она преследует колоссальный план—приостановить промышленную и торговую жизнь во всей стране,—и она не упускает при этом ни одной детали. Где телеграф отказывается ей служить, она с военной решительностью разрывает проволоку или опрокидывает столбы. Она задерживает беспокойные паровозы и выпускает из них пары. Она приостанавливает электрические станции, а если это трудно—портит электрические провода и погружает вокзалы во мрак. Где упрямое противодействие мешает ее планам, там она не задумывается развести рельсы, испортить семафор, опрокинуть локомотив, загородить путь, поставить вагоны поперек моста. Она проникает на элеватор и прекращает действие подъемной машины. Товарные поезда она задерживает



ОКТЯБРЬ 1905 ГОДА.

там, где настигает их, а пассажирские она нередко доставляет до узловой станции или до места назначения.

Только для своих собственных целей она разрешает себе нарушить обет неделания. Она открывает типографию, когда ей нужны бюллетени революции, она пользуется телеграфом для забастовочных предписаний, она пропускает поезда с делегатами стачечников.

Во всем остальном она не делает изъятий: она закрывает заводы, аптеки, лавки, суды.

Время-от-времени ее внимание утомляется и бдительность ослабевает то здесь, то там. Иногда шальной поезд прорывается сквозь стачечную заставу,—тогда она снаряжает за ним погоню. Он бежит, как преступник, мимо темных и пустых вокзалов, без телеграфных предупреждений, сопровождаемый ужасом и неизвестностью. Но, в конце концов, она настигает его, останавливает паровоз, изгоняет машиниста и выпускает пары.

Она пускает в ход все средства: она призывает, убеждает, заклинает, она умоляет на коленях—так поступила в Москве женщина-оратор на платформе Курского вокзала—она угрожает, стращает, забрасывает камнями, наконец, стреляет из браунинга. Она хочет добиться своей цели во что бы то ни стало. Она слишком много ставит на карту: кровь отцов, хлеб детей,—репутацию своей силы. Целый класс повинуется ей,—и если ничтожная частица его, развращенная теми, против кого она борется, становится поперек ее пути, мудрено ли, если она грубым пинком отбрасывает помеху в сторону?

## IV.

Двигательные нервы страны замирают все больше и больше. Экономический организм коченеет. Смоленск, Кирсанов, Тула, Лукоянов беспомощно жалуются на полную железнодорожную забастовку. Неуклюжие железнодорожные батальоны ничего не в силах поделать, когда против них вся линия, вся сеть. Десятого замерли почти все дороги, примыкающие в Москве, в том числе Николаевская до Твери,—и Москва совершенно затерялась в центре необъятной территории. Последняя дорога Московского узла, Савеловская, забастовала 16-го.

10-го вечером в зале московского университета собрались забастовавшие железнодорожные служащие и постановили бастовать—до удовлетворения всех требований.

Железнодорожная стачка от центра надвинулась на окраины. Восьмого забастовала Рязано-Уральская линия, девятого—Брянская линия Полесской дороги и Смоленск—Данков; десятого—Курско-Харьково-Севастопольская и Екатерининская ж. д., все дороги Харьковского узла. Цены на продукты всюду стали быстро возрастать. 11-го Москва уже стала жаловаться на отсутствие молока.

В этот день железнодорожная стачка сделала еще новые завоевания. Начало прекращаться движение на Самаро-Златоустовской дороге. Стал Орловский узел. На Юго-Западных дорогах забастовали самые крупные станции: Казатин, Бирзула и Одесса, на Харьково-Николаевской—Кременчуг. Остановились Полесские дороги. В Саратов в течение дня прибыло три поезда, исключительно с делегатами, выбранными от забастовщиков. Делегатские поезда, как сообщает телеграф, встречались на всем пути следования восторженно.

Железнодорожная забастовка распространяется неотвратимо, втягивая линию за линией, поезд за поездом. 11-го октября курляндский генерал-губернатор издал срочное постановление, карающее за прекращение работ на дороге заключением в тюрьму на 3 месяца. Ответ на вызов последовал тотчас. 12-го уже не было поездов между Москвой и Крейцбургом, линия забастовала, поезд в Виндаву не пришел. 15-го прекращена в Виндаве работа на элеваторе и в коммерческом железнодорожном агентстве.

В ночь с 11-го на 12-е приостановилось движение на всех привислинских ветвях. Утром не вышли из Варшавы поезда в Петербург. В тот же день, 12-го, забастовка оцепила Петербург. Революционный инстинкт подсказал ей правильную тактику: она сперва подняла на ноги всю провинцию, забросала правящий Петербург тысячами перепуганных телеграмм, создала, таким образом, «психологический момент», терроризовала центральные власти и затем явилась сама, чтобы нанести последний удар. Утром 12-го с полным единодушием было проведено прекращение работ во всем петербургском узле. Одна Финляндская линия работала, поджидая революционной мобилизации всей Финляндии,—она стала только четыре дня спустя, 16-го. Тринадцатого

октября забастовка достигла Ревеля, Либавы, Риги и Бреста. Прекращены работы на ст. Пермь. Остановлено движение на части Ташкентской дороги. Четырнадцатого забастовали Брестский узел, Закавказская дорога и станции Асхабад и Новая Бухара на Средне-Азиатской ж. д. В этот же день забастовка открылась на Сибирском пути; начав с Читы и Иркутска и передвигаясь с востока на запад, она 17 октября докатилась до Челябинска и Кургана. 15-го октября стала ст. Баку, 17-го забастовала ст. Одесса.

К параличу двигательных нервов присоединился на время паралич нервов чувствительных,—телеграфное сообщение было прервано: 11-го окт.—в Харькове, 13-го—в Челябинске и Иркутске, 14-го—в Москве, 15-го—в Петербурге.

Из-за забастовки дорог почта отказалась от приема иногородней корреспонденции.

На старом московском тракте показалась тройка под кованной дугой.

Стали не только все российские и польские дороги, но также владикавказская, закавказская и сибирская.—Бастовала вся железнодорожная армия: три четверти миллиона человек.

## V.

Появились озабоченные бюллетени хлебной, товарной, мясной, зеленной, рыбной и других бирж. Цены на съестные продукты, особенно на мясо, быстро крепчали. Денежная биржа трепетала. Революция всегда была ее смертельным врагом. Как только они оказались лицом к лицу, биржа заметалась без памяти. Она бросилась к телеграфу, но телеграф враждебно молчал. Почта также отказывается служить. Биржа постучалась в Государственный Банк, но оказалось, что он не отвечает за срочность переводов. Акции железнодорожных и промышленных предприятий снялись с места, как стая испуганных птиц, и полетели—но не вверх, а вниз. В темном царстве биржевой спекуляции воцарились паника и скрежет зубовный. Денежное обращение затруднилось, платежи из провинции в столицы перестали поступать. Фирмы, производящие расчет на наличные, приостановили платежи. Число опротестованных векселей стало быстро возрастать. Векселедатели, бланкодатели, поручители, плательщики

и получатели засуетились, заметались и потребовали нарушения созданных на их предмет законов, потому что *она*—стачка, революция—нарушила все законы хозяйственного оборота.

Стачка не ограничивается железными дорогами. Она стремится стать всеобщей.

Выпустив пары и потушив вокзальные огни, она вместе с толпою железнодорожных рабочих уходит в город, задерживает трамвай, берет под уздцы лошадь извозчика и ссаживает седока, закрывает магазины, рестораны, кофейни, трактиры и уверенно подходит к воротам фабрики. Там ее уже ждут. Дается тревожный свисток, работа прекращается, толпа на улице сразу возрастает. Она идет дальше и уже несет красное знамя. На знамени сказано, что она хочет Учредительного Собрания и республики, что она борется за социализм. Она проходит мимо редакции реакционной газеты. С ненавистью оглядывается на этот очаг идейной заразы, и, если под руку ей попадается камень, она запускает его в окно. Либеральная пресса, которая думает, что служит народу, высылает к ней депутацию, обещает вносить «примирение» в эти страшные дни и просит пощады. Ее ходатайство оставляется без внимания. Наборные кассы задвигаются, наборщики выходят на улицу. Закрываются конторы, банки... Стачка царит.

Десятого октября открывается всеобщая политическая стачка в Москве, Харькове и Ревеле. Одиннадцатого—в Смоленске, Козлове, Екатеринославе и Лодзи. Двенадцатого—в Курске, Белгороде, Самаре, Саратове и Полтаве. Тринадцатого—в Петербурге, Орше, Минске, Кременчуге, Симферополе. Четырнадцатого—в Гомеле, Калише, Ростове-на-Дону, Тифлисе, Иркутске. Пятнадцатого—в Вильне, Одессе, Батуме. Шестнадцатого—в Оренбурге. Семнадцатого—в Юрьеве, Витебске, Томске. Бастовали еще Рига, Либава, Варшава, Плоцк, Белосток, Ковна, Двинск, Псков, Полтава, Николаев, Мариуполь, Казань, Ченстохово, Златоуст и др. Всюду замирает промышленная, а во многих местах и торговая жизнь. Учебные заведения закрываются. К стачке пролетариата присоединяются «союзы» интеллигенции. Присяжные заседатели во многих случаях отказываются судить, адвокаты—защищать, врачи—лечить. Мировые судьи закрывают свои камеры.

## VI.

Стачка организует колоссальные митинги. Напряжение массы и растерянность власти растут параллельно, взаимно питая друг друга. Улицы и площади заполняются конными и пешими патрулями. Казаки провоцируют стачку на отпор: они наскакивают на толпу, хлещут плетьми, рубят шашками, стреляют без предупреждения, из-за угла.

Тогда стачка показывает, где может, что она вовсе не простое выжидательное прекращение работ, не пассивный протест со скрещенными на груди руками. Она обороняется и в своей обороне переходит в наступление.

В нескольких южных городах она строит баррикады, овладевает оружейными магазинами, вооружается и дает если не победоносный, то героический отпор.

В Харькове, 10-го октября, после митинга толпа овладела оружейным магазином. 11-го возле университета были воздвигнуты рабочими и студентами баррикады. Поперек улиц были уложены срубленные телеграфные столбы; к ним присоединили: железные ворота, ставни, решетки, упаковочные ящики, доски и бревна; все это было скреплено телеграфной проволокой. Некоторые баррикады были укреплены на фундаменте из камней; поверх бревен были навалены тяжелые плиты, вывороченные из тротуара. К часу дня при помощи этой простой, но благородной архитектуры было воздвигнуто десять баррикад. Забаррикадированы были также окна и проходы университета. «Район, где находится университет», был объявлен в осадном положении... Власть над ним вручена какому-то, без сомнения, доблестному генерал-лейтенанту Мау. Губернатор пошел, однако, на соглашение. При посредстве либеральной буржуазии были выработаны почетные условия капитуляции. Организована милиция, которую восторженно приветствуют граждане. Порядок восстанавливается милицией. Из Петербурга требуют, однако, раздавить порядок силой. Милиция, едва успев возникнуть, разгоняется, город снова во власти конных и пеших хулиганов.

В Екатеринославе, 11-го октября, после предательского расстрела казаками мирной толпы, на улицах впервые появились баррикады. Их было шесть. Самая большая из них, барри-

када-мать, стояла на Брянской площади. Возы, рельсы, столбы, десятки мелких предметов,—все то, чем революция, по выражению Виктора Гюго, может швырнуть в голову старому порядку—пошли на ее постройку. Скелет баррикады покрыт толстым слоем земли. По сторонам вырыты рвы, а перед ними устроены проволочные заграждения. На каждой баррикаде с утра находилось несколько сот человек. Первый приступ военных сил был неудачен, только в 3 с половиною часа солдаты завладели первой баррикадой. Когда они наступали, с крыш были брошены две бомбы, одна за другой; среди солдат убитые и раненые. К вечеру войска взяли все баррикады. 12-го в городе наступило спокойствие кладбища. Армия чистила свои винтовки, а революция хоронила свои жертвы.

Шестнадцатое октября было днем баррикад в Одессе. С утра на Преображенской и Ришельевской улицах опрокидывали вагоны трамвая, снимали вывески, рубили деревья, сносили в кучу скамейки. Окруженные заграждениями из колючей проволоки, четыре баррикады преграждали улицы во всю ширину. Они были взяты солдатами после боя и разметаны с помощью дворников.

Во многих других городах были уличные столкновения с войсками, были попытки строить баррикады. Но в общем и целом октябрьские дни оставались политической стачкой, революционными маневрами, единовременным смотром всех боевых сил, во всяком случае—не вооруженным восстанием.

## VII.

И, тем не менее, абсолютизм уступил. Страшное напряжение, охватившее всю страну, растерянные провинциальные донесения, подавлявшие одной своей численностью, полная неизвестность относительно того, что готовит завтрашний день,—все это создало невероятную панику в правительственных рядах. Полной и безусловной уверенности в армии не было: на митингах появлялись солдаты; ораторы-офицеры уверяли, что треть армии «с народом». Забастовка железных дорог создавала к тому же непреодолимые препятствия делу военных усмирений. И, наконец,—европейская биржа. Она поняла, что имеет дело с революцией, и заявила, что не хочет этого долее терпеть. Она требует порядка и конституционных гарантий.

Потерявший голову и сбитый с ног абсолютизм пошел на уступки. Был объявлен манифест (17 октября). Граф Витте сделался премьером и притом—пусть он попробует это опровергнуть—благодаря победе революционной стачки, точнее будет сказать: благодаря неполноте этой победы. В ночь с 17-го на 18-е народ ходил по улицам с красными знаменами, требовал амнистии, пел «вечную память» на местах январских убийств и возглашал «анафему» под окнами Победоносцева и «Нового Времени»... 18-го утром начались первые убийства конституционной эры.

Враг не был задушен. Он только временно отступил перед неожиданно развернувшейся силой. Октябрьская стачка показала, что революция может теперь единовременно поставить на ноги всю городскую Россию. Это огромный шаг вперед,—и правящая реакция оценила его, когда на октябрьскую пробу сил ответила, с одной стороны, манифестом 17-го октября, с другой—призывом всех своих боевых кадров для дела черного террора.

## VIII.

Десять лет тому назад [1]) Плеханов сказал на лондонском социалистическом конгрессе: русское революционное движение восторжествует, как рабочее движение, или вовсе не восторжествует.

7-го января 1905 г. Струве писал: «революционного народа в России нет».

17-го октября самодержавное правительство расписалось в первой серьезной победе революции,—и эта победа была одержана пролетариатом. Плеханов был прав: революционное движение восторжествовало, как рабочее движение.

Правда, октябрьская рабочая стачка прошла не только при материальной помощи буржуазии, но и при поддержке ее стачкой либеральных профессий. Однако, это не меняет дела. Стачка инженеров, адвокатов и врачей никакого самостоятельного значения иметь не могла. Она лишь в очень малой степени увеличила политическое значение всеобщей стачки труда. Зато она подчеркнула неоспоримую, неограниченную гегемонию про-

[1]) Писалось в 1905 г.

летариата в революционной борьбе, либеральные профессии, которые после 9-го января усвоили основные демократические лозунги, выдвинутые петербургскими рабочими, в октябре подчинились даже тому методу борьбы, который составляет специфическую силу пролетариата: забастовке. Наиболее революционное крыло интеллигенции, студенчество, уже давно перенесло, при торжественных протестах всей либеральной профессуры, забастовочную борьбу из фабрик в университеты. Дальнейший рост революционной гегемонии пролетариата распространил стачку на суды, аптеки, земские управы и городские думы.

Стачка в октябре была демонстрацией пролетарской гегемонии в буржуазной революции и, вместе с тем, демонстрацией гегемонии города в деревенской стране.

Старая власть земли, оботворенная народничеством, сменилась деспотией капиталистического города.

Город стал хозяином положения. Он сосредоточил в себе колоссальные богатства, он прикрепил к себе деревню железом рельсов, по этим рельсам он стянул в свои недра лучшие силы инициативы и творчества во всех областях жизни, он материально и духовно закабалил себе всю страну. Тщетно реакция высчитывает процент городского населения и утешает себя тем, что Россия—все еще крестьянская страна. Политическая роль современного города так же мало измеряется голой цифрой его обитателей, как и его экономическая роль. Отступление реакции перед стачкой города при молчании деревни—лучшее доказательство диктатуры города.

Октябрьские дни показали, что в революции гегемония принадлежит городам, в городах—пролетариату. Но вместе с тем они обнаружили политическую отрезанность сознательно-революционного города от стихийно-возбужденной деревни.

Октябрьские дни на практике поставили в колоссальном масштабе вопрос: на чьей стороне армия? Они показали, что от решения этого вопроса зависит судьба русской свободы.

Октябрьские дни революции вызвали октябрьскую оргию реакции. Черная сила воспользовалась моментом революционного отлива и произвела кровавую атаку. Своим успехом она была обязана тому, что стачка-революция, выпустившая из

рук молот, еще не взяла меч. Октябрьские дни со страшной силой показали революции, что ей необходимо оружие.

Организовать деревню и связать ее с собою; тесно связаться с армией; вооружиться,—вот простые и большие выводы, продиктованные пролетариату октябрьской борьбой и октябрьской победой.

На эти выводы опирается революция.

* * *

В нашем очерке «До 9-го января», написанном в эпоху либеральной «весны», мы пытались наметить те пути, которыми должно пойти дальнейшее развитие революционных отношений. Мы со всей энергией выдвинули при этом массовую политическую стачку, как неизбежный метод русской революции. Некоторые проницательные политики, впрочем, люди почтенные во всех отношениях, обвиняли нас в попытке предписать для революции рецепт. Эти критики разъясняли нам, что стачка, как специфическое средство классовой пролетарской борьбы, не может играть в условиях национальной буржуазной революции ту роль, какую мы ей «навязываем». События, развившиеся наперекор многим глубокомысленным шаблонам, давно уж избавили нас от необходимости возражать этим почтенным критикам [1]). Всеобщая петербургская стачка, на почве которой разыгралась драма 9-го января, разразилась, когда названный очерк не вышел еще из печати: очевидно, наш «рецепт» представлял собою простой плагиат у революционного развития.

В феврале 1905 года, во время хаотических разрозненных стачек, вызванных непосредственно Кровавым Воскресеньем в Петербурге, мы писали:

«После 9-го января революция уже не знает остановки. Она уже не ограничивается подземной, скрытой для глаз работой возбуждения все новых народных масс,—она перешла к открытой и спешной перекличке своих боевых рот, полков, батальонов и корпусов. Главную силу ее армии составляет пролетариат, поэтому орудием своей переклички революция делает стачку.

---

[1]) Речь идет о литераторах-меньшевиках: Мартове. Дане и др.

«Профессия за профессией, фабрика за фабрикой, город за городом бросают работу. Железнодорожный персонал выступает застрельщиком стачки, железнодорожные линии являются путями стачечной эпидемии. Предъявляются экономические требования, которые почти сейчас же удовлетворяются, вполне или отчасти. Но ни начало стачки, ни конец ее не обусловливаются в полной мере характером предъявленных требований и формой их удовлетворения. Каждая отдельная стачка возникает не потому, что повседневная экономическая борьба уперлась в определенные требования,—наоборот: требования подбираются и формулируются потому, что нужна стачка. Нужно предъявить самим себе, рабочим других мест, всему народу свои накопленные силы, свою боевую отзывчивость и боевую готовность, нужен всеобщий революционный смотр. И сами стачечники, и те, которые их поддерживают, и те, которые их боятся, и те, которые их ненавидят, все понимают или смутно чувствуют, что эта бешеная стачка, которая мечется с места на место, останавливается, кружится, снова снимается и возвращается на покинутое место, потом срывается и вихрем мчится вперед,—все понимают или чувствуют, что она—не от себя, что она творит лишь волю пославшей ее революции».

Мы не ошиблись: на почве, подготовленной девятимесячной забастовочной кампанией, выросла великая стачка в октябре.

Для органически-поверхностного либерализма октябрьская стачка была такой же неожиданностью, как и 9-е января. В его предварительную историческую схему эти события не входили, они врезались в нее клином, и либеральная мысль мирилась с ними задним числом. Мало того. Если до октябрьской стачки либерализм, опиравшийся на земские съезды, презрительно игнорировал идею всеобщей забастовки, то после 17-го октября тот же либерализм, в лице своего левого крыла, опираясь на факт победоносной стачки, восстал против всякой другой формы революционной борьбы.

«Эта мирная забастовка,—писал г. Прокопович в «Праве»,—забастовка, сопровождавшаяся гораздо меньшим числом жертв, чем январское движение, закончившаяся г о с у д а р с т в е н н ы м п е р е в о р о т о м, была революцией, к о р е н н ы м о б р а з о м и з м е н и в ш е й г о с у д а р с т в е н н ы й с т р о й Р о с с и и».

«История,—продолжает он,—лишив пролетариат одного из средств борьбы за народные права,—уличное восстание и баррикады,—дала ему другое еще более могучее средство,—всеобщую политическую забастовку» [1]).

Из приведенных выше справок видно, какое огромное значение мы придавали массовой политической стачке, как неизбежному методу русской революции, в то время, когда радикализм г.г. Прокоповичей питался отраженными надеждами земской оппозиции. Но мы никоим образом не можем признать, будто всеобщая стачка отменила и заменила старые методы революции. Она лишь видоизменила и дополнила их. И равным образом, как ни высоко ставим мы значение октябрьской забастовки, мы никак, однако, не можем признать, будто она «коренным образом изменила государственный строй России». Наоборот, все последующее политическое развитие только тем и объясняется, что октябрьская стачка оставила государственный строй *неизменным*. Более того, она и не *могла* совершить государственный переворот. Как политическая стачка, она исчерпала свою миссию тем, что поставила врагов лицом к лицу.

Бесспорно, забастовка железных дорог и телеграфа вносила крайнюю дезорганизацию в правительственный механизм. Эта дезорганизация становилась тем больше, чем дольше длилась забастовка. Но затяжная забастовка вносила разложение во всю хозяйственно-общественную жизнь и неизбежно ослабляла самих рабочих. В конце концов, стачка не могла не прекратиться. Но как только задымилась труба первого паровоза и застучал первый аппарат Морзе, удержавшаяся власть получала возможность заменить все сломанные рычаги и вообще обновить негодные части старой государственной машины.

В борьбе крайне важно ослабить врага; эту работу делает стачка. Она же ставит единовременно на ноги армию революции. Но ни то, ни другое само по себе не создает государственного переворота.

Остается еще вырвать власть из рук ее старых носителей и передать ее в руки революции. Это-то и есть основная задача. Всеобщая стачка создает для нее лишь необходимые предпо-

[1]) «Право», 1905 г., № 41.

сылки, но для решения самой задачи метод стачки совершенно недостаточен.

Старая государственная власть опирается на свою материальную силу, прежде всего на армию. На пути к действительному, а не бумажному «перевороту» стоит армия. В известный момент революции во главу угла становится вопрос: на чьей стороне симпатии и штыки солдат? Этот вопрос не разрешается посредством анкеты. Можно высказать много ценных и метких замечаний насчет широких и прямых улиц современных городов, насчет новейших ружейных образцов и пр. и пр., но все эти технические соображения не устраняют вопроса о революционном завоевании государственной власти. Косность армии должна быть преодолена. Революция достигает этого, сталкивая с армией народные массы. Всеобщая стачка создает благоприятные условия такого столкновения. Это—суровый метод, но другого у истории нет.

# Возникновение Совета Рабочих Депутатов.

Октябрь, ноябрь и декабрь 1905 г.—эпоха революционной кульминации. Она начинается со скромной стачки московских типографщиков и заканчивается правительственным разгромом древней столицы русских царей. Но за исключением заключительного момента—московского восстания—первое место в событиях этого периода принадлежит не Москве.

Роль Петербурга в русской революции не может итти ни в какое сравнение с ролью Парижа в революции XVIII века. Обще-экономическая примитивность Франции и первобытность ее средств сообщения, с одной стороны, административная централизация—с другой, позволяли Парижу в сущности локализировать революцию в своих стенах. Совершенно не то у нас. Капиталистическое развитие создало в России столько же самостоятельных революционных очагов, сколько центров крупной индустрии,—самостоятельных, но и тесно связанных друг с другом. Железная дорога и телеграф децентрализовали революцию, несмотря на централизованный характер государства, но в то же время внесли единство в ее повсеместные выступления. Если в результате всего этого и можно признать за голосом Петербурга первенствующее значение, то не в том смысле, что он сосредоточил революцию на Невском проспекте или у Зимнего Дворца, а единственно в том, что его лозунги и методы борьбы находили могучий революционный отклик во всей стране. Тип петербургской организации, тон петербургской прессы становились немедленно образцами для провинции. Местные провинциальные события, за исключением восстаний во флоте и крепостях, не имели самостоятельного значения.

Если мы таким образом имеем право поставить невскую столицу в центре всех событий конца 1905 г., то в самом Петербурге мы должны в главу угла поставить Совет Рабочих Депутатов. Не только потому, что это величайшая рабочая организация, какую видала до сих пор Россия. Не только потому, что петербургский Совет послужил образцом для Москвы, Одессы и ряда других городов. Но прежде всего потому, что эта чисто классовая, пролетарская организация являлась организацией революции, как таковой. Совет был осью всех событий, к нему стягивались все нити, от него исходили все призывы.

Что же он из себя представлял?

Совет Рабочих Депутатов возник, как ответ на объективную, ходом событий рожденную, потребность в такой организации, которая была бы авторитетна, не имея традиций, сразу охватила бы рассеянные стотысячные массы, почти не имея организационных зацепок; которая объединяла бы революционные течения внутри пролетариата, была бы способна на инициативу и автоматически контролировала бы самое себя — и главное, которую можно было бы в 24 часа вызвать из-под земли. Социал-демократическая организация, тесно связывавшая в подполье несколько сот и идейно объединявшая несколько тысяч рабочих Петербурга, умела дать массам лозунг, осветив молнией политической мысли их стихийный опыт,—но связать стотысячную толпу живой организационной связью было ей не под силу уже по одному тому, что главную часть своей работы она всегда совершала в скрытых от массы конспиративных лабораториях. Организация социалистов-революционеров болела теми же болезнями подполья, усугубленными бессилием и неустойчивостью. Трения двух одинаково сильных фракций социал-демократии между собою, с одной стороны, и борьба обеих фракций с социалистами-революционерами,—с другой, делали абсолютно необходимым создание беспартийной организации. Чтоб иметь авторитет в глазах масс на другой день после своего возникновения, она должна была быть организована на началах самого широкого представительства. Что принять за основу? Ответ давался сам собою. Так как единственной связью между девственными в организационном смысле пролетарскими массами был производственный процесс, оставалось представительство приурочить к фабрикам и заво-

дам [1]). Организационным прецедентом послужила комиссия сенатора Шидловского.

Инициативу создания революционного рабочего самоуправления взяла на себя 10-го октября—в момент, когда надвигалась величайшая из стачек—одна из двух петербургских социал-демократических организаций. 13-го вечером в здании Технологического Института уже состоялось первое заседание будущего Совета. Присутствовало не больше 30—40 делегатов. Решено немедленно призвать пролетариат столицы ко всеобщей политической забастовке и к выборам делегатов. «Рабочий класс,— говорило выработанное на первом заседании воззвание,—прибег к последнему могучему средству всемирного рабочего движения, — к всеобщей стачке».

«...В ближайшие дни в России совершатся решительные события. Они определят на долгие годы судьбу рабочего класса, мы должны встретить эти события в полной готовности, объединенные нашим общим Советом...»

Это огромной важности решение было принято единогласно— и притом без всяких принципиальных прений о всеобщей стачке, ее методах, целях и возможностях,—тогда как именно эти вопросы вскоре после того вызвали страстную идейную борьбу в рядах нашей германской партии. Этот факт нет надобности объяснять различием национальной психологии,—наоборот, именно мы, русские, питаем болезненное пристрастие к тактическим мудрствованиям и детальнейшим предвосхищениям. Причиной всему— революционный характер эпохи. Совет с часа своего возникновения и по час своей гибели стоял под могучим давлением революционной стихии, которая самым бесцеремонным образом опережала работу политического сознания.

Каждый шаг рабочего представительства был заранее предрешен, «тактика» была очевидна. Методов борьбы не приходилось обсуждать,—еле хватало времени их формулировать...

* * *

[1]) На каждые пятьсот рабочих посылался один делегат. Мелкие промышленные заведения соединялись для выборов группами. Право представительства получили также молодые профессиональные союзы. Нужно, однако, сказать, что числовые нормы соблюдались не слишком строго: попадались делегаты от сотни—двух рабочих, даже от меньшего числа.

Октябрьская стачка уверенно приближалась к своему апогею. Во главе ее шли металлические рабочие и печатники. Они первыми вступили в бой и резко и отчетливо формулировали 13-го октября свои политические лозунги.

«Мы объявляем политическую забастовку,—так заявлял Обуховский завод, эта цитадель революции,—и будем до конца бороться за созыв Учредительного Собрания на основе всеобщего, равного, прямого и тайного избирательного права для введения в России демократической республики».

Выставив те же лозунги, рабочие электрических станций заявляли: «Мы вместе с социал-демократией будем бороться за свои требования до конца и заявляем перед всем рабочим классом о своей готовности с оружием в руках бороться за полное народное освобождение».

Еще решительнее формулировали задачи момента рабочие печатного дела, посылая 14-го октября своих депутатов в Совет:

«Признавая недостаточность одной пассивной борьбы, одного прекращения работ, постановляем: обратить армию забастовавшего рабочего класса в армию революционную, т.-е. немедленно организовать боевые дружины. Пусть эти боевые дружины позаботятся вооружением остальных рабочих масс, хотя бы путем разгрома оружейных магазинов и отобрания оружия у полиции и войск, где это возможно». Эта резолюция не была пустым словом. Боевые дружины печатников с замечательным успехом производили захват самых крупных типографий для печатания «Известий Совета Рабочих Депутатов» и оказали неоценимые услуги при проведении почтово-телеграфной забастовки.

15-го октября работало еще большинство текстильных фабрик. Для привлечения небастующих рабочих к стачке Совет выработал целую иерархию средств — от призывов словом и до принуждения силой. К крайним средствам прибегать, однако, не пришлось. Где не помогало печатное воззвание, там достаточно было появления толпы забастовщиков, иногда нескольких человек — и работа прекращалась.

«Шел я мимо фабрики Пеклие,—докладывает Совету один из депутатов.—Вижу, работает. Позвонил. Доложите—депутат от Рабочего Совета.—Что вам нужно?—спрашивает управляю-

щий.—От имени Совета требую немедленного закрытия вашей фабрики.—Хорошо, в 3 часа прекратим работы».

16-го октября бастовали уже все текстильные фабрики. Торговля не прекратилась только в центре города. В рабочих кварталах все лавки были закрыты. Расширяя стачку, Совет расширял и укреплял себя. Каждый забастовавший завод выбирал представителя и, снабдив его необходимыми грамотами, отправлял в Совет. На втором заседании присутствовали уже делегаты от 40 крупных заводов, 2-х фабрик и трех профессиональных союзов: печатников, приказчиков и конторщиков. На этом заседании, происходившем в физической аудитории Технологического Института, автор этих строк присутствовал впервые.

Это было 14-го октября, когда стачка, с одной стороны, правительственное раздвоение, с другой,—уверенно приближались к моменту кризиса. В этот день появился знаменитый треповский указ: «холостых залпов не давать и патронов не жалеть». А на завтра, 15-го октября, тот же Трепов вдруг признал, что «в народе назрела потребность в собраниях» и, запретив митинги в стенах высших учебных заведений, обещал отвести под собрания три городских здания. «Какая перемена,—писали мы в «Известиях Совета Рабочих Депутатов»,—за 24 часа: вчера мы были зрелы только для патронов, а сегодня мы уже созрели для народных собраний. Кровавый негодяй прав: в эти великие дни борьбы народ зреет по часам!»

Несмотря на запрещение, высшие учебные заведения 14-го вечером были переполнены народом. Всюду шли митинги. «Мы, собравшиеся, заявляем,—таков был ответ правительству,—что нам, революционному народу Петербурга, тесно в тех ловушках, куда нас приглашает генерал Трепов. Мы заявляем, что будем по-прежнему собираться в университетах, на заводах, на улицах и во всех других местах, где найдем нужным». Из актового зала Технологического Института, где нам пришлось говорить о необходимости предъявить городской думе требование вооружить рабочую милицию, мы перешли в помещение физической аудитории. Здесь мы впервые увидели возникший накануне Совет Депутатов. На скамьях, расположенных амфитеатром, сидело душ 100 рабочих представителей и членов революционных партий. За демонстрационным столом разместились председатель и секре-

тарп. Собрание больше походило на военный совет, чем на парламент. Многословия—этой язвы представительных учреждений—не было и следа. Разбиравшиеся вопросы—расширение стачки и предъявление требований думе—были чисто практического характера и обсуждались деловито, кратко, энергично. Чувствовалось, что каждый атом времени на счету. Малейшее отклонение к риторике встречало со стороны председателя решительный отпор при суровом сочувствии всего собрания. Особой депутации было поручено предъявить городской думе следующие требования: 1) немедленно принять меры для урегулирования продовольствия многотысячной рабочей массы; 2) отвести помещения для собраний; 3) прекратить всякое довольствие, отвод помещений, ассигновок на полицию, жандармерию и т. д.; 4) выдать деньги на вооружение борющегося за свободу петербургского пролетариата.

Ввиду бюрократического и домовладельческого состава думы обращение к ней с такого рода радикальными требованиями являлось исключительно агитационным шагом. Совет, разумеется, совершенно не заблуждался на этот счет. Практических результатов он не ждал и не получил.

16-го октября, после ряда приключений, попыток ареста и проч.,—мы напоминаем, что все это происходило еще до издания конституционного манифеста,—депутация Совета была принята в «частном совещании» петербургской городской думы. Прежде всего по требованию депутации, энергично поддержанному группой гласных, Дума постановила в случае ареста рабочих депутатов командировать к градоначальнику городского голову с заявлением, что гласные будут считать арест депутатов оскорблением думы. Только после этого обратились к предъявлению требований.

«Переворот, совершающийся в России,—так закончил свою речь оратор депутации, т. Радин (покойный Кнунианц),—есть переворот буржуазный, он в интересах и имущих классов. В ваших собственных интересах, господа, чтоб он скорее завершился. И если вы способны быть хоть сколько-нибудь дальнозоркими, если вы действительно широко понимаете выгоды вашего класса, то должны всеми силами помочь народу в целях скорейшей победы над абсолютизмом. Нам не нужно от вас ни резолюций сочувствия, ни платонической поддержки наших

требований. Мы требуем, чтоб свое содействие вы оказали рядом практических действий.

«Благодаря уродливой системе выборов, имущество города с полутoрамиллионным населением находится в руках представителей нескольких тысяч имущих. Совет Рабочих Депутатов требует,—а он имеет право требовать, а не просить, так как является представителем нескольких сот тысяч рабочих, жителей столицы, а вы—только горсти избирателей,—Совет Рабочих Депутатов требует, чтобы городское имущество было предоставлено всем жителям города для их надобности. И так как теперь важнейшая общественная задача есть борьба с абсолютизмом, а для этой борьбы нам нужны места для наших собраний,—откройте нам наши городские здания!

«Нам нужны средства для продолжения стачки—ассигнуйте городские средства на это, а не на поддержку полиции и жандармов!

«Нам нужно оружие для завоевания и отстаивания свободы—отпустите средства для организации пролетарской милиции!»

Под охраной группы гласных депутация покинула зал заседания. Дума отказала во всех главных требованиях Совета и выразила доверие полиции, как охранительнице порядка.

---

По мере развития октябрьской стачки, Совет естественно становился в центре всеобщего политического внимания. Его значение росло буквально не по дням, а по часам. Прежде всего вокруг него сплотился промышленный пролетариат. Железнодорожный Союз вступил с ним в тесные отношения. Союз Союзов, примкнувший к стачке с 14-го октября, уже с первых шагов вынужден был признать над собою протекторат Совета. Многочисленные стачечные комитеты — инженеров, адвокатов, правительственных чиновников — приспособляли свои действия к его решениям. Подчиняя себе разрозненные организации, Совет объединял вокруг себя революцию.

И в то же время росло раздвоение в правительственных рядах.

Трепов шел напролом и гладил свои пулеметы. 12-го он заставил Николая поставить себя во главе всех войск петербургского гарнизона. 14-го он уже отдавал приказ не жалеть патро-

нов. Он разделил столицу на четыре военных района с четырьмя генералами во главе. В качестве генерал-губернатора он грозит всем торговцам съестными припасами в случае закрытия лавок высылкой в 24 часа. 16-го он запер на замок все высшие учебные заведения Петербурга и занял их войсками. Без формального объявления военного положения, он ввел его фактически. Конные патрули терроризировали улицы. Войска были размещены всюду—в государственных учреждениях, публичных зданиях



ОКТЯБРЬСКИЕ ДНИ. ЗАКРЫТЫЙ УНИВЕРСИТЕТ.

и дворах частных домов. В то время, как даже артисты императорского балета примыкали к забастовке, Трепов непреклонно заполнял солдатами пустующие театры. Он оскаливал зубы и потирал руки в предчувствии горячего дела.

Он ошибся в расчетах. Победило враждебное ему течение бюрократии, искавшее плутовской сделки с историей. Для этой цели был призван Витте.

17-го октября гайдуки Трепова разогнали собрание Совета Рабочих Депутатов. Но он нашел возможность собраться

вторично, постановил продолжать забастовку с удвоенной энергией, рекомендовал рабочим впредь до начала работ за квартиры и за взятые в долг товары денег не платить и призвал домохозяев и лавочников исков к рабочим не предъявлять. В этот день, 17-го октября, вышел первый нумер «Известий Совета Рабочих Депутатов».

И в этот же день был подписан царем конституционный манифест.

# 18-ое октября.

18-ое октября было днем великого недоумения. Огромные толпы двигались растерянно по улицам Петербурга. Дана конституция. Что же дальше? Что можно и чего нельзя?

В тревожные дни я ночевал у одного из моих друзей, состоявшего на государственной службе [1]). Утром 18-го он встретил меня с листом «Правительственного Вестника» в руке. Улыбка радостного возбуждения, с которым боролся привычный скептицизм, играла на его умном лице.

— Выпустили конституционный манифест!

— Не может быть!

— Читайте.

Мы стали читать вслух. Сперва скорбь отеческого сердца по поводу смуты, затем заверение, что «печаль народная — наша печаль», наконец, категорическое обещание всех свобод, законодательных прав Думы и расширения избирательного закона.

Мы молча переглянулись. Трудно было выразить противоречивые мысли и чувства, вызванные манифестом. Свобода собраний, неприкосновенность личности, контроль над администрацией... Конечно, это только слова. Но ведь это не слова либеральной резолюции, это слова царского манифеста. Николай Романов, августейший патрон погромщиков, Телемак Трепова,—вот автор этих слов! И это чудо совершила всеобщая стачка. Когда либералы одиннадцать лет тому назад предъявили скромное ходатайство об общении самодержавного монарха с народом, тогда коронованный юнкер надрал им уши, как мальчишкам, за их «бессмысленные мечтания». Это было

---

[1]) А. А. Литкенс, старший врач Константиновского артиллерийского училища.

его собственное слово! А теперь он взял руки по швам пред бастующим пролетариатом.

— Каково?—спросил я своего друга.

— Испугались, дураки!—услышал я в ответ.

Это была в своем роде классическая фраза. Мы прочитали затем всеподданнейший доклад Витте с царской ремаркой: «принять к руководству».

— Вы правы, — сказал я, — дураки действительно испугались.

Через пять минут я был на улице. Первая фигура, попавшаяся мне навстречу, запыхавшийся студент с шапкой в руке. Это был партийный товарищ [1]). Он узнал меня.

— Ночью войска обстреливали Технологический Институт... Говорят, будто оттуда в них бросили бомбу... очевидная провокация.. Только что патруль шашками разогнал небольшое собрание на Забалканском проспекте. Проф. Тарле, выступавший оратором, тяжело ранен шашкой. Говорят, убит...

— Так-с... Для начала недурно.

— Всюду бродят толпы народа. Ждут ораторов. Я бегу сейчас на собрание партийных агитаторов. Как вы думаете? О чем говорить? Ведь главная тема теперь—амнистия?

— Об амнистии все будут говорить и помимо нас. Требуйте удаления войск из Петербурга. Ни одного солдата на двадцать пять верст в окрестности.

Студент побежал дальше, размахивая шапкой. Мимо меня проехал по улице конный патруль. Трепов еще сидит в седле. Расстрел Института — его комментарий к манифесту. Эти молодцы сразу взялись за разрушение конституционных иллюзий.

Я прошел мимо Технологического Института. Он был попрежнему заперт и охранялся солдатами. На стене висело старое обещание Трепова «не жалеть патронов». Рядом с ним кто-то наклеил царский манифест. На тротуарах толпились кучки народа.

— Идите к Университету! — раздался чей-то голос, — там будут говорить.

---

[1]) А. А. Литкенс — младший сын врача, юноша-большевик, вскоре умерший затем после тяжелых потрясений.

Я отправился с другими. Шли молча, быстро. Толпа росла каждую минуту. Радости не было—скорее неуверенность и беспокойство... Патрулей больше не видно было. Одинокие городовые робко сторонились от толпы. Улицы были украшены трехцветными флагами.

— Ага, Ирод,—сказал громко какой-то рабочий:—теперь, небось, хвост поджал...

Ему ответили смехом сочувствия. Настроение заметно поднималось. Какой-то подросток снял с ворот трехцветное знамя вместе с древком, оборвал синюю и белую полосы и высоко поднял красный остаток «национального» флага над толпой. Он нашел десятки подражателей. Через несколько минут множество красных знамен поднималось над массой. Белые и синие лоскуты валялись везде и всюду, толпа попирала их ногами... Мы прошли через мост и вступили на Васильевский Остров. На набережной образовалась огромная воронка, через которую нетерпеливо вливалась необозримая масса. Все старались протесниться к балкону, с которого должны были говорить ораторы. Балкон, окна и шпиц Университета были украшены красными знаменами С трудом проник я внутрь здания. Мне пришлось говорить третьим или четвертым. Удивительная картина открывалась с балкона. Улица была сплошь запружена народом. Синие студенческие фуражки и красные знамена яркими пятнами оживляли вид стотысячной толпы. Стояла полная тишина, все хотели слышать ораторов.

— Граждане! После того, как мы наступили правящей шайке на грудь, нам обещают свободу. Избирательные права, законодательную власть обещают нам. Кто обещает? Николай Второй. По доброй ли воле? С чистым ли сердцем? Этого никто не скажет про него. Он начал свое царствование с того, что благодарил молодцов-фанагорийцев [1]) за убийство ярославских рабочих,—и через трупы к трупам он пришел к кровавому воскресенью 9 января. И этого неутомимого палача на троне мы вынудили к обещанию свободы. Какое великое торжество! Но не торопитесь праздновать победу: она не полна. Разве обещание уплаты весит столько же, как и чистое золото? Разве обещание свободы то же самое, что свобода сама? Кто среди вас верит царским обещаниям, пусть скажет это вслух: мы все будем рады видеть та-

[1]) Название казачьего полка.

кого чудака. Оглянитесь вокруг, граждане: разве что-нибудь изменилось со вчерашнего дня? Разве раскрылись ворота наших тюрем? Разве Петропавловская крепость не господствует над столицей? Разве вы не слышите по-прежнему стона и зубовного скрежета из-за ее проклятых стен? Разве вернулись к своим очагам наши братья из пустынь Сибири?..

— Амнистия! Амнистия! Амнистия!—закричали снизу.

— ...Если-б правительство честно решило примириться с народом, оно бы первым делом дало амнистию. Но, граждане, разве амнистия—все? Сегодня выпустят сотни политических борцов, завтра захватят тысячи других. Разве рядом с манифестом о свободах не висит приказ о патронах? Разве не расстреливали этой ночью Технологический Институт? Разве не рубили сегодня народ, мирно слушавший оратора? Разве палач Трепов не хозяин Петербурга?

— Долой Трепова!—закричали снизу.

— ... Долой Трепова!—но разве он один! Разве в резервах бюрократии мало негодяев ему на смену? Трепов господствует над нами при помощи войска. Гвардейцы, покрытые кровью 9-января,—вот его опора и сила. Это им он велит не щадить патронов для ваших грудей и для ваших голов. Мы не можем, не хотим и не должны жить под ружейными дулами. Граждане! Нашим требованием да будет—удаление войск из Петербурга! Пусть на 25 верст вокруг столицы не останется ни одного солдата. Свободные граждане сами будут охранять порядок. Никто не потерпит от произвола и насилия. Народ всех возьмет под свою защиту...

— Долой войска из Петербурга!

— ...Граждане! Наша сила в нас самих. С мечом в руке мы должны стать на страже свободы. А царский манифест—смотрите—это простой лист бумаги. Вот он перед вами, а вот он скомканный у меня в кулаке. Сегодня его дали, а завтра отнимут и порвут на клочки, как я теперь рву эту бумажную свободу на ваших глазах!..

Говорило еще два-три оратора, и все заканчивали призывом собраться в 4 часа на Невском, у Казанского собора, и оттуда двинуться к тюрьмам с требованием амнистии.

# Министерство Витте.

17-го октября покрытое кровью и проклятиями столетий царское правительство капитулировало перед стачечным восстанием рабочих масс. Никакие усилия реставрации не вычеркнут этого факта из истории. На священной короне царского абсолютизма неизгладимо запечатлен след пролетарского сапога.

Вестником царской капитуляции во внутренней войне, как и во внешней, явился граф Витте. Плебей-parvenu (выскочка) среди родовитых рядов высшей бюрократии, недоступной, как и вся она, влиянию общих идей, политических и моральных принципов, Витте имел перед своими соперниками преимущества выскочки, не связанного никакими придворно-дворянско-конюшенными традициями. Это позволило ему развиться в идеальный тип бюрократа, свободного не только от национальности, религии, совести и чести, но и от сословных предрассудков. Это же делало его более отзывчивым на элементарные запросы капиталистического развития. Среди наследственно-тупых егермейстеров он казался государственным гением.

Конституционная карьера гр. Витте целиком построена на революции. В течение десяти лет бесконтрольный бухгалтер и кассир самодержавия, он был в 1902 г. отставлен своим антагонистом Плеве на безвластный пост председателя дореволюционного Комитета министров. После того, как сам Плеве был «отставлен» бомбой террориста, Витте не без успеха начал выдвигать себя через услужающих журналистов на роль спасителя России. Передавали со значительной миной, что он поддерживает все либеральные шаги Святополка-Мирского. По поводу поражений на Востоке он проницательно покачивал головой. Накануне 9-го января он ответил перепуганным либералам: «Вы знаете, что власть не у меня». Таким образом террористические удары, японские победы и революционные события расчи-

щали перед ним дорогу. Из Портсмута, где он расчеркнулся под трактатом, предписанным мировой биржей и ее политическими агентами, он возвращался, как триумфатор. Можно было подумать, что не маршал Ойяма, а он, Витте, одержал все победы на азиатском Востоке. На провиденциальном человеке концентрировалось внимание всего буржуазного мира. Парижская газета «Matin» выставила в витрине кусок промокательной бумаги, которую Витте приложил к своей портсмутской подписи. У зевак общественного мнения отныне все вызывало интерес: его огромный рост, даже его бесформенные брюки, даже полупровалившийся нос. Его аудиенция у императора Вильгельма еще более закрепила за ним ореол государственного человека высшего ранга. С другой стороны, его конспиративная беседа с эмигрантом Струве свидетельствовала о том, что ему удастся приручить крамольный либерализм. Банкиры были в восторге: этот человек сумеет обеспечить им правильную уплату процентов. По возвращении из России Витте с уверенным видом занял свой безвластный пост, произносил либеральные речи в Комитете и, явно спекулируя на смуту, назвал депутацию бастующих железнодорожников «лучшими силами страны». В своих расчетах он не ошибся: октябрьская стачка возвела его на пост самодержавного министра конституционной России.

Самую высокую либеральную ноту Витте взял в своем программном «всеподданнейшем докладе». Здесь есть попытка подняться от придворно-лакейской и фискально-канцелярской точки зрения на высоту политических обобщений. Доклад признает, что волнение, охватившее страну, не есть результат простого подстрекательства, что его причина—в нарушенном равновесии между идейными стремлениями русского мыслящего «общества» и внешними формами его жизни. Если, однако, отвлечься от умственного уровня той среды, в которой и для которой доклад написан, если взять его как программу «государственного человека», он поражает ничтожеством мысли, трусливой уклончивостью формы и канцелярской неприспособленностью языка. Заявления о публичных свободах сделаны в форме, неопределенность которой подчеркивается энергией ограничительных разъяснений. Отваживаясь взять на себя инициативу конституционного преобразования, Витте не произносит слово конституция. Он надеется незаметно осуществить ее на практике, опираясь

на тех, кто не выносит ее имени. Но для этого ему необходимо спокойствие. Он заявляет, что отныне аресты, конфискации и расстрелы будут производиться хотя и на основании старых законов, но «в духе» манифеста 17-го октября. В своей плутоватой наивности он надеялся, что революция немедленно капитулирует пред его либерализмом, как день тому назад самодержавие капитулировало перед революцией. Он грубо ошибался.

Если Витте получил власть благодаря победе, или, точнее, благодаря половинчатому характеру победы октябрьской стачки, то те же условия создали для него заранее совершенно безвыходное положение. Революция оказалась недостаточно сильной, чтобы разрушить старую государственную машину и из элементов своей собственной организации строить новую. Армия осталась в прежних руках. Все старые администраторы, от губернатора до урядника, подобранные для нужд самодержавия, сохранили свои посты. Остались также неприкосновенными все старые законы—впредь до издания новых. Таким образом абсолютизм, как материальный факт, сохранился целиком. Он сохранился даже как имя, ибо слово самодержец не было устранено из царского титула. Правда, властям было приказано применять законы абсолютизма «в духе» манифеста 17-го октября. Но это было то же самое, что предложить Фальстафу распутничать «в духе» целомудрия. В результате местные самодержцы шестидесяти русских сатрапий совершенно растерялись. Они то шли в хвосте революционных демонстраций и брали под козырек пред красными знаменами, то пародировали Гесслера, требуя, чтобы население снимало перед ними шляпы, как пред представителями священной особы его величества, то позволяли социал-демократам приводить войска к присяге, то открыто организовывали контр-революционные избиения. Воцарилась полная анархия. Законодательной власти не существовало. Неизвестно было даже, когда и как она будет созвана.

Все более росло сомнение в том, что будет ли она созвана вообще. Над этим хаосом висел граф Витте, старавшийся обмануть и Петергоф и революцию и, может быть, более всего обманывавший самого себя. Он принимал бесчисленные депутации, радикальные и реакционные, был одинаково предупредителен и с теми и другими, бессвязно развивал свои планы пред европейскими корреспондентами, писал ежедневно правитель-

ственные сообщения, в которых слезливо усовещал гимназистов не принимать участия в антиправительственных демонстрациях, и рекомендовал всем классам гимназии и всем классам общества овладеть собою и приняться за правильный труд,—словом, совершенно потерял голову.

Зато контр-революционные элементы бюрократии работали во-всю. Они научились ценить поддержку «общественных сил», вызывали повсюду к жизни погромные организации и, игнорируя официальную бюрократическую иерархию, объединялись между собою, имея в самом министерстве своего человека в лице Дурново. Подлейший представитель подлых нравов русской бюрократии, проворовавшийся чиновник, которого даже незабвенный Александр III вынужден был вышвырнуть энергичными словами: «убрать эту свинью», Дурново был теперь извлечен из мусорного ящика, чтобы в качестве министра внутренних дел образовать противовес «либеральному» премьеру. Витте принял это позорное даже для него сотрудничество,которое скоро свело его собственную роль к такой же фикции, к какой реальная практика бюрократии свела манифест 17-го октября. Опубликовав утомительную серию либерально-бюрократических прописей, Витте пришел к выводу, что русское общество лишено элементарного политического смысла, нравственной силы и социальных инстинктов. Он убедился в своем банкротстве и предвидел неизбежность кровавой политики репрессий, как «подготовительной меры» для водворения нового строя. Но сам он не считал себя к этому призванным за недостатком «требуемых способностей» и обещал уступить свое место другому лицу. Он солгал и в этом случае. В качестве безвластного, всеми презираемого премьера, он сохранял свой пост в течение всего декабрьско-январского периода, когда хозяин положения, Дурново, засучив рукава, совершал кровавую работу мясника контр-революции.

# Первые дни „свобод“.

Свое отношение к манифесту Совет выразил резко и точно в день его опубликования. Представители пролетариата потребовали: амнистии, устранения всей полиции сверху донизу, удаления из города войск, создания народной милиции. Комментируя это постановление в передовой статье «Известий», мы писали: «Итак, конституция дана. Дана свобода собраний, но собрания оцепляются войсками. Дана свобода слова, но цензура осталась неприкосновенной. Дана свобода науки, но университеты заняты войсками. Дана неприкосновенность личности, но тюрьмы переполнены заключенными. Дан Витте, но оставлен Трепов. Дана конституция, но оставлено самодержавие. Все дано—и не дано ничего». Они ждут успокоения? Его не будет. «Пролетариат знает, чего он хочет, и знает, чего не хочет. Он не хочет ни полицейского хулигана Трепова, ни либерального маклера Витте, ни волчьей пасти, ни лисьего хвоста. Он не желает нагайки, завернутой в пергамент конституции». Совет постановляет: всеобщая стачка продолжается.

Рабочие массы с удивительным единодушием выполняют это постановление. Фабричные трубы без дыму стоят, как немые свидетели того, что в рабочие кварталы не проникла конституционная иллюзия. Однако все равно: с 18-го стачка теряет свой непосредственно-боевой характер. Она превращается в колоссальную демонстрацию недоверия. Но вот провинция, ранее столицы вступившая в борьбу, начинает приступать к работам. 19-го заканчивается стачка в Москве. Петербургский Совет постановляет прекратить забастовку 21-го ноября в 12 час. дня. Последним покидая поле, он устраивает удивительную манифестацию пролетарской дисциплины, призывая сотни тысяч рабочих к станкам в один и тот же час.

Еще до прекращения октябрьской стачки Совету удалось проверить свое огромное влияние, создавшееся в течение одной недели: это когда он по требованию неисчислимых масс стал во главе их и прошел с ними по улицам Петербурга.

18-го, к 4 ч. дня, стотысячные массы собрались у Казанского собора. Их лозунгом была амнистия. Они хотели итти к тюрьмам, требовали руководства и двинулись к месту заседания рабочих депутатов. В шесть часов вечера Совет выбирает трех уполномоченных для руководства демонстрацией. С белыми повязками на головах и руках они показываются в окне второго этажа. Внизу дышит и волнуется человеческий океан. Красные знамена развеваются на нем, как паруса революции. Могучие клики приветствуют избранников. Совет в полном составе спускается вниз и погружается в толпу. «Оратора!» Десятки рук протягиваются к оратору,—миг—и его ноги упираются в чьи-то плечи. «Амнистия! К тюрьмам!» Революционные гимны, клики... На Казанской площади и у Александровского сквера обнажают головы: здесь к демонстрантам присоединяются тени жертв 9-го января. Им поют «Вечную память» и «Вы жертвою пали». Красные знамена у дома Победоносцева. Свист и проклятия. Слышит ли их старый коршун?.. Пусть безбоязненно выглянет в окно: в этот час его не тронут. Пусть взглянет старыми преступными глазами на революционный народ, господствующий на улицах Петербурга.—Вперед!

Еще два-три квартала—и толпа у Дома Предварительного Заключения. Получается известие, что там сильная военная засада. Руководители демонстрации решают отправиться на разведки. В это время появляется депутация от Союза инженеров—как впоследствии оказалось, наполовину самозванная—и извещает, что указ об амнистии уже подписан. Все места заключения заняты войсками, и, как достоверно известно Союзу, на случай приближения масс к тюрьмам Трепову развязаны руки, следовательно, кровопролитие совершенно неминуемо. После краткого совещания руководители распускают толпу. Демонстранты клянутся, в случае, если указ не будет обнародован, снова собраться по зову Совета и двинуться на тюрьмы...

Борьба за амнистию была повсеместной. В Москве 18-го октября многотысячная толпа добилась у генерал-губернатора немедленного освобождения политических заключенных, список их

был вручен депутации стачечного комитета [1]) и освобождение из тюрем происходило под ее контролем. В тот же день толпа разбила в Симферополе ворота тюрем и увезла политических узников в экипажах. В Одессе и Ревеле заключенные выпущены по настоянию демонстрантов. В Баку попытка освобождения привела к столкновению с войсками: трое убитых, восемнадцать раненых. В Саратове, Виндаве, Ташкенте, Полтаве, Ковне...—везде и всюду демонстративные шествия к тюрьмам. «Амнистия!»—не только уличные камни, но даже петербургская городская дума повторила этот крик.

— Ну, слава Богу! Поздравляю вас, господа!—сказал Витте, отходя от телефона и обращаясь к трем рабочим, представителям Совета.—Царь подписал амнистию.

— Полная или частичная дана амнистия, граф?

— Амнистия дана с соблюдением благоразумия, но все же достаточно широкая.

22 октября правительство, наконец, опубликовало царский указ «об облегчении участи лиц, впавших до воспоследования манифеста в преступные деяния государственные»—жалкий торгашески-скаредный акт с градациями «милосердия», истинное детище той власти, в которой Трепов олицетворял государственность, а Витте—либерализм.

Но была категория «государственных преступников», которых этот указ не коснулся вовсе и коснуться не мог. Это замученные, зарезанные, задушенные, проколотые и простреленные, это все убиенные за дело народа. В те часы октябрьской демонстрации, когда революционные массы благоговейно чтили на кровавых площадях Петербурга память убитых 9-го января, в полицейских мертвецких уже лежали дымящиеся трупы первых жертв конституционной эры. Революция не могла вернуть жизнь своим новым мученикам,—она решила облечься в траур и торжественно предать их тела земле. Совет назначает на 23-е октября общенародную похоронную демонстрацию. Предлагают заранее оповестить правительство, ссылаясь на прецеденты: по требованию депутации Совета граф Витте, в одном случае, распорядился освободить двух арестованных руководителей уличного митинга, в другом—предписал открыть закрытый за октябрьскую за-

[1]) Он вскоре развился в Московский Совет Рабочих Депутатов.



МИТИНГ 31-ГО ОКТЯБРЯ 1905 ГОДА У СПБ. УНИВЕРСИТЕТА.

бастовку казенный Балтийский завод. При предостерегающих возражениях со стороны официальных представителей социал-демократии, собрание постановляет довести до сведения графа Витте, через особую депутацию, что Совет берет на себя ответственность за порядок во время демонстрации и требует удаления полиции и войск.

Граф Витте очень занят и только что отказал в приеме двум генералам, но он беспрекословно принимает депутацию Совета. Процессия? Он лично ничего не имеет против: «такие процессии допускаются на Западе». Но—это не в его ведении. Нужно обратиться к Дмитрию Федоровичу Трепову, так как город находится под его охраной.

— Мы не можем обращаться к Трепову: на это у нас нет полномочий.

— Жаль. А то вы сами убедились бы, что это совсем не такой зверь, как о нем говорят.

— А знаменитый приказ: «патронов не жалеть», граф?

— Ну, это просто вырвалась сердитая фраза...

Витте звонится к Трепову, почтительно докладывает свое желание, «чтоб обошлось без крови», и ждет решения. Трепов надменно отсылает его к градоначальнику. Граф спешно пишет этому последнему несколько слов и вручает письмо депутации.

— Мы возьмем ваше письмо, граф, но мы оставляем за собой свободу действий. Мы не уверены в том, что нам придется им воспользоваться.

— Ну, конечно, конечно. Я ничего не имею против этого [1].

Тут перед нами живой клок октябрьской жизни. Граф Витте поздравляет революционных рабочих с амнистией. Граф Витте хочет, чтобы было без крови, «как в Европе». Неуверенный, удастся ли спихнуть Трепова, он пытается, мимоходом, примирить с ним пролетариат. Высший представитель власти, он, чрез посредство рабочей депутации, просит градоначальника взять конституцию под свою защиту. Трусость, плутоватость, глупость—таков девиз конституционного министерства.

---

[1]) «У графа С. Ю. Витте», очерк П. А. Злыднева, члена депутации, в коллективном труде «История Совета Рабочих Депутатов Петербурга», 1906. Исполнительный Комитет, выслушав доклад депутации, постановил: «поручить председателю Совета Рабочих Депутатов возвратить письмо председателю Совета Министров».

Зато Трепов идет напрямик. Он объявляет, что «в настоящее тревожное время, когда одна часть населения готова с оружием в руках восстать против действия другой части, никакие демонстрации на политической почве, в интересах самих же демонстрантов, допущены быть не могут», и приглашает устроителей манифестации «отказаться от своего замысла... ввиду могущих произойти весьма тяжелых последствий от тех решительных мер, к которым может быть вынуждена прибегнуть полицейская власть». Это было ясно и четко, как удар шашки или выстрел из винтовки. Вооружить городскую сволочь через полицейские участки, натравить ее на демонстрацию, вызвать замешательство, воспользоваться свалкой для вмешательства полиции и войск, пронестись по городу смерчем, оставляя за собой кровь, опустошение, дым пожарищ и скрежет зубовный—вот неизменная программа полицейского негодяя, которому коронованное слабоумие вручило судьбы страны. Чаши правительственных весов в этот момент неуверенно колебались: Витте или Трепов? Расширить ли конституционный эксперимент или утопить его в погроме? Десятки городов стали в медовые дни нового курса ареной кровь леденящих событий, нити которых были в руках Трепова. Но Мендельсон и Ротшильд стояли за конституцию: законы Моисея, как и законы биржи, одинаково воспрещают им употребление свежей крови. В этом была сила Витте. Официальное положение Трепова покачнулось,—и Петербург был его последней ставкой.

Момент был крайне ответственный и важный. У Совета Депутатов не было ни интереса, ни желания поддерживать Витте—несколько дней спустя он это ясно показал. Но еще меньше у него было намерения поддерживать Трепова. Между тем выходить на улицу—значило итти навстречу его планам. Разумеется, политическое положение не исчерпывалось конфликтом биржи и полицейского застенка. Можно было стать выше планов как Витте, так и Трепова, и сознательно итти навстречу столкновению, чтобы смести обоих. По общему своему направлению политика Совета была именно такова: с открытыми глазами шел он навстречу неизбежному конфликту. Тем не менее, он не считал себя призванным ускорять его. Чем позже, тем лучше. Приурочивать решительное сражение к траурной манифестации в такой момент, когда титаническое напряжение октябрьской стачки уже спадало, уступая место временной психологической реакции

усталости и удовлетворения, значило бы совершить чудовищную ошибку.

Автор этой книги—он считает нужным указать на это, ибо впоследствии он нередко подвергался суровым нареканиям—внес предложение об отмене похоронной демонстрации. 22-го октября, на экстренном заседании Совета, в первом часу ночи, после страстных дебатов, была подавляющим числом голосов принята предложенная нами резолюция. Вот ее текст:

«Совет Рабочих Депутатов имел намерение устроить жертвам правительственных злодейств торжественные похороны в воскресенье, 23-го октября. Но мирное намерение петербургских рабочих поставило на ноги всех кровавых представителей издыхающего строя. Поднявшийся на трупах 9-го января генерал Трепов, которому уже нечего терять пред лицом революции, бросил сегодня петербургскому пролетариату последний вызов. Трепов нагло дает понять в своем объявлении, что он хочет натравить на мирное шествие вооруженные полицией банды черной сотни, а затем, под видом умиротворения, снова залить кровью улицы Петербурга. Ввиду этого дьявольского плана, Совет Депутатов заявляет: петербургский пролетариат даст царскому правительству последнее сражение не в тот день, который изберет Трепов, а тогда, когда это будет выгодно организованному и вооруженному пролетариату. Посему Совет Депутатов постановляет: заменить всеобщее траурное шествие внушительными повсеместными митингами чествования жертв, памятуя при этом, что павшие борцы своей смертью завещали нам удесятерить наши усилия для дела самовооружения и приближения того дня, когда Трепов, вместе со всей полицейской шайкой, будет сброшен в общую грязную кучу обломков монархии».

# Царская рать за работой.

Совет ликвидировал октябрьскую стачку в те страшные черные дни, когда плач избиваемых младенцев, исступленные проклятья матерей, предсмертное хрипение стариков и дикие вопли отчаяния неслись к небесам со всех концов страны. Сто городов и местечек России превратились в ад. Дымом пожарищ заволакивало солнце, огонь пожирал целые улицы—с домами и людьми. Это старый порядок мстил за свое унижение.

Свои боевые фаланги он набрал всюду—во всех углах, норах и трущобах. Здесь—мелкий лавочник и оборванец, кабатчик и его постоянный клиент, дворник и шпион, профессиональный вор и грабитель-дилетант, мелкий ремесленник и привратник дома терпимости, голодный темный мужик и вчерашний выходец деревни, оглушенный грохотом фабричной машины. Озлобленная нищета, беспросветная тьма и развращенная продажность становятся под команду привилегированного своекорыстия и сановной анархии.

Первые навыки массовых уличных действий были приобретены громилами в «патриотических» демонстрациях начала русско-японской войны. Тогда уже определились основные аксессуары: портрет императора, бутылка водки, трехцветное знамя. С того времени планомерная организация социальных отбросов получила колоссальное развитие: если масса участников погрома—поскольку тут может итти речь о «массе»—остается более или менее случайной, то ядро всегда дисциплинировано и организовано на военный лад. Оно получает сверху и передает вниз лозунг и пароль, определяет время и размер кровавых действий. «Погром устроить можно какой угодно,—заявил чиновник Департамента Полиции Комиссаров,—хотите на 10 человек, а хотите на 10 тысяч» [1]).

---

[1]) Факт сообщен в Первой Думе бывшим товарищем министра внутренних дел кн. Урусовым.

О надвигающемся погроме знают все заранее: распространяются погромные воззвания, появляются кровожадные статьи в официальных «Губернских Ведомостях», иногда начинает выходить специальная газета. Одесский градоначальник выпускает от своего имени провокационную прокламацию. Когда почва подготовлена, являются гастролеры, специалисты своего дела. С ними вместе проникают в темную массу зловещие слухи: евреи собираются напасть на православных, социалисты осквернили святую икону, студенты порвали царский портрет. Где нет университета, там слух приурочивается к либеральной земской управе, даже к гимназии. Дикие вести бегут с места на место по телеграфной проволоке, иногда со штемпелем официальности. А в это время совершается подготовительная техническая работа: составляются проскрипционные списки лиц и квартир, подлежащих разгрому в первую очередь, вырабатывается общий стратегический план, из пригородов вызывается на определенное число голодное воронье. В назначенный день—молебствие в соборе. Торжественная речь преосвященного. Патриотическое шествие—с духовенством во главе, с царским портретом, взятым в полицейском управлении, со множеством национальных знамен. Непрерывно играет оркестр военной музыки. По бокам и в хвосте—полиция. Губернаторы делают шествию под козырек, полицеймейстеры всенародно целуются с именитыми черносотенцами. В церквах по пути звонят колокола. «Шапки долой!» В толпе рассеяны приезжие инструкторы и местные полицейские в штатском платье, но нередко в форменных брюках, которых не успели сменить. Они зорко смотрят вокруг, дразнят толпу, науськивают ее, внушают ей сознание, что ей все позволено, и ищут повода для открытых действий. Для начала бьют стекла, избивают отдельных встречных, врываются в трактиры и пьют без конца. Военный оркестр неутомимо повторяет: «Боже, царя храни», эту боевую песнь погромов. Если повода нет, его создают: забираются на чердак и оттуда стреляют в толпу, чаще всего холостыми зарядами. Вооруженные полицейскими револьверами дружины следят за тем, чтоб ярость толпы не парализовалась страхом. Они отвечают на провокаторский выстрел залпом по окнам намеченных заранее квартир. Разбивают лавки и расстилают перед патриотическим шествием награбленные сукна и шелка. Если встречаются с отпором самообороны, на помощь являются регулярные войска.

В два-три залпа они расстреливают самооборону или обрекают на бессилие, не подпуская ее на выстрел винтовки... Охраняемая спереди и с тылу солдатскими патрулями, с казачьей сотней для рекогносцировки, с полицейскими и провокаторами в качестве руководителей, с наемниками для второстепенных ролей, с добровольцами, вынюхивающими поживу, банда носится по городу в кроваво-пьяном угаре [1]... Босяк царит. Трепещущий раб час тому назад, затравленный полицией и голодом, он чувствует себя сейчас неограниченным деспотом. Ему все позволено, он все может, он господствует над имуществом и честью, над жизнью и смертью. Он хочет—и выбрасывает старуху с роялем из окна третьего этажа, разбивает стул о голову грудного младенца, насилует девочку на глазах толпы, вбивает гвоздь в живое человеческое тело... Истребляет поголовно целые семейства; обливает дом керосином, превращает его в пылающий костер, и всякого, кто выбрасывается из окна, добивает на мостовой палкой. Стаей врывается в армянскую богадельню, режет стариков, больных, женщин, детей... Нет таких истязаний, рожденных горячечным мозгом, безумным от вина и ярости, пред которыми он должен был бы остановиться. Он все может, все смеет... «Боже, царя храни!» Вот юноша, который взглянул в лицо смерти—и в минуту поседел. Вот десятилетний мальчик, сошедший с ума над растерзанными трупами своих родителей. Вот военный врач, перенесший все ужасы порт-артурской осады, но не выдержавший нескольких часов одесского погрома и погрузившийся в вечную ночь безумия. «Боже, царя храни!..» Окровавленные, обгорелые, обезумевшие жертвы мечутся в кошмарной панике, ища спасения. Одни снимают окровавленные платья с убитых и, облачив-

---

[1]) «Во многих случаях сами полицейские чины направляли толпы хулиганов на разгром и разграбление еврейских домов, квартир и лавок, снабжали хулиганов дубинами из срубленных деревьев, сами совместно с ними принимали участие в этих разгромах, грабежах и убийствах и руководили действиями толпы» (Всеподданнейший отчет сенатора Кузьминскаго об Одесском погроме). «Толпы хулиганов, занимавшиеся разгромом и грабежами,—как признает и градоначальник Нейдгарт,—восторженно его встречали с криками у р а». «Командующий войсками барон Каульбарс... обратился к полицейским чинам с речью, которая начиналась словами: «Будем называть вещи их именами. Нужно признаться, что все мы в душе сочувствуем этому погрому».

шись в них, ложатся в груду трупов—лежат сутки, двое, трое... Другие падают на колени перед офицерами, громилами, полицейскими, простирают руки, ползают в пыли, целуют солдатские сапоги, умоляют о помощи. Им отвечают пьяным хохотом. «Вы хотели свободы—пожинайте ее плоды». В этих словах—вся адская мораль политики погромов... Захлебываясь в крови, мчится босяк вперед. Он все может, он все смеет,—он царит. «Белый царь» ему все позволил,—да здравствует белый царь! [1]) И он не ошибается. Никто другой, как самодержец всероссийский, является верховным покровителем той полуправительственной погромно-разбойничьей каморры, которая переплетается с официальной бюрократией, объединяя на местах более ста крупных администраторов и имея своим генеральным штабом придворную камарилью. Тупой и запуганный, ничтожный и всесильный, весь во власти предрассудков, достойных эскимоса, с кровью, отравленной всеми пороками ряда царственных поколений, Николай Романов соединяет в себе, как многие лица его профессии, грязное сладострастие с апатичной жестокостью. Революция, начиная с 9 января, сорвала с него все священные покровы и тем развратила его самого в конец. Прошло время, когда, оставаясь сам в тени, он довольствовался агентурой Трепова по погромным делам [2]). Теперь он бравирует своей связью с разнузданной сволочью кабаков и арестантских рот. Топча ногами глупую фикцию «монарха вне партий», он обменивается дружественными телеграммами с отъявленными громилами, дает аудиенции «патриотам», покрытым плевками общего презрения, и по требованию Союза Русского Народа дарит свое помилование всем без изъятия убийцам и грабителям, осужденным его же собственными судами. Трудно представить себе более разнузданное издевательство над торжественной мистикой монархизма, как поведение этого реального монарха, которого любой суд любой страны должен был бы

[1]) «В одной из таких процессий впереди несли трехцветное знамя, за ним портрет Государя, а непосредственно за портретом серебряное блюдо и мешок с награбленным» (Отчет сенатора Турау).

[2]) «По распространенному мнению Трепов докладывает Е. И. В. Государю Императору сведения о положении вещей... и влияет на направление политики... Будучи назначен дворцовым комендантом, генерал Трепов настоял на назначении в его распоряжение особых сумм на агентурные расходы...» (Письмо сенатора Лопухина).

приговорить к пожизненным каторжным работам, если бы только признал его вменяемым!..

В черной октябрьской вакханалии, перед которой ужасы Варфоломеевской ночи кажутся невинным театральным эффектом, 100 городов потеряли от трех с половиною до четырех тысяч убитыми и до 10 тысяч изувеченными. Материальный ущерб, исчисляемый десятками, если не сотнями миллионов рублей, в несколько раз превышает убытки помещиков от аграрных волнений... Так старый порядок мстил за свое унижение!

Какова была роль рабочих в этих потрясающих событиях?

В конце октября президент федерации северо-американских профессиональных союзов прислал на имя графа Витте телеграмму, в которой энергично призывал русских рабочих выступить против погромов, угрожающих недавно завоеванной свободе. «От имени не только трех миллионов организованных рабочих,—так заканчивалась телеграмма,—но и от всех рабочих Соединенных Штатов, я прошу вас, граф, передать эту депешу вашим согражданам,—нашим братьям-рабочим». Но гр. Витте, который недавно только корчил из себя в Америке истого демократа, провозглашая, что «перо сильнее меча», нашел в себе теперь достаточно бесстыдства, чтобы втихомолку спрятать рабочую телеграмму в потайной ящик своего письменного стола. Только в ноябре Совет узнал о ней окольными путями. Но русским рабочим—к их чести—не нужно было дожидаться предостерегающего напоминания своих заокеанских друзей, чтобы активно вмешаться в кровавые события. В целом ряде городов они организовали вооруженные дружины, оказывавшие активный, местами героический отпор громилам,—и если войска держали себя хоть сколько-нибудь нейтрально, рабочая милиция без труда подавляла хулиганский разгул.

«На-ряду с этим кошмаром,—писал в те дни Немирович-Данченко, старый писатель, бесконечно далекий от социализма и пролетариата,—с этой вальпургиевой ночью умирающего чудовища,—посмотрите, с какою удивительною стойкостью, порядком и дисциплиною развивалось величавое движение рабочих. Они не запятнали себя ни убийствами, ни грабежами,—напротив, всюду они являлись на помощь обществу и, разумеется, куда лучше полиции, казаков и жандармов охраняли его от истребительного делириума захлебнувшихся кровью Каинов. Боевые

дружины рабочих бросались туда, где начинали неистовствовать хулиганы. Новая выступающая на историческую арену сила показала себя спокойной в сознании своего права, умеренной в торжестве идеалов свободы и добра, организованной и повинующейся, как настоящее войско, знающее, что его победа—победа всего, ради чего живет, мыслит и радуется, бьется и мучится человечество».

* * *

В Петербурге погрома не произошло. Но открытая подготовка шла во-всю. Еврейское население столицы находилось в состоянии постоянного трепета. Начиная с 18-го, в разных частях города избивают студентов, агитаторов-рабочих, евреев. Не только на окраинах, но на Невском нападают отдельными бандами с гиканьем и свистом, пуская в ход кистени, финские ножи и нагайки. Было произведено несколько покушений на депутатов Совета, которые деятельно обзаводятся револьверами. Полицейские агенты подговаривают торговцев и приказчиков атаковать предполагавшееся траурное шествие 23 октября... Если черной сотне пришлось, тем не менее, удовлетвориться партизанскими действиями, то в этом не ее вина.

Рабочие деятельно готовились отстоять город. Некоторые заводы обязались выступить на улицу целиком, как только телефон призовет их туда, где грозит опасность. Оружейные магазины ведут лихорадочную торговлю браунингами, минуя все полицейские ограничения. Но револьверы стоят дорого и мало доступны широким массам: революционные партии и Совет едва успевают вооружать свои боевые дружины. Между тем слухи о погроме становятся все грознее. 29 октября могучий порыв охватывает пролетарские массы Петербурга: они вооружаются, чем могут. Все заводы и мастерские, имеющие отношение к железу или стали, выделывают, по собственной инициативе, холодное оружие. Кинжалы, пики, проволочные плети и кастеты выковываются в несколько тысяч молотков. Вечером на заседании Совета депутаты друг за другом всходят на трибуну, демонстрируют клинки, поднимая их высоко над головой, и передают клятвенное обещание своих избирателей подавить погром при первой его вспышке. Уже одна эта демонстрация должна была парализовать у рядовых погромщиков всякую инициативу. Но рабочие этим не ограни-

чились. За Невской заставой, в фабричных кварталах, они организовали настоящую милицию с правильными ночными дежурствами. Они несли, кроме того, специальную охрану помещений революционной прессы. А это было необходимо в то напряженное время, когда журналист писал, а наборщик набирал с револьвером в кармане...

Вооружаясь в целях самообороны от черных сотен, пролетариат тем самым вооружался против царской власти. Правительство не могло этого не понимать,—и оно забило тревогу. 8 ноября «Правительственный Вестник» доводил до общего сведения то, что всем и без того было известно: именно, что рабочие «начали за последнее время вооружаться револьверами, охотничьими ружьями, кинжалами, ножами и пиками. Из вооруженных, таким образом, рабочих,—продолжает правительственное сообщение,—число которых, по имеющимся сведениям, достигает 6.000 человек, выделилась так называемая самооборона или милиция, числом около 300 человек, которые ходят ночью по улицам группами по 10 человек под предлогом охраны; действительная же их цель заключается в охране революционеров от ареста полицией или войсками».

В Петербурге открылась правильная атака на милиционеров. Дружины разгонялись, оружие конфисковывалось. Но к этому времени опасность погрома уже прошла, чтоб уступить место другой, несравненно бо́льшей, опасности. Правительство увольняло во временный отпуск свои иррегулярные отряды,—оно вводило в дело своих регулярных башибузуков, свои казачьи и гвардейские полки, оно готовилось к войне развернутым фронтом.

# Штурм цензурных бастилий.

Прекрасную кампанию — стройную, политически-законченную и победоносную—провел петербургский Совет в защиту свободы печати. Верным его товарищем в этой борьбе явилась молодая, но сплоченная профессионально-политическая организация — Союз рабочих печатного дела.

«Свобода печати,—так говорил оратор-рабочий на многолюдном собрании Союза, предшествовавшем октябрьской стачке,— нужна нам не только как политическое благо. Она—наше экономическое требование. Литература, вытащенная из цензурных тисков, создаст расцвет типографскому делу и другим, связанным с ним отраслям промышленности». С этого времени рабочие печатного дела открывают систематический поход против цензурных уставов. Уже и раньше, в течение всего 1905 г., в легальных типографиях печаталась нелегальная литература. Но это делалось тайно, в небольшом размере и с величайшими предосторожностями. С октября к фабрикации нелегальной литературы привлекается массовой наборщик. Внутри типографий конспирация почти исчезает. Вместе с тем усиливается давление рабочих на издателей. Наборщики настаивают на выпуске газет с игнорированием цензурных условий, в противном случае угрожают отказом от работ. 13 октября происходит совещание представителей периодических изданий. Рептилии из «Нового Времени» заседают бок-о-бок с крайними радикалами. И этот Ноев ковчег петербургской прессы решает—«не обращаться к правительству с требованием свободы печати, а осуществлять ее явочным порядком». Постановление дышит гражданской отвагой! К счастью, всеобщая стачка покровительствует издателям, охраняя их мужество от испытаний. А затем им на помощь приходит «конституция». Голгофа политического мученичества благополучно отодвигается

в сторону более заманчивой перспективы соглашения с новым министерством.

Манифест 17 октября молчал о свободе печати. Граф Витте, однако, объяснял либеральным депутациям, что это молчание является знаком согласия, что возвещенная свобода слова простирается и на печать. Но, прибавлял премьер, впредь до издания нового закона о печати, цензура остается в силе. Увы,—он ошибся: его конституционная цензура оказалась столь же бессильной, как и он сам. Не издатели, а рабочие решили ее судьбу.

«В России царским манифестом провозглашена «свобода» слова,—заявил Совет 19 октября,—но Главное управление по делам печати сохранено, цензурный карандаш остался в силе... Свобода печатного слова еще только должна быть завоевана рабочими. Совет Депутатов постановляет, что только те газеты могут выходить в свет, редакторы которых игнорируют цензурный комитет, не посылают своих номеров в цензуру, вообще поступают так, как Совет Депутатов при издании своей газеты. Поэтому наборщики и другие товарищи-рабочие печатного дела, участвующие в выпуске газет, приступают к своей работе лишь при заявлении редакторами об их готовности проводить свободу печати. До этого момента газетные рабочие продолжают бастовать, и Совет Депутатов примет все меры для выдачи бастующим товарищам их заработка. Газеты, не подчиняющиеся настоящему постановлению, будут конфискованы у газетчиков и уничтожены, типографские машины будут попорчены, а рабочие, не подчинившиеся постановлению Совета Депутатов, будут бойкотированы».

Это постановление, распространенное через несколько дней на все журналы, брошюрные и книжные издания, стало новым законом о печати. Типографская стачка вместе со всеобщей продолжалась до 21 октября. Союз рабочих печатного дела постановил; не нарушать забастовки даже для печатания конституционного манифеста,—и это постановление строго выполнялось. Манифест появился только в «Правительственном Вестнике», который набирался солдатами. Да еще реакционная газета «Свет» тайком от собственных наборщиков выпустила подпольную царскую прокламацию 17 октября. «Свет» жестоко поплатился: его типография подверглась разгрому со стороны заводских рабочих.

Неужели только девять месяцев прошло после январского паломничества к Зимнему Дворцу? Неужели только прошлой

зимою эти самые люди умоляли царя даровать им свободу печати? Нет, лжет наш старый календарь! Революция имеет свое собственное летоисчисление, месяцы ей служат за десятилетия, годы—за века.

Царский манифест не нашел для себя среди двадцати тысяч рабочих печатного дела пары верноподданных рук. Зато социал-демократические прокламации, сообщавшие о манифесте и комментировавшие его, распространялись в громадном количестве уже 18 октября. Зато второй номер «Известий» Совета, вышедший в этот день, распространяется на всех перекрестках.

Все газеты после забастовки заявили, что отныне будут выходить вне всякой зависимости от цензуры. Большинство, однако, ни словом не упомянуло об истинном инициаторе этой меры. Только «Новое Время» пером своего Столыпина, брата будущего премьера, робко возмущалось: мы сами готовы были принести эту жертву на алтарь свободной прессы; но к нам пришли, от нас потребовали, нас заставили—и отравили нам радость нашего самоотвержения. Да еще некий Башмаков, издатель реакционного «Народного Голоса» и дипломатической газеты на французском языке «Journal de St.-Pétersbourg», не проявил либеральной готовности делать bonne mine à mauvais jeu, т.-е. весело улыбаться с панихидой в душе. Он исходатайствовал в министерстве разрешение не представлять цензору ни корректур, ни готовых экземпляров своих газет и напечатал негодующее заявление в «Народном Голосе»:

«Совершая нарушение закона по принуждению,—писал этот рыцарь полицейской законности,—несмотря на мое твердое убеждение, что закон, будь он и плохой закон, должен быть соблюден, пока его законная власть не отменит, я поневоле выпускаю настоящий номер без сношения с цензурой, хотя это право мне не принадлежит. Всею душою протестую против чинимого надо мною нравственного насилия и заявляю, что намерен соблюдать закон, как только будет к тому малейшая физическая возможность, ибо причисление моего имени к числу забастовщиков, в настоящее бурное время, я счел бы для себя позором. Александр Башмаков».

Это заявление как нельзя лучше характеризует действительное соотношение сил, какое установилось в этот период между официальной законностью и революционным правом. И в инте-

ресах справедливости мы считаем нужным прибавить, что образ действий г. Башмакова весьма выигрывает при сравнении с поведением полуоктябристского «Слова», которое официально исходатайствовало у Совета Рабочих Депутатов письменное предписание не посылать своих номеров в цензуру. Для своих продерзостей по адресу старой власти эти люди нуждались в разрешении нового начальства.

Союз рабочих печатного дела стоял все время на-стороже. Сегодня он пресекает попытку издателя обойти постановление Совета и вступить в сношения с тоскующей без дела цензурой. Завтра он налагает свою руку на попытку воспользоваться освобожденным типографским станком для призыва к погромам. Случаи такого рода становятся все чаще. Борьба с погромной литературой началась с конфискации заказа на 100 тысяч экземпляров прокламаций, подписанной «группой рабочих» и призывающей восстать против «новых царей»—социал-демократов. На оригинале этого погромного воззвания значились подписи графа Орлова-Давыдова и графини Мусиной-Пушкиной. На запрос наборщиков Исполнительный Комитет постановил: остановить печатные машины, стереотипы уничтожить, готовые оттиски конфисковать. Самое воззвание высокопоставленных хулиганов Исполнительный Комитет со своими комментариями напечатал в социал-демократической газете.

«Если нет прямого призыва к насилию и погромам—не препятствовать печатанию»,—таков был общий принцип, установленный и Исполнительным Комитетом и Союзом рабочих печатного дела. Благодаря дружным усилиям наборщиков, вся чисто погромная литература была изгнана из частных типографий: только в департаменте полиции да в жандармском управлении, при закрытых ставнях и запертых дверях, на ручных станках, отнятых некогда у революционеров, печатались теперь кровожадные призывы.

Реакционная пресса выходила в общем совершенно беспрепятственно. В первые дни было, правда, несколько мелких исключений. В Петербурге мы знаем одну попытку примечания наборщиков к реакционной статье, и несколько протестов против грубых антиреволюционных выходок. В Москве наборщики отказались печатать программу возникшей тогда группы октябристов.

«Вот вам и свобода печати!—жаловался по этому поводу будущий глава Союза 17 октября Гучков на земском съезде.— Да ведь это старый режим, только с другого конца. Остается воспользоваться рецептами этого режима: посылать печатать за границу или завести подпольную типографию».

Разумеется, негодованию фарисеев капиталистической свободы не было конца... Они считали себя правыми в том смысле, что наборщик не ответствен за текст, который он набирает. Но в то исключительное время политические страсти достигли такого напряжения, что рабочий и в сфере своей профессии ни на минуту не освобождался от сознания своей революционной ответственности. Наборщики некоторых реакционных изданий шли даже так далеко, что бросали свои места, обрекая себя на добровольную нужду. И они, конечно, ни мало не нарушали «свободы печати», отказываясь набирать реакционные или либеральные клеветы на свой собственный класс. В худшем случае они нарушали свой договор.

Но капитал так глубоко пропитан насильнической метафизикой «свободного найма», вынуждающего рабочих выполнять самую отвратительную работу (строить тюрьмы и броненосцы, ковать кандалы, печатать органы буржуазной лжи), что он не устает клеймить морально-мотивированный отказ от таких работ, как физическое насилие—в одном случае, над «свободой труда», в другом—над «свободой печати».

* * *

22 октября появились освобожденные из векового плена русские газеты. Среди роя старых и новых буржуазных газет, для которых возможность все сказать была не благословением, а проклятием, ибо им в это великое время н е ч е г о было сказать; ибо в их словаре не было слов, которыми нужно и можно было разговаривать с новым читателем; ибо крушение цензурного жандарма оставило неприкосновенными их внутреннего жандарма, их озирающуюся на начальство осторожность; среди этой братии, которая свое политическое косноязычие то наряжала в тогу высшего государственного разума, то украшала бубенцами базарного радикализма, сразу выделился ясный и мужественный голос социалистической прессы.

«Наша газета—орган революционного пролетариата,—так заявляло о себе социал-демократическое «Начало».—Пролетариат России своей самоотверженной борьбой открыл нам поле свободного слова—мы свое свободное слово несем на службу пролетариату России». Мы, русские публицисты социализма, в течение долгого времени жившие жизнью подпольных кротов революции, узнали цену открытого неба, вольного воздуха и свободного слова. Мы, которые вышли в глухую ночь реакции, когда завывали ветры и летали совы. Мы, малочисленные, слабые, разрозненные, без опыта, почти мальчики—против страшного апокалиптического зверя. Мы, вооруженные одной лишь беззаветной верой в евангелие интернационального социализма—против могущественного врага, с ног до головы вооруженного в доспехи интернационального милитаризма. Ютясь и скрываясь в щелях «легального» общества, мы объявили самодержавию войну — на жизнь и на смерть. Что было нашим оружием? Слово. Если б высчитать, каким числом часов тюрьмы и далекой ссылки оплатила наша партия каждое революционное слово, получились бы страшные цифры... Потрясающая статистика сока нервов и крови сердца!

На длинном пути, усеянном капканами и волчьими ямами, между нелегальным писателем и нелегальным читателем стоит ряд нелегальных посредников: наборщик, транспортер, распространитель... Какая цепь усилий и опасностей. Один неверный шаг—и погибла работа всех... Сколько типографий было конфисковано прежде, чем они успевали приступить к работе. Сколько литературы, не дошедшей до читателя, было сожжено во дворах жандармских управлений. Сколько погибшего труда, парализованных сил, разбитых существований!

Наши жалкие тайные гектографы, наши тайные самодельные ручные станки мы противопоставили ротационным машинам официальной правительственной лжи и дозволенного либерализма. Но разве это не значило с топором каменного века выступать против пушки Круппа? Над нами издевались. И вот в октябрьские дни победил каменный топор. Революционное слово вырвалось на простор, само пораженное своей силой и упоенное ею.

Успех революционной прессы был колоссален. В Петербурге выходили две большие социал-демократические газеты, из которых каждая уже в первые дни насчитывала свыше пяти-

десяти тысяч подписчиков, и одна дешевая, тираж которой в две - три недели поднялся до ста тысяч. Широкое распространение имела также большая газета социалистов-революционеров. И в то же время провинция, в короткое время создавшая свою собственную социалистическую прессу, предъявляла огромный и все растущий спрос на революционные издания столицы.

Условия печати, как и все вообще политические условия, были неодинаковы в разных частях страны. Все зависело от того, кто чувствовал себя крепче в данном месте: реакция или революция. В столице цензура фактически перестала существовать. В провинции она устояла, но под влиянием тона столичных газет широко распустила возжи. Борьба полиции с революционной прессой лишена была какой бы то ни было объединяющей идеи. Издавались постановления о конфискации отдельных изданий, но никто не приводил их серьезно в исполнение. Якобы конфискованные номера социал-демократических газет открыто продавались не только в рабочих кварталах, но и на Невском проспекте. Провинция поглощала столичную прессу, как манну. К приходу почтовых поездов на вокзалах стояли длинными шеренгами покупатели газет. Газетчиков рвали на части. Кто-нибудь вскрывал свежий номер «Русской Газеты» и читал вслух главные статьи. Вокзальное помещение набивалось битком и превращалось в бурную аудиторию. Это повторялось на другой и на третий день и затем входило в систему. Но иногда, и нередко, полная пассивность полиции сменялась необузданным произволом. Жандармские унтер-офицеры конфисковывали подчас «крамольную» столичную прессу еще в вагонах и уничтожали целыми кипами. С особенным неистовством полиция преследовала сатирические журналы. Во главе этой травли стоял Дурново, предложивший впоследствии восстановление предварительной цензуры рисунков. У него для этого были достаточные основания: опираясь на авторитетную характеристику, данную некогда Александром III, карикатура неизменно укрепляла тупую голову министра внутренних дел на туловище свиньи... Дурново был, однако, не одинок. Все флигель-адъютанты, камергеры, гофмейстеры, егермейстеры, шталмейстеры были объединены с ним чувством мстительной злобы.

Этой шайке удалось наложить свою руку на закон о печати, которым министерство решило «теперь же, впредь до законода-

тельной санкции через Государственную Думу, осуществить свободу печати», т.-е. в действительности обуздать ту свободу печати, которая благодаря петербургскому пролетариату уже осуществлялась фактически. Временные правила 24 ноября, оставляющие по-прежнему печать в руках администрации, знают кары не только за призыв к стачке или манифестации, но и за оскорбление войска, за распространение ложных сведений о деятельности правительства, наконец, за распространение ложных слухов вообще. В России «временные правила» всякого рода являются по общему правилу самой долговечной формой закона. Так случилось и с временными правилами о печати. Изданные впредь до созыва Государственной Думы, они подверглись общему бойкоту и повисли в воздухе, как и все министерство Витте. Но победа контр-революции в декабре расчистила почву для виттевского закона о печати. Он вошел в жизнь и дополненный новеллой, карающей за восхваление преступлений, с одной стороны, и дискреционной властью губернаторов и градоначальников,—с другой, пережил первую Думу, пережил вторую и благополучно переживет третью...

* * *

В связи с историей борьбы за свободу печати нам остается еще рассказать о том, как издавались «Известия» Совета Рабочих Депутатов. Ибо история издания этих бюллетеней революции образует интересную страничку в главе о борьбе русского пролетариата за освобождение слова.

Первый номер был напечатан еще до «конституции» в небольшом объеме и незначительном количестве—в частной типографии, тайно, за деньги. Второй номер печатался 18 октября [1]. Группа добровольцев отправилась в типографию радикального «Сына Отечества», который несколько позже перешел в руки социалистов-революционеров. Администрация колеблется. Положение еще совершенно смутно, и неизвестно, какими последствиями грозит печатание революционного издания.

— Вот если бы вы нас арестовали,—замечает кто-то из администрации.

---

[1]) Все дальнейшие эпизоды изложены нами по заметке главного организатора «летучих типографий» Совета, т. Симановского: «Как печатались Известия Совета Рабочих Депутатов».

— Вы арестованы,—отвечают ему.

— Силою оружия,—добавляет другой, вытаскивая из кармана револьвер.

— Вы арестованы! Все арестованы!—раздается в типографии и редакции.

— Впускать всех, но никого не выпускать!

— Где ваш телефон?.. Станьте к телефону!—отдаются приказания.

Работы начались, а в типографию прибывают все новые и новые лица. Являются сотрудники, собираются за расчетом наборщики. Наборщиков приглашают в мастерские и привлекают к набору, сотрудникам поручают писать заметки. Работа кипит.

Занята типография «Общественная Польза». Входы заперты. Приставлена стража.

В стереотипную входит местный стереотипер. Матрицы выколачиваются, разжигается печь. Вокруг—все незнакомые лица.

— Кто тут распоряжается? Кто позволил?—горячится прибывший и начинает тушить печь. Его осаживают и грозят запереть в чулан.—Да в чем же тут дело?

Ему объясняют, что печатается № 3 «Известий» Совета Рабочих Депутатов.

— Так вы бы так и сказали... Разве что?.. Я всегда готов...— и работа закипела под опытной рукой хозяина дела.

— Как же вы будете печатать? У нас нет электричества?— спрашивает арестованный раньше управляющий.

— С какой станции вы его получаете? Оно будет через полчаса.

Управляющий называет станцию, но скептически относится к сделанному заявлению. Он сам уже несколько дней тщетно добивается электричества хотя бы только для освещения квартир, так как станция, на которой матросы замещали бастующих рабочих, работала только для казенных учреждений.

Ровно через полчаса электричество пробегает по лампочкам, и моторы могут работать. На лицах администрации почтительное изумление. Через несколько минут возвращается посланный рабочий с запиской офицера, заведующего электрической станцией. «По требованию Совета Рабочих Депутатов электричество отпущено в дом № 39 по Большой Подьяческой улице, для типографии «Общественной Пользы». Следует подпись.

Дружно и весело печатают напавшие и «арестованные» совместно третий номер в огромном количестве экземпляров.

В конце концов, место печатания «Известий» становится известным и полиции. Она является в типографию, но уже поздно: «Известия» увезены, гранки разобраны. Только в ночь на 4-ое ноября, уже во время второй забастовки, полиции удалось настигнуть летучую дружину «Известий» за печатанием. Это произошло в типографии «Нашей Жизни», где работа шла уже вторые сутки. Получив отказ открыть двери, полиция взломала их. «Под охраной роты стрелков, с ружьями наперевес, с револьверами наготове,—рассказывает Симановский,—ворвались городовые и пристава в типографию, но сами сконфузились пред мирной картиной труда наборщиков, спокойно продолжавших свое дело при появлении штыков».



А. СИМАНОВСКИЙ,

ОРГАНИЗАТОР ЗАХВАТА БОЛЬШИХ ТИПОГРАФИЙ ДЛЯ ПЕЧАТАНИЯ „ИЗВЕСТИЙ СОВЕТА".

— Мы все здесь находимся по распоряжению Совета Рабочих Депутатов,—заявили работающие,—и требуем удаления полиции, так как в противном случае мы лишены будем возможности отвечать за целость типографского имущества.

Пока шли переговоры с полицией, пока она собирала оригиналы и корректуры и припечатывала их к столам и реалам, арестованные не теряли времени и вели агитацию среди солдат и городовых: читали им вполголоса обращение Совета к солдатам и раздавали «Известия» по рукам. Затем наборщики были переписаны и отпущены, двери типографии опечатаны, и к выходам приставлена полицейская стража. Но—увы!—прибывшие на другой день следственные власти ничего не нашли. Двери были заперты, печати—целы, но ни набора, ни корректур, ни оригиналов не оказалось. Все

было перенесено в типографию «Биржевых Ведомостей», где в это время беспрепятственно совершалось печатание № 6 «Известий».

6-го ноября вечером было совершено наиболее крупное предприятие этого рода—захват колоссальной типографии «Нового Времени». Влиятельная рептилия посвятила на другой день этому событию две статьи, из которых одна была озаглавлена: «Как печатается официальная пролетарская газета».

Вот в каком виде представляется это дело по изображению «потерпевшей»:

Около 6 часов вечера в типографию газеты явились трое молодых людей... Случайно в это же время туда зашел управляющий типографией. Ему доложили о пришедших, и он пригласил их в контору типографии.

— Удалите всех,—обратился один из них к управляющему,—нам необходимо с вами переговорить наедине.

— Вас трое, я один,—ответил управляющий,—и я предпочитаю говорить при свидетелях.

— Мы просим удалить посторонних в соседнюю комнату. нам всего два слова вам сказать надо.

Управляющий согласился. Тогда пришельцы объявили ему, что они явились по приказанию Исполнительного Комитета и что им предписано захватить типографию «Нового Времени» и напечатать в ней № 7 «Известий».

— Я не могу вам ничего сказать по этому поводу,—заявил депутатам управляющий.—Типография не моя; я должен переговорить с хозяином.

— Вы не можете выйти из типографии, вызовите хозяина сюда, раз он вам нужен,—ответили депутаты.

— Я могу передать ему о вашем предложении по телефону.

— Нет, вы можете лишь вызвать его по телефону в типографию.

— Хорошо...

Управляющий направился к телефону в сопровождении двух депутатов и вызвал Суворина (сына). Тот отказался, ссылаясь на нездоровье, и прислал вместо себя члена редакции Гольдштейна. Этот последний описывает дальнейший ход событий довольно правдиво, лишь с легкими подчеркиваниями, которые должны в выгодном свете представить его собственное гражданское мужество. «Когда я подошел к типографии,—рассказывает он,—

газовые фонари не горели, вся улица была почти совсем погружена в темноту. У дома типографии и рядом я заметил несколько кучек народу, а у самых ворот на панели человек восемь-десять. Во дворе у самой калитки было человека три-четыре. Меня встретил десятник и проводил в контору. Там сидел управляющий типографией и три неизвестных молодых человека,—повидимому, рабочих. Когда я вошел, они поднялись мне навстречу.

— Что скажете, господа?—спросил я.

Вместо ответа один из молодых людей предъявил мне бумагу с предписанием от Совета Рабочих Депутатов печатать следующий номер «Известий» в типографии «Нового Времени». Предписание было написано на клочке бумаги и к нему была приложена какая-то печать.

— Дошла очередь и до вашей типографии,—заявил мне один из посланцев.

— То-есть, что это значит: «дошла очередь»?—спросил я.

— Мы печатали в «Руси», в «Нашей Жизни», в «Сыне Отечества», в «Биржевых Ведомостях», а теперь вот у вас... Вы должны дать честное слово за Суворина и за вас, что не донесете на нас, пока мы не кончим работы.

— Я не могу отвечать за Суворина и не желаю давать честное слово за себя.

— В таком случае мы вас отсюда не выпустим.

— Я выйду силою. Предупреждаю вас, что я вооружен...

— Мы вооружены не хуже вас,—ответили депутаты, вынимая револьверы.

— Позовите сторожа и десятника,—обратились к управляющему депутаты.

Он взглянул на меня вопросительно. Я развел руками. Позвали сторожа. Потребовали, чтоб он снял полушубок. Десятника пригласили в контору. Мы все были арестованы. Через минуту по лестнице послышались шаги подымающейся толпы; в дверях конторы, в передней стояли люди.

Захват состоялся.

Трое депутатов куда-то выходили, входили, проявляли весьма энергичную деятельность...

— Позвольте спросить,—обратился я к одному из депутатов,—вы на какой машине соблаговолите работать?

— На ротационной.

— А если испортите?

— У нас прекрасный мастер.

— А бумага?

— У вас возьмем.

— Да ведь это квалифицированный грабеж!

— Что делать...

В конце-концов, г. Гольдштейн смирился, дал обет молчания и был отпущен. «Я спустился вниз,—рассказывает он.—Под воротами стояла непроглядная тьма. У самых ворот в полушубке, снятом со сторожа, дежурил «пролетарий» с револьвером. Другой зажег спичку, третий вставил ключ в скважину. Щелкнул замок, калитка открылась и я вышел...

«Ночь прошла спокойно. Управляющий типографией, которому предложили отпустить его на честное слово, отказался уйти. Пролетарии его оставили... Набор шел сравнительно медленно, да и рукописи поступали чрезвычайно медленно. Ждали текущего материала, который еще не поступил в типографию. Когда управляющий давал советы торопиться работой, ему отвечали: «Успеем, нам спешить некуда». Уже к утру, к пяти часам, появились ментранпаж и корректор, повидимому, народ очень опытный...

«Наборная работа окончилась в 6 ч. утра. Начали выколачивать матрицы и отливать стереотип. Газа, которым согревали печи для стереотипа, не было (из-за забастовки). Послали куда-то двух рабочих, и газ появился. Все лавки были заперты, но в течение ночи провизия добывалась беспрерывно. Для пролетариев лавки открывались. В 7 часов утра приступили к печатанию официальной пролетарской газеты. Работали на ротационной машине и работали удачно. Печатание длилось до 11 часов утра. К этому времени типографию очистили, унося с собой пачки отпечатанной газеты. Увозили ее на извозчиках, которых собрали в достаточном количестве из разных концов... Полиция обо всем узнала на другой день и сделала большие глаза...»

Уже через час после окончания работ большой полицейский наряд в сопровождении роты пехоты, казаков и дворников ворвался в помещение Союза рабочих печатного дела для конфискации № 7 «Известий». Полиция встретила самый энергичный отпор. Ей заявили, что имеющиеся в наличности номера (всего 153 из отпечатанных 35.000) добровольно выданы не будут. Во многих

типографиях наборщики, узнав о вторжении полиции в помещение их Союза, немедленно приостановили только что возобновленные после ноябрьской стачки работы, выжидая дальнейшего развития событий. Полиция предложила компромисс: присутствующие отвернутся, полиция выкрадет «Известия», а в протокол запишет, что конфискация произведена силой. Но компромисс был решительно отвергнут. Применять силу полиция не решилась — и отступила в полном боевом порядке, не захватив ни одного экземпляра «Известий».

После захвата типографии «Нового Времени» градоначальник объявил по полиции, что полицейские чины, в участке которых будет произведен новый захват подобного рода, подвергнутся самому строгому взысканию. Исполнительный Комитет ответил, что «Известия», выходящие только во время общих забастовок, будут в случае надобности и впредь издаваться в прежнем порядке. И действительно во время декабрьской стачки второй Совет Рабочих Депутатов (после ареста первого состава) выпустил еще четыре номера «Известий».

Подробное сообщение «Нового Времени» о произведенном на его типографию набеге имело совершенно неожиданный результат. Революционеры провинции воспользовались готовым образцом,—и с этого времени захват типографий для печатания революционной литературы широко распространяется по всей России... Впрочем, о захвате в данном случае можно говорить лишь с большими оговорками. Мы уже не говорим о типографиях левых газет, где администрация хотела только одного: избежать ответственности, и потому сама выражала полную готовность быть арестованной. Но и в наиболее громком эпизоде с «Новым Временем» захват был бы невозможен без пассивного или активного сочувствия всего штата служащих. После того, как руководивший захватом провозглашал «осадное положение» и тем снимал ответственность с персонала типографии, грань между осаждающими и осажденными стиралась, «арестованный» наборщик брался за революционный оригинал, мастер становился у своей машины, а управляющий подбадривал и своих и чужих к более быстрой работе. Не строго рассчитанная техника захватов и уж, разумеется, не физическое насилие обеспечивали успех, а та революционная атмосфера общего сочувствия, вне которой немыслима была бы вся деятельность Совета.

На первый взгляд может, однако, показаться непонятным, почему собственно для печатания своей собственной газеты Совет выбрал рискованный путь ночных набегов. Социал-демократическая пресса выходила в это время совершенно открыто. По тону она мало отличалась от «Известий». Постановления Совета, отчеты об его заседаниях она печатала целиком. Правда, «Известия» выходили почти исключительно во время общих забастовок, когда вся остальная пресса молчала. Но ведь от самого Совета зависело сделать изъятие для легальных социал-демократических газет и тем освободить себя от необходимости набегов на типографии буржуазной прессы. Он, однако, этого не сделал. Почему?

Если поставить этот вопрос изолированно, на него нельзя ответить. Но все становится понятным, если взять Совет целиком, в его возникновении, во всей его тактике, как организованное воплощение верховного права революции в момент ее высшего напряжения, когда она не может и не хочет приспособляться к своему врагу, когда она идет напролом, героически расширяя свою территорию и снося прочь препятствия. Во время всеобщих стачек, когда замирала вся жизнь, старая власть считала для себя вопросом чести непрерывно печатать свой «Правительственный Вестник», и она делала это под охраной солдат. Совет противопоставлял ей свои рабочие дружины и выпускал в свет орган революции.

---

## Оппозиция и революция.

Итак, манифест не только не водворил порядка, наоборот, он помог до конца вскрыться противоречию между социальными полюсами: дворянско-бюрократической погромной реакцией и рабочей революцией. В первые дни, вернее, часы казалось даже, что манифест не внес никаких перемен в настроение самых умеренных элементов оппозиции. Однако это только казалось. 18 октября одна из самых сильных организаций капитала, так называемая «совещательная контора железозаводчиков» писала гр. Витте: «Мы должны прямо заявить: Россия верит только фактам; ее кровь и ее нищета не позволяют уже верить словам». Выдвигая требование полной амнистии, совещательная контора «с особым удовольствием констатирует», что со стороны революционных масс проявление насилий было крайне ограничено и что они действовали с соблюдением неслыханной дисциплины. Не будучи, по собственному заявлению, «в теории» поклонницей всеобщего избирательного права, контора убедилась, что «рабочий класс, проявивший с такой силой свое политическое сознание и свою партийную дисциплину, должен принять участие в народном самоуправлении». Все это было широко и великодушно, но—увы!—крайне недолговечно. Было бы слишком грубо утверждать, что мы имеем тут дело с исключительно декоративной политикой. Несомненно, что значительную роль играл при этом элемент иллюзии: капитал отчасти еще надеялся, что широкая политическая реформа немедленно позволит беспрепятственно вращаться маховому колесу индустрии. Этим объясняется тот факт, что значительная часть предпринимателей—если не большинство—заняли по отношению в самой октябрьской стачке положение дружественного нейтралитета. К закрытию заводов почти не прибегали. Владельцы металлических фабрик Московского района постановили отказаться от услуг казаков. Но наиболее

общей формой выражения сочувствия к политическим целям борьбы была выдача рабочим заработной платы за все время октябрьской забастовки: в ожидании расцвета индустрии при «правовом режиме» либеральные предприниматели беспрекословно вписывали этот расход в рубрику экстренных издержек производства. Но, уплачивая рабочим за прогульные дни, капитал четко и сухо сказал: в последний раз! Сила натиска, проявленная рабочими, внушила ему необходимость быть настороже. Его лучшие надежды не сбылись: движение масс после издания манифеста не затихло; наоборот, оно с каждым днем ярче обнаруживало свою силу, свою самостоятельность, свой социально-революционный характер. В то время как плантаторам сахарного производства грозила конфискация земель, всей капиталистической буржуазии в целом приходилось шаг за шагом отступать пред рабочими, повышая заработную плату и сокращая рабочий день.

Но помимо страха пред революционным пролетариатом, лихорадочно возраставшего в течение двух последних месяцев 1905 г., были более узкие, но не менее острые интересы, которые гнали капитал к немедленному союзу с правительством. На первом месте стояла прозаическая, но неотразимая нужда в деньгах, и объектом предпринимательских вожделений и атак был Государственный Банк. Это учреждение служило гидравлическим прессом той «экономической полиции» самодержавия, великим мастером которой в течение десятилетия своего финансового хозяйничанья был Витте. От операций банка, а вместе с тем от взглядов и симпатий министра, зависело быть или не быть крупнейших предприятий. В числе других причин—противоуставные ссуды, учеты фантастических векселей, вообще фаворитизм в сфере экономической политики не мало способствовал оппозиционному перерождению капитала. Когда же под тройным влиянием войны, революции и кризиса банк свел операции к минимуму, многие капиталисты попали в тиски. Им стало не до общих политических перспектив,—нужны были деньги во что бы то ни стало. «Мы не верим словам,—сказали они графу Витте в 2 часа ночи с 18 на 19 октября,—дайте нам факты». Граф Витте запустил руку в кассу Государственного Банка и дал им «факты»... Много фактов. Учет резко поднялся—138,5 миллионов рублей в ноябре и декабре 1905 г. против 83,1 миллионов за тот же период 1904 г. Кредитование частных банков увеличилось еще зна-

чительнее: 148,2 милл. рублей на 1 декабря 1905 г. против 39 милл. на 1904 г. Возросли и все другие операции. «Кровь и нищета России», предъявленные, как мы видели выше, капиталистическим синдикатом, были учтены правительством Витте,—и в итоге образовался «Союз 17 октября». Таким образом непосредственно у изголовья этой партии лежит не столько политическая подачка, сколько денежная взятка. В лице предпринимателей, организованных в свои «профессиональные» или политические союзы, Совет Рабочих Депутатов с первых своих шагов встретил решительного и сознательного врага.

Но если октябристы, по крайней мере, сразу заняли резкую анти-революционную позицию, то в самом жалком виде выступает в те дни политическая роль партии интеллигентско-мещанского радикализма, которая полгода спустя щеголяла ложно-классическим пафосом на подмостках Таврического Дворца. Мы имеем в виду кадетов.

В самый разгар октябрьской забастовки заседал учредительный съезд конституционно-демократической партии. Съехалось менее половины делегатов. Остальным железнодорожная стачка перерезала путь. 14 октября новая партия определила свое отношение к событиям: «Ввиду полного согласия в требованиях она считает долгом заявить свою полную солидарность с забастовочным движением. Она решительно (решительно!) отказывается от мысли добиться своих целей «путем переговоров с представителями власти». Она сделает все, чтобы предотвратить столкновение, но, если не удастся, она заранее объявляет, что ее сочувствие и ее поддержка на стороне народа. Через три дня был подписан конституционный манифест. Революционные партии вырвались из проклятого подполья и, не успев отереть кровавый пот с чела, погрузились с головой в народные массы, призывая и объединяя их для борьбы. Это было великое время, когда сердце народа перековывается молотом революции.

Но что тут было делать кадетам, политикам во фраках, судебным ораторам, трибунам земских собраний? Они пассивно ждали движения конституционных вод. Манифест был, но парламента не было. И они не знали, когда и как он придет и придет ли вообще. Правительству они не верили и еще меньше верили революции. Их затаенной мечтой было—спасти революцию от нее самой, но они не видели средств. На народные собрания они

выходить не смели. Их пресса была органом их дряблости и трусости. Ее мало читали. Таким образом в этот наиболее ответственный период русской революции кадеты оказались за штатом. Год спустя, признавая этот факт целиком, Милюков старался оправдать свою партию—не в том, что она не бросила своих сил на чашу весов революции, а в том, что она не пыталась преградить ей путь. «Выступление даже такой партии, как конституционно-демократическая,—пишет он во время выборов во Вторую Думу,—было абсолютно невозможно в последние месяцы 1905 г. Те, кто упрекает теперь партию, что она не протестовала тогда же, путем устройства митингов, против революционных иллюзий троцкизма... просто не понимают или не помнят тогдашнего настроения собиравшейся на митинги демократической публики». Таково оправдание «народной» партии: она не решалась выйти к народу, чтоб не испугать его своей физиономией!

Более достойную роль в этот период сыграл Союз Союзов. Всеобщий характер октябрьской стачки был достигнут при активном содействии радикальной интеллигенции. Организуя стачечные комитеты, посылая от имени их депутации, она прекращала деятельность таких учреждений, которые стоят вне непосредственного воздействия рабочих. Таким образом были приостановлены работы в земских и городских управах, банках, конторах, правлениях, судах, школах, даже в сенате. Немаловажное значение имела также денежная помощь, какую организация левого крыла интеллигенции оказывала Совету Рабочих Депутатов. Тем не менее, то представление о титанической роли Союза Союзов, какое создала буржуазная пресса России и Запада, наблюдая его деятельность на открытой для всех арене, совершенно фантастично. Союз Союзов ведал интендантскую часть революции и в лучшем случае выступал, как ее вспомогательный боевой отряд. На руководящую роль он сам никогда не претендовал.

Да и мог ли? Его первоначальной единицей был все тот же образованный филистер, которому история окарнала крылья. Революция всполошила его и приподняла над самим собою. Она оставила его без газеты, потушила в его квартире электрическую лампу и на темной стене начертала огненные письмена каких-то новых смутных, но великих целей. Он хотел верить—и не смел. Хотел подняться ввысь—и не мог. Может быть, мы

лучше поймем драму его души, если возьмем его не в тот момент, когда он пишет радикальную резолюцию, а посмотрим его на дому за чайным столом.

* * *

На другой день после прекращения стачки я посетил одну знакомую семью, жившую в нормальной городской атмосфере мещанского радикализма. В столовой на стене висела программа нашей партии, только что отпечатанная на больших листах бумаги: это было приложение к первому после стачки номеру социал-демократической газеты. Вся семья была в возбуждении.

— Ну, ну... недурно.

— Что такое?

— Еще спрашивает. Ваша программа: прочитайте-ка, что тут написано.

— Мне уже приходилось читать ее не раз.

— Нет, не угодно ли!.. Ведь тут буквально сказано: «партия ставит своей ближайшей политической задачей низвержение царского самодержавия—вы понимаете: низвержение,— и замену его демократической республикой... рес-пу-бли-кой»! Вы понимаете это?

— Кажется, понимаю.

— Ведь это же легально напечатано, ведь это же открыто продается на глазах полиции, ведь это же у Зимнего Дворца за пятак купить можно! Уничтожение царского самодержавия— «в розничной продаже пять копеек»! Нет, каково!

— Что же, нравится вам это?

— Ах, что там: «нравится»... Разве обо мне речь? Нет, вот *те*, в Петергофе, должны теперь все это нюхать. Я спрашиваю вас: нравится ли это им?

— Сомневаюсь!

Больше всего был возбужден pater familias. Еще две-три недели тому назад он ненавидел социал-демократию тупой ненавистью радикального мещанина, зараженного в молодости народническими предрассудками, сегодня он питал к ней совершенно новое чувство—смесь обоготворения с трепетом.

— Утром мы эту самую программу читали в дирекции Императорской Публичной Библиотеки,—туда тоже прислали этот номер... Вот бы вы поглядели на этих господ! Директор пригла-

сил обоих помощников и меня, запер дверь и прочитал нам программу от А до Ижицы. Клянусь вам честью, у всех дыханье сперло.—Что вы на это скажете, Николай Николаевич?—спрашивает меня директор.

— Нет-с, что *вы* скажете, Семен Петрович?—отвечаю я ему.

— Знаете,—говорит,—у меня язык отнялся. Давно ли пристава нельзя было в газете затронуть? А сегодня открыто говорят Его Величеству Государю Императору: пошел вон! Эти люди не заботятся об этикете, нет, нет... Что на уме, то и на языке... Один из помощников говорит: «немножко только тяжеловато написана эта штучка, слог бы надо полегче»... А Семен Петрович посмотрел на него поверх очков: «Ведь это вам не воскресный фельетон, почтеннейший, а программа партии»... И знаете, на чем они закончили, эти господа из Публичной Библиотеки? «А как,—спрашивают они,—принимаются члены в социал-демократическую партию?» Как вам это нравится?

— Чрезвычайно.

— Гм... а как в действительности принимаются члены в вашу партию?—спрашивает слегка колеблясь, мой собеседник.

— Нет ничего проще. Главное условие—признание программы. Затем нужно вступить в местную организацию и правильно платить взносы. Ведь программа вам нравится?

— Чорт возьми, недурная вещь, этого нельзя отрицать... Но как вы смотрите на настоящее положение? Только говорите со мной не как редактор социал-демократической газеты, а совершенно откровенно... До демократической республики, конечно, еще далеко, но ведь конституция все-таки на-лицо?

— Нет, на мой взгляд республика гораздо ближе, а конституция гораздо дальше, чем вам кажется.

— А что ж у нас теперь, чорт возьми? Разве это не конституция?

— Нет, это лишь пролог к военному положению.

— Что? Вздор. Это ваш газетный жаргон. Вы сами этому не верите. Фантасмагории!

— Нет, чистейший реализм. Революция растет в силе и в дерзости. Посмотрите, что делается на фабриках и заводах, на улицах... Поглядите, наконец, на этот лист бумаги, который висит на вашей стене. Две недели тому назад вы бы его не повесили. А как они, в Петергофе, на это смотрят?—спрошу я вас

вашими же словами. Ведь они еще живут и хотят жить. И в их распоряжении еще армия. Не надеетесь ли вы, что они без боя сдадут свои позиции? Нет-с, прежде, чем очистить место, они пустят в ход всю свою силу—до последнего штыка.

— А манифест? А амнистия? Ведь это же факты.

— Манифест только объявление мимолетного перемирия, только передышка. А амнистия?.. Из ваших окон вы видите днем шпиц Петропавловской крепости: она стоит еще твердо. И «Кресты» тоже. И охранное отделение тоже... Вы сомневатесь в моей искренности, Николай Николаевич, а я вам вот что скажу: я лично вполне подхожу под амнистию, однако я не спешу легализоваться. Я живу и буду жить до развязки по своему фальшивому паспорту. Манифест не изменил ни моего правового положения, ни моей тактики.

— Может быть, в таком случае, господа, вам следовало бы держаться более осторожной политики?

— Например?

— Не говорить о низвержении самодержавия.

— Значит, вы думаете, что, если мы будем вежливее выражаться, в Петергофе согласятся на республику и конфискацию земель?

— Гм... я думаю, что вы все-таки преувеличиваете...

— Поглядим... Прощайте: мне пора на заседание Совета. А как же со вступлением в партию? Только прикажите—и мы вас в две минуты запишем.

— Спасибо, спасибо... время еще терпит с этим... положение так неопределенно... мы еще поговорим... Всего хорошего!

---

# Ноябрьская стачка.

От опасности к опасности, среди тысячи подводных рифов, пробиралось октябрьское министерство. Куда? Оно этого не знало само.

26 и 27 октября вспыхнуло в Кронштадте, на расстоянии трех пушечных выстрелов от Петербурга, военное восстание. Политически сознательная часть солдат удерживала массу от вспышки, но стихийная ярость прорвалась наружу. Не остановив движения, лучшие элементы армии стали впереди его. Им, однако, не удалось предупредить провоцированных властями хулиганских погромов, в которых главную роль играли банды известного чудотворца Иоанна Кронштадтского, увлекшие за собой наиболее темную часть матросов. 28-го Кронштадт был объявлен на военном положении, и несчастное восстание было подавлено. Лучшим солдатам и матросам грозила казнь.

В день взятия Кронштадтской крепости правительство сделало решительное предостережение стране, объявив всю Польшу на военном положении: это была первая крупная кость, которую министерство манифеста выбросило петергофской камарилье на одиннадцатый день своего существования. Граф Витте взял на себя целиком ответственность за этот шаг: в правительственном сообщении он лгал о дерзновенной попытке (!) поляков к отложению и предостерегал их от вступления на опасный путь, «не в первый раз ими испытываемый». На второй день уже ему, чтоб не оказаться в плену у Трепова, пришлось ударить отбой: он признал, что правительство считалось не столько с действительными событиями, сколько с возможными последствиями их развития—ввиду «чрезмерной впечатлительности поляков». Таким образом военное положение было своего рода конституционной данью политическому темпераменту польского народа.

29 октября был объявлен на военном положении целый ряд уездов Черниговской, Саратовской и Тамбовской губерний,

охваченных аграрными волнениями. «Чрезмерная впечатлительность» оказывалась и у тамбовских мужиков.

Либеральное общество защелкало зубами от страха. Оно могло сколько угодно строить презрительные рожи в ответ на заигрывания Витте,—в душе оно крепко надеялось на него. Теперь же из-за спины Витте уверенно выступил Дурново, у которого оказалось достаточно ума, чтобы из афоризма Кавура: «осадное положение есть способ управления дураков» сделать обратную теорию для собственного руководства.

Революционный инстинкт подсказал рабочим, что оставить безнаказанной открытую атаку контр-революции значит поощрять ее наглость. 29, 30 и 1 происходят на большинстве петербургских заводов массовые митинги, которые требуют от Совета решительных мер протеста.

1 ноября после горячих дебатов Совет на многочисленном и бурном заседании принял подавляющим большинством следующее решение:

«Правительство продолжает шагать по трупам. Оно предает полевому суду смелых кронштадтских солдат армии и флота, восставших на защиту своих прав и народной свободы. Оно закинуло на шею угнетенной Польши петлю военного положения.

«Совет Рабочих Депутатов призывает революционный пролетариат Петербурга посредством общей политической забастовки, уже доказавшей свою грозную силу, и посредством общих митингов протеста проявить свою братскую солидарность с революционными солдатами Кронштадта и революционными пролетариями Польши.

«Завтра, 2 ноября, в 12 часов дня, рабочие Петербурга прекращают работы с лозунгами: Долой полевые суды! Долой смертную казнь! Долой военное положение в Польше и во всей России!»

Успех призыва превзошел все ожидания. Несмотря на то, что после прекращения октябрьской стачки, поглотившей столько сил, не прошло и двух недель, петербургские рабочие с поразительным единодушием бросали работу. До 12 час. 2 ноября бастовали уже все крупные фабрики и заводы, имевшие своих представителей в Совете. Многие средние и мелкие промышленные заведения, еще не принимавшие участия в политической борьбе, примыкали теперь к стачке, выбирали депутатов и посылали их в Совет. Областной Комитет петербургского железнодорожного



В ПРИБАЛТИЙСКОМ КРАЕ. РАССТРЕЛЯННЫЕ НА ДОРОГЕ.

узла присоединился к решению Совета, и все железные дороги, кроме Финляндской, прекратили свою деятельность. По общему числу участников-рабочих ноябрьская стачка превзошла не только январскую, но и октябрьскую. Не бастовали почта и телеграф, извозчики, конный трамвай и большинство приказчиков. Из газет выходили только: «Правительственный Вестник», «Ведомости петербургского Градоначальства» и «Известия Совета Рабочих Депутатов», первые две—под охраною солдат, третья—под охраной боевых рабочих дружин.

Граф Витте был совершенно застигнут врасплох. Две недели тому назад он думал, что, раз власть в его руках, ему остается лишь поощрять, вести, останавливать, угрожать, руководить... Ноябрьская стачка, этот возмущенный протест пролетариата против правительственного лицемерия, совершенно сбила великого государственного человека с позиции. Ничто так не характеризует его непонимания смысла революционных событий, его ребяческой растерянности пред ними и, вместе с тем, его надутого самомнения, как та телеграмма, которою он думал утихомирить пролетариат. Вот ее текст во всей неприкосновенности:

«Братцы-рабочие, станьте на работу, бросьте смуту, пожалейте ваших жен и детей. Не слушайте дурных советов. Государь приказал нам обратить особое внимание на рабочий вопрос. Для этого его императорское величество образовал министерство торговли и промышленности, которое должно установить справедливые отношения между рабочими и предпринимателями. Дайте время—все возможное будет для вас сделано. Послушайте совета человека, к вам расположенного и желающего вам добра. Граф Витте».

Эта бесстыдная телеграмма, в которой трусливая злоба, с ножом за пазухой, корчит гримасы высокомерного дружелюбия, была получена и оглашена в заседании Совета 3 ноября и вызвала вихрь негодования. Тут же был с бурным единодушием принят предложенный нами ответ, опубликованный через день в «Известиях»:

«Совет Рабочих Депутатов, выслушав телеграмму графа Витте к «братцам-рабочим», выражает прежде всего свое крайнее изумление по поводу бесцеремонности царского временщика, позволяющего себе называть петербургских рабочих «братцами». Пролетарии ни в каком родстве с графом Витте не состоят.

«По существу Совет заявляет:

«1. Граф Витте призывает нас пожалеть наших жен и детей. Совет Рабочих Депутатов призывает в ответ всех рабочих подсчитать, сколько вдов и сирот прибавилось в рабочих рядах с того дня, как Витте взял в свои руки государственную власть.

«2. Граф Витте указывает на милостивое внимание государя к рабочему народу. Совет Рабочих Депутатов напоминает петербургскому пролетариату о кровавом воскресении 9 января.

«3. Граф Витте просит дать ему «время» и обещает сделать для рабочих «все возможное». Совет Рабочих Депутатов знает, что Витте уже нашел время для того, чтобы отдать Польшу в руки военных палачей, и Совет Рабочих Депутатов не сомневается, что г. Витте сделает все возможное, чтобы задушить революционный пролетариат.

«4. Граф Витте называет себя человеком, расположенным к нам и желающим нам добра. Совет Рабочих Депутатов заявляет, что он не нуждается в расположении царских временщиков. Он требует народного правительства на основе всеобщего, равного, прямого и тайного избирательного права».

Осведомленные люди передавали, что с графом приключился припадок удушья, когда он получил ответ от бастующих «братцев».

5 ноября Петербургское телеграфное агентство сообщало: «Ввиду распространившихся в провинции (!) слухов о применении военно-полевого суда и смертной казни к нижним чинам, участвовавшим в беспорядках в Кронштадте, мы уполномочены заявить, что все подобные слухи преждевременны (?) и лишены основания... Полевым судом участники кронштадтских событий судимы не были и не будут». Это категорическое заявление означало не что иное, как капитуляцию правительства перед забастовкой и этого факта не могла, конечно, скрыть ребяческая ссылка на «слухи в провинции» в то время, как протестующий пролетариат Петербурга приостановил торгово-промышленную жизнь столицы. По вопросу о Польше правительство пошло на уступки еще раньше, объявив о своем намерении снять военное положение в губерниях Царства Польского, как только там «уляжется возбуждение» [1]).

---

[1]) Военное положение было снято указом 12 ноября.

Вечером 5 ноября Исполнительный Комитет, считая, что высший психологический момент достигнут, внес на заседание Совета резолюцию о прекращении стачки. Для характеристики политического положения в тот момент, мы приведем речь докладчика Исполнительного Комитета:

«Только что была оглашена правительственная телеграмма, в которой говорится, что кронштадтские матросы предаются не военно-полевому суду, а военно-окружному суду.

«Опубликованная телеграмма представляет не что иное, как демонстрацию слабости царского правительства, не что иное, как демонстрацию нашей силы. Мы снова можем поздравить пролетариат Петербурга с огромной моральной победой. Но скажем прямо: если бы это правительственное заявление и не появлялось, мы все равно должны были бы призвать петербургских рабочих к прекращению стачки. По сегодняшним телеграммам видно, что везде в России политическая манифестация идет на убыль. Наша настоящая забастовка имеет характер демонстративный. Только под этим углом зрения мы можем оценивать ее успех или неуспех. Нашей прямой и непосредственной целью было показать пробуждающейся армии, что рабочий класс—за нее, что молчаливо он не даст ее в обиду. Разве мы не достигли этой цели? Разве мы не привлекли к себе сердце каждого честного солдата? Кто станет это отрицать? А если так, можно ли утверждать, что мы ничего не добились, можно ли смотреть на окончание забастовки, как на наше поражение? Разве мы не показали всей России, что через несколько дней после окончания великой октябрьской борьбы, когда рабочие еще не успели омыть кровь и залечить раны, дисциплинированность масс оказалась настолько высокой, что по одному слову Совета все снова забастовали, как один человек. Смотрите! к забастовке примкнули на этот раз самые отсталые заводы, никогда раньше не бастовавшие, и здесь, в Совете, заседают теперь вместе с нами их депутаты. Передовые элементы армии устроили митинги протеста и таким образом приняли участие в нашей манифестации. Это ли не победа? Это ли не блестящий результат? Товарищи, мы сделали то, что должны были сделать. Европейская биржа снова салютовала нашей силе. Одно сообщение о постановлении Совета Рабочих Депутатов отразилось крупным падением нашего курса за границей. Таким образом каждое наше постановление—было ли оно ответом гр. Витте

или правительству в целом—наносило абсолютизму решительный удар.

«Некоторые товарищи требуют, чтобы забастовка продолжалась до передачи кронштадтских матросов суду присяжных и до отмены военного положения в Польше. Другими словами—до падения существующего правительства, ибо против нашей забастовки—в этом нужно отдать себе ясный отчет, товарищи, царизм выдвинет в с е свои силы. Если смотреть на дело так, что целью нашего выступления должно быть свержение самодержавия, то, разумеется, мы не достигли цели. С этой точки зрения нам нужно было затаить негодование в груди и отказаться от демонстрации протеста. Но наша тактика, товарищи, вовсе не построена по этому образцу. Наши выступления—это ряд последовательных битв. Цель их—дезорганизация врага и завоевания симпатии новых друзей. А чья симпатия для нас важнее сочувствия армии? Поймите: обсуждая вопрос—продолжать забастовку или нет, мы в сущности обсуждаем вопрос, оставить ли за забастовкой демонстративный характер или обратить ее в решительный бой, т.-е. довести до полной победы или поражения. Мы не боимся ни сражений, ни поражений. Наши поражения—это только ступени нашей победы. Мы это уже не раз доказывали нашим врагам. Но для каждого боя мы ищем наиболее благоприятных условий. События работают на нас, и нам не к чему форсировать их ход. Я спрашиваю вас, для кого выгодно оттянуть решительное столкновение—для нас или для правительства? Для нас, товарищи! Ибо завтра мы будем сильнее, чем сегодня, а послезавтра—сильнее, чем завтра. Не забывайте, товарищи, что только недавно для нас создались те условия, при которых мы можем устраивать тысячные митинги, организовывать широкие массы пролетариата и с революционным печатным словом обращаться ко всему населению страны. Необходимо возможно более использовать эти условия для самой широкой агитации и организации в рядах пролетариата. Период подготовки масс к решительным действиям мы должны затянуть, сколько можем, сколько успеем, быть может, на месяц—два, чтобы затем выступить возможно более сплоченной и организованной армией. Правительству, конечно, было бы удобнее расстрелять нас сейчас, когда мы менее готовы к окончательному сражению. У некоторых товарищей возникает сегодня, как и в день отмены похоронной манифе-

станции, следующие сомнение: ударив сейчас отбой, сможем ли мы в другой момент снова поднять массу? Не успокоится ли она? Я отвечаю: неужели же нынешний государственный строй может создать условия для ее успокоения? Неужели у нас есть основания беспокоиться, что впереди не будет событий, которые заставят ее подняться? Поверьте, их будет слишком много,—об этом позаботится царизм. Не забывайте далее, что нам еще предстоит избирательная кампания, которая должна будет поднять на ноги весь революционный пролетариат. И кто знает, не окончится ли избирательная кампания тем, что пролетариат взорвет на воздух существующую власть? Не будем же нервничать и обгонять события. Мы должны больше доверять революционному пролетариату. Разве он успокоился после 9 января? После комиссии Шидловского? После черноморских событий? Нет, революционная волна неизменно нарастает; и не далек тот момент, когда она захлестнет собою весь самодержавный строй.

«Впереди—решительная и беспощадная борьба. Прекратим сейчас забастовку, удовлетворившись ее огромной моральной победой, и приложим все наши силы для создания и укрепления того, что нам нужнее всего—организация, организация и организация. Стоит оглянуться вокруг, чтобы увидеть, что и в этой области каждый день приносит нам новые завоевания.

«Организуются сейчас железнодорожные служащие и почтово-телеграфные чиновники. Сталью рельс и проволокою телеграфа они свяжут в единое целое все революционные очаги страны. Они дадут нам возможность поднять в нужный момент всю Россию в двадцать четыре часа. Необходимо подготовиться к этому моменту и довести дисциплину и организованность до высших пределов. За работу, товарищи!

«Сейчас же необходимо перейти к боевой организации рабочих и их вооружению. Составляйте на каждом заводе боевые десятки с выборным десятским, сотни—с сотским и над этими сотнями ставьте командира. Доводите дисциплину в этих ячейках до такой высокой степени, чтобы в каждую данную минуту весь завод мог выступить по первому призыву. Помните, что при решительном выступлении мы должны рассчитывать только на себя. Либеральная буржуазия уже начинает с недоверием и враждою относиться к нам. Демократическая интеллигенция колеблется. Союз Союзов, так охотно примкнувший к нам в пер-

вую забастовку, значительно менее сочувствует второй. Один член его на-днях сказал мне: «Своими забастовками вы восстановляете против себя общество. Неужели вы рассчитываете справиться с врагами только собственными силами?». Я напомнил ему один момент из французской революции, когда Конвент сделал постановление: «французский народ не вступит в договор с врагом на своей территории». Кто-то из членов Конвента крикнул: «неужели вы заключили договор с победой?». Ему ответили: «нет, мы заключили договор со смертью».

«Товарищи, когда либеральная буржуазия, как бы кичась своей изменой, спрашивает нас: «вы одни, без нас, думаете бороться? разве вы заключили договор с победой?», мы ей в лицо бросаем наш ответ: «нет, мы заключили договор со смертью».

Подавляющим большинством голосов Совет принял решение: прекратить стачечную манифестацию в понедельник 7-го ноября, в 12 часов дня. Печатные плакаты с постановлением Совета были распространены по фабрикам и заводам и расклеены по городу. В назначенный день и час стачка была прекращена с таким же единодушием, с каким началась. Она длилась 120 часов—в три раза меньше, чем военное положение в Польше.

Значение ноябрьской стачки, разумеется, не в том, что она отвела петлю от шеи нескольких десятков матросов—что значит это в революции, пожирающей десятки тысяч жизней? И не в том, что она заставила правительство поспешно ликвидировать военное положение в Польше—что значит лишний месяц исключительных законов для этой многострадальной страны? Стачка в ноябре была криком об опасности, обращенным ко всей стране. Кто знает, не воцарилась ли бы дикая вакханалия реакции во всей стране немедленно после удачного эксперимента в Польше, если бы пролетариат не показал, что он «существует, бодрствует и готов отвечать ударом на удар» [1]). В революции, которая по солидарности разноплеменного населения страны представляет прекрасную противоположность австрийским событиям 48 года, пролетариат Петербурга, во имя самой революции, не мог и не смел молча выдать в руки нетерпеливой реакции своих польских собратьев. И если он заботился о своем завтрашнем дне, он не мог и не смел молча пройти мимо кронштадтского восстания.

[1]) Слова резолюции Совета.

Стачка в ноябре была кличем солидарности, брошенным пролетариатом через голову правительства и буржуазной оппозиции пленникам казармы. И клич был услышан.

Корреспондент «Times'а» в своем отчете о ноябрьской стачке писал со слов гвардейского полковника: «К сожалению, нельзя отрицать, что вмешательство рабочих, заступившихся за кронштадтских бунтовщиков, имело печальное моральное влияние на наших солдат». В этом «печальном моральном влиянии»— главное значение ноябрьской стачки. Она одним ударом встряхнула широкие круги армии и уже в ближайшие дни вызвала ряд митингов в казармах петербургского гарнизона. В Исполнительный Комитет, даже на заседания самого Совета стали являться не только отдельные солдаты, но и солдатские делегаты, произносили речи, требовали поддержки; революционные связи среди солдат упрочились, прокламации находили широкий сбыт.

Возбуждение в рядах армии поднялось в эти дни до ее аристократических верхов. Автору пришлось во время ноябрьской стачки участвовать в качестве «оратора от рабочих» на военном собрании, единственном в своем роде. О нем стоит здесь рассказать.

С пригласительной карточкой баронессы X. [1]) я явился в 9 час. вечера в один из самых богатых особняков Петербурга. Швейцар, с видом человека, который в эти дни решил ничему не удивляться, снял с меня пальто и повесил в длинном ряду офицерских шинелей. Лакей ждал визитной карточки. Увы!—какая может быть визитная карточка у нелегального? Чтобы вывести его из затруднения, я вручил ему пригласительную карточку хозяйки дома. В приемную вышли сперва студент, затем радикальный приват-доцент, редактор «солидного» журнала и, наконец, сама баронесса. Повидимому, ожидали, что «от рабочих» явится более грозная фигура. Я назвал себя. Меня любезно пригласили войти. Приподняв портьеру, я увидел общество из 60—70 душ. На рядами расставленных стульях сидело с одной стороны прохода—30—40 офицеров, в том числе блестящие гвардейцы; с другой стороны—дамы. В переднем углу видна была группа

[1]) Теперь можно ее назвать: Икскуль фон-Гильдебранд.

черных сюртуков публицистики и адвокатского радикализма. У столика, заменявшего кафедру, председательствовал какой-то старичок. Рядом с ним я увидел Родичева, будущего кадетского «трибуна». Он говорил о введении военного положения в Польше, об обязанностях либерального общества и мыслящей части армии в польском вопросе, говорил скучно и вяло, мысли были коротенькие и вялые, и по окончании его речи раздались вялые аплодисменты. После него говорил вчерашний «штутгартский изгнанник», Петр Струве, который по милости октябрьской забастовки получил доступ в Россию и воспользовался им для того, чтобы сейчас же занять место на крайнем правом фланге земского либерализма и открыть оттуда разнузданную травлю против социал-демократии. Безнадежно плохой оратор, он, заикаясь и захлебываясь, доказывал, что армия должна стоять на почве манифеста 17 октября и защищать его от атак как справа, так и слева. Эта консервативная змеиная мудрость казалась очень пикантной в устах бывшего социал-демократа. Я слушал его речь и вспомнил, что семь лет тому назад этот человек писал: «чем дальше на восток Европы, тем в политическом отношении слабее, трусливее и подлее становится буржуазия», а затем сам перебрался на костылях немецкого ревизионизма в лагерь либеральной буржуазии, чтобы на собственном политическом опыте показать правильность своего исторического обобщения... После Струве говорил о кронштадтском восстании радикальный публицист Прокопович, далее—опальный профессор, колебавшийся в выборе между либерализмом и социал-демократией, говорил обо всем и ни о чем, затем видный адвокат (Соколов) приглашал офицеров не препятствовать агитации в казармах. Речи становились все решительнее, атмосфера—горячее, аплодисменты публики—энергичнее. Я в свою очередь указал на то, что рабочие безоружны, что вместе с ними безоружна свобода, что в руках офицеров ключи к арсеналам нации, что в решительную минуту эти ключи должны быть переданы тому, кому они принадлежат по праву—народу. В первый и, вероятно, в последний раз в жизни мне пришлось выступать перед такого рода аудиторией...

«Печальное моральное влияние» пролетариата на солдат побудило правительство к ряду репрессий. В одном из гвардейских полков произведены были аресты, часть матросов под кон-

воем перевели из Петербурга в Кронштадт. Солдаты со всех сторон обращались к Совету, спрашивая, что делать? На эти запросы мы ответили воззванием, ставшим известным под именем Манифеста к солдатам. Вот его текст:

«Совет Рабочих Депутатов отвечает солдатам:

«Братья-солдаты армии и флота!

«Вы часто обращаетесь к нам, Совету Рабочих Депутатов, за советом и поддержкой. Когда арестовали солдат Преображенского полка, вы обратились к нам за помощью. Когда арестовали учеников военно-электротехнической школы, вы обратились к нам за поддержкой. Когда флотские экипажи высылались под конвоем из Петербурга в Кронштадт, они искали у нас защиты.

«Целый ряд полков посылает к нам своих депутатов.

«Братья-солдаты, вы правы. У вас нет другой защиты, кроме рабочего народа. Если за вас не вступятся рабочие—вам нет спасения. Проклятая казарма задушит вас.

«Рабочие всегда за честных солдат. В Кронштадте и Севастополе рабочие боролись и умирали вместе с матросами. Правительство назначило военно-полевой суд над матросами и солдатами в Кронштадте, тотчас же петербургские рабочие повсеместно прекратили работу.

«Они согласны голодать, но не согласны молча глядеть, как истязают солдата.

«Мы, Совет Рабочих Депутатов, говорим вам, солдаты, от имени всех петербургских рабочих:

«Ваше горе—наше горе, ваши нужды—наши нужды, ваша борьба—наша борьба. Наша победа будет вашей победой. Одни и те же цепи сковывают нас. Только дружные усилия народа и армии разорвут эти цепи.

«Как освободить преображенцев? Как спасти кронштадтцев и севастопольцев?

«Для этого нужно очистить страну от царских тюрем и военных судов. Отдельным ударом нам не освободить преображенцев и не спасти севастопольцев и кронштадтцев. Нужно общим могучим натиском смести с лица нашей родины произвол и самовластие.

«Кто может сделать это великое дело?

«Только рабочий народ вместе с братскими войсками.

«Братья-солдаты! Пробуждайтесь! Подымайтесь! Идите к нам! Честные и смелые солдаты, соединяйтесь в союзы!

«Будите спящих! Тащите отставших! Сговаривайтесь с рабочими! Связывайтесь с Советом Рабочих Депутатов!

«Вперед, за правду, за народ, за свободу, за жен и детей наших!

«Братскую руку протягивает вам

Совет Рабочих Депутатов»

Этот манифест относится уже к последним дням Совета.

## „Восемь часов и ружье!“

Один стоял пролетариат в этой борьбе. Его никто не хотел и не мог поддержать. Дело шло на этот раз не о свободе печати и не о борьбе с произволом мундирных башибузуков, даже не о всеобщем избирательном праве. Рабочий требовал гарантии для своих мускулов, для своих нервов, для своего мозга. Он решил отвоевать для себя часть своей собственной жизни. Он не мог больше ждать и—не хотел. В событиях революции он впервые ощутил свою силу и в них же впервые познал новую высшую жизнь. Он как бы вновь родился для жизни духа. Все его чувства напряглись, как струны. Новые необъятные лучезарные миры открылись перед ним... Скоро ли придет тот великий поэт, который воспроизведет картину революционного воскресения рабочих масс?

После октябрьской стачки, превратившей закопченные фабрики в храмы революционного слова, после победы, наполнившей гордостью самое усталое сердце, рабочий оказался в проклятых тисках машины. В полусне утренних сумерек он нырял в жерло фабричного ада, а поздним вечером, после гудка пресыщенной машины, он в полусне тащил свое вялое тело в угрюмую постылую нору. А кругом ярко горели огни—близкие и недоступные,—которые он сам зажег. Социалистическая пресса, политические собрания, партийная борьба—огромный и прекрасный пир интересов и страстей. Где же выход? В восьмичасовом рабочем дне. Это—программа программ и завет заветов. Только восьмичасовой рабочий день мог немедленно освободить классовую силу пролетариата для революционной политики дня. К оружию, пролетарии Петербурга! Открывается новая глава в суровой книге борьбы.

Еще во время великой стачки делегаты не раз говорили, что, при возобновлении работ, массы ни за что не согласятся рабо-

тать на старых условиях. 26 октября делегаты одного из районов Петербурга решают помимо Советов ввести на своих заводах восьмичасовой рабочий день революционным путем. 27-го на некоторых рабочих собраниях единодушно принимается предложение делегатов. На Александровском механическом заводе вопрос решается закрытой баллотировкой, чтоб избежать давления. Результаты: 1.668 — за, 14—против. Крупные металлические заводы начинают с 28-го работать восемь часов. Одновременно такое же движение возникает на другом конце Петербурга. 29 октября инициатор кампании докладывает в Совете о введении на трех больших заводах восьмичасовой работы «захватным путем». Гром аплодисментов. Сомнениям нет места. Разве не путь захвата дал нам свободу собраний и печати? Разве не революционным натиском мы вырвали конституционный манифест? Разве привилегии капитала для нас более священны, чем привилегии монархии? Робкие голоса скептиков тонут в волнах общего энтузиазма. Совет делает огромной важности постановление: он призывает все фабрики и заводы вводить самочинно восьмичасовой рабочий день. Он декретирует это почти без прений, как бы совершая само собою разумеющийся шаг. Он дает рабочим Петербурга 24 часа на подготовительные меры. И рабочим этого достаточно. «Предложение Совета было встречено нашими рабочими восторженно,— пишет мой друг Немцов, делегат металлического завода.—В октябре мы боролись за требования всей страны, теперь же мы вы-



ПОДСУДИМЫЙ Н. М. НЕМЦОВ.
РАБОЧИЙ-БОЛЬШЕВИК.

ставляем специально наше пролетарское требование, которое ясно покажет нашим хозяевам-буржуа, что мы ни на минуту не забываем нашего классового требования. После прений заводский комитет (собрание представителей от мастерских, руководящую роль в заводских комитетах играли делегаты Совета) единогласно решил проводить с 1-го ноября 8-часовой рабочий день. В тот же день депутаты сообщили по всем мастерским о решени. заводского комитета... Они предложили рабочим приносить и собой пищу на завод, чтобы не делать обычного обеденного пес рерыва. 1-го ноября рабочие вышли на работу в 6 три четверти часа утра, как и всегда. В 12 часов раздался свисток, призывающий на обед; он вызвал много шуток со стороны рабочих, давших себе только получасовой перерыв вместо положенных 1³/₄ часа. В 3 с половиной часа дня весь завод прекратил работу, отработав ровно 8 часов».

«В понедельник, 31 октября,—читаем мы в № 5 «Известий Совета Рабочих Депутатов»—все заводские рабочие нашего райоона, согласно постановлению Совета, отработав 8 часов, оставили мастерские и с красными знаменами и пением марсельезы вышли на улицы. Манифестанты по пути «снимали» продолжавшие работать мелкие заведения». С такой же революционной решимостью постановление Совета проводилось и в других районах. Первого ноября движение захватывает почти все металлические заводы и крупнейшие текстильные фабрики. Рабочие шлиссельбургских фабрик запрашивали Совет по телеграфу: «Сколько рабочих часов нужно работать с сегодняшнего дня?» Кампания развивалась с непреодолимым единодушием. Но пятидневная ноябрьская стачка клином врезалась в эту кампанию в самом ее начале. Положение становилось все труднее. Правительственная реакция делала отчаянные и небезуспешные усилия встать на ноги. Капиталисты энергично объединялись для отпора под протекторатом Витте. Буржуазная демократия «утомилась» от стачек. Она жаждала покоя и отдохновения.

До ноябрьской стачки капиталисты реагировали на самовольное сокращение рабочего дня различно: одни грозили немедленно закрыть заводы, другие ограничились соответственным вычетом из заработной платы. На целом ряде заводов и фабрик администрация шла на уступки, соглашаясь на сокращение рабочего дня до 9 с половиной и даже до 9 часов. Так поступил, например,

союз типографов. Настроение предпринимателей было в общем неуверенное. К концу ноябрьской стачки объединенный капитал успел оправиться и занял самую непримиримую позицию: восьмичасового рабочего дня не будет; в случае упорства рабочих поголовный локаут. Расчищая предпринимателям дорогу, правительство первым закрыло казенные заводы. Собрания рабочих все чаще разгонялись военной силой с явным расчетом вызвать упадок настроения. Положение обострялось с каждым днем. Вслед за казенными заводами был закрыт ряд частных. Несколько десятков тысяч душ было выброшено на мостовую. Пролетариат уперся в отвесную стену. Отступление стало неизбежным. Но рабочая масса стоит на своем. Она не хочет и слышать о возвращении к работе на старых условиях. 6-го ноября Совет прибегает к компромиссному решению, отменяя общеобязательный характер требования и призывая к продолжению борьбы лишь в тех предприятиях, где есть надежда на успех. Решение явно неудовлетворительно: не давая ясного призыва, оно грозило разбить движение на ряд схваток. Между тем положение все ухудшалось. В то время, как казенные заводы были по настоянию делегатов открыты для работы на старых условиях, частными предпринимателями были закрыты ворота 13 новых фабрик и заводов. На улице еще прибавилось 19.000 душ. Забота об открытии заводов, хотя бы и на старых условиях, все более оттесняла вопрос о захватном проведении 8-часового рабочего дня. Необходимо было принять решительные меры, и 12 ноября Совет постановил ударить отбой. Это было самое драматическое из всех заседаний рабочего парламента. Голоса разделились. Два передовых металлических завода настаивают на продолжении борьбы. Их поддерживают представители некоторых текстильных, стеклянных и табачных фабрик. Путиловский завод решительно против. Поднимается средних лет ткачиха с фабрики Максвеля. Прекрасное открытое лицо. Полинялое ситцевое платье, несмотря на позднюю осень. Рука дрожит от волнения и нервно ищет ворота. Звенящий, проникновенный, незабываемый голос: «Вы приучили,—бросает она путиловским делегатам,—своих жен сладко есть и мягко спать, и потому вам страшно остаться без заработка. Но мы этого не боимся. Мы готовы умереть, но добиться 8 часов работы. Мы будем бороться до конца. Победа или смерть! Да здравствует 8-часовой рабочий день!».



В ПРИБАЛТИЙСКОМ КРАЕ.

РАССТРЕЛ (С МОМЕНТАЛЬНОЙ ФОТОГРАФИИ, СНЯТОЙ В СУМЕРКАХ).

И теперь еще, через 30 месяцев после того дня, этот голос надежды, отчаяния и страсти звучит в моих ушах, как неотразимый укор и непобедимый призыв. Где ты теперь, героический товарищ в полинялых ситцах? О, тебя никто не приучал сладко есть и мягко спать...

Звенящий голос обрывается... Минута болезненной тишины. Затем вихрь страстных аплодисментов. Делегаты, собравшиеся под тяжким ощущением насилия капиталистического рока, в этот момент поднялись высоко над текущим днем. Они аплодировали своей будущей победе над кровожадным роком.

После четырехчасовых прений Совет подавляющим большинством принял резолюцию отступления. Указав на то, что коалиция объединенного капитала с правительством сразу превратила вопрос о 8-часовом рабочем дне в Петербурге в вопрос общегосударственный, что петербургские рабочие, отдельно от рабочих всей страны, не могут поэтому добиться успеха, резолюция гласит: «Посему Совет Рабочих Депутатов считает необходимым временно приостановить немедленное и повсеместное захватное введение 8-часового рабочего дня». Провести отступление организованными рядами стоило больших усилий. Много было рабочих, которые предпочитали вступить на путь, указанный максвельской ткачихой. «Товарищи-рабочие других фабрик и заводов,—писали Совету рабочие одной крупной фабрики, решившие продолжать борьбу за 9 с половиной часовой рабочий день,— простите нам, что мы так делаем, но больше нет силы продолжать это постепенное изнурение человека как в физическом, так и в нравственном отношении. Мы будем бороться до последней капли крови...»

* * *

При открытии кампании в пользу 8-часового рабочего дня капиталистическая пресса кричала, разумеется, что Совет хочет погубить отечественную промышленность. Либерально-демократическая печать, трепетавшая в этот период перед господином слева, молчала, точно воды в рот набрала. И только когда декабрьское поражение революции развязало ее узы, она принялась переводить на либеральный жаргон все обвинения реакции по адресу Совета. Его борьба за восьмичасовой рабочий день вызвала задним числом наиболее суровое осуждение с ее стороны.

Нужно, однако, иметь в виду, что мысль о захватном сокращении рабочего дня—т.-е. путем фактического прекращения работ, без соглашения с предпринимателями—родилась не в октябре и не в среде Совета. В течение стачечной эпопеи 1905 г. попытки такого рода делались не раз. Они приводили не только к поражениям. На казенных заводах, для которых политические мотивы сильнее экономических, рабочие добились таким путем введения девятичасового рабочего дня. Тем не менее мысль о революционном установлении нормального рабочего дня—в одном Петербурге в двадцать четыре часа—может представиться совершенно фантастической. Какому-нибудь почтенному кассиру солидного профессионального союза она покажется прямо-таки безумной. И она, действительно, такова—под углом зрения «разумного» времени. Но в условиях революционного «безумия» она имела свою «разумность». Разумеется, нормальный рабочий день в одном Петербурге—бессмыслица. Но петербургская попытка, по мысли Совета, должна была поднять на ноги пролетариат всей страны. Разумеется, восьми часовой рабочий день может быть установлен только при содействии государственной власти. Но ведь пролетариат и находился тогда в борьбе за государственную власть. Если б он одержал политическую победу, введение восьмичасового рабочего дня явилось бы только естественным развитием «фантастического эксперимента». Но он не победил—и в этом, конечно, его тягчайшая «вина».

И тем не менее мы думаем, что Совет поступил, как мог и как должен был поступить. Выбора перед ним, в сущности, не было. Если б он из соображений «реалистической» политики стал кричать массам н а з а д!, они просто не подчинились бы ему. Борьба вспыхнула бы, но без руководства. Стачки шли бы, но разрозненно. При таких условиях поражение породило бы полную деморализацию. Совет понял свои задачи иначе. Его руководящие элементы вовсе не рассчитывали на непосредственный и полный практический успех кампании, но они считались с могучим стихийным движением, как с фактом, и решились претворить его в величественную, еще невиданную в социалистическом мире демонстрацию в пользу восьмичасового рабочего дня. Практические плоды ее, в виде значительного сокращения рабочего времени в ряде производств, были уже в ближайший период обратно исторгнуты предпринимателями. Но политические результаты неизгла-

димо врезались в сознание масс. Идея восьмичасового рабочего дня получила отныне такую популярность в самых отсталых рабочих слоях, какой не дали бы годы трудолюбивой пропаганды. И в то же время это требование органически срослось с основными лозунгами политической демократии. Упершись в организованное сопротивление капитала, за спиною которого стояла государственная власть, рабочая масса снова вернулась к вопросу о революционном перевороте, о неизбежности восстания, о необходимости оружия.

Защищая в Совете резолюцию отступления, докладчик Исполнительного Комитета следующими словами подводил итог кампании: «Если мы не завоевали восьмичасового рабочего дня для масс, то мы завоевали массы для восьмичасового рабочего дня. Отныне в сердце каждого петербургского рабочего живет его боевой клич: восемь часов и—ружье!».

---

# Мужик бунтует.

Решающие события революции разыгрывались в городах. Но и деревня не молчала. Она начала шумно шевелиться,—неуклюже, спотыкаясь, как бы спросонок, но уже от первых ее движений волосы встали дыбом на голове у господствующих классов.

В течение последних двух-трех лет перед революцией отношения между крестьянами и помещиками обострились до крайности. «Недоразумения» непрерывно вспыхивали то здесь, то там. С весны 1905 г. брожение в деревне угрожающе растет, принимая различные формы в различных областях страны. Грубыми чертами можно разграничить три бассейна крестьянской «революции»: 1) север, отличающийся значительным развитием обрабатывающей промышленности; 2) юго-восток, относительно богатый землей, и 3) центр, где нужда в земле отягчается жалким состоянием промышленности. В свою очередь, крестьянское движение выработало четыре главных типа борьбы: захват помещичьих земель с изгнанием помещиков и разгромом барских усадеб,—в целях расширения крестьянского землепользования; захват хлеба, скота, сена и порубка леса для непосредственного удовлетворения нужд голодающей деревни; стачечно-бойкотное движение, преследовавшее либо понижение арендных цен, либо повышение заработной платы, и, наконец, отказ от поставки рекрут, взноса податей и уплаты долгов. В различных сочетаниях эти формы борьбы распространились по всей стране, приспособляясь к хозяйственным условиям каждого района. Наиболее бурный характер крестьянское движение приняло в обездоленном центре. Здесь разгромы пронеслись опустошительным смерчем. На юге прибегали, главным образом, к стачкам и бойкоту помещичьих экономий. Наконец, на севере, где движение было слабее всего, первое место занимали лесные порубки. Отказ

крестьян признавать административные власти и платить подати имел место везде, где экономическое возмущение приобретало радикальную политическую окраску. Во всяком случае широкий массовый характер аграрное движение приняло лишь после октябрьской стачки.

Посмотрим ближе, как мужик делает свою революцию.

В Самарской губернии беспорядки охватили четыре уезда. Сначала дело шло так. Крестьяне являлись в частновладельческие экономии и увозили оттуда только корм для скота; при этом точно подсчитывали, сколько в имении имеется собственного скота, и для прокормления его отделяли помещику надлежащее количество корма; остальное увозили на своих подводах. Действовали спокойно, без насилий, «по совести», стараясь столковаться, чтоб не было «никакого скандала». Хозяину поясняли, что теперь настали новые времена и жить нужно по-новому, по-божески: у кого много, тот должен давать тем, у кого ничего нет... Затем отдельные группы «уполномоченных» появляются на железнодорожных станциях, где сложено много помещичьего зерна. Справляются, чей хлеб, и объявляют, что по постановлению «мира» увезут зерно с собой.—«Как же, братцы, вы возьмете?—возражает начальник станции.—Ведь мне отвечать придется... вы пожалейте меня...»—«Что и говорить,—соглашаются грозные «экспроприаторы»,—нам тебя обижать не приходится... Главная вещь нам-то с руки: станция близко... Не хотелось на хутор ехать: далеко очень... А делать нечего: приходится ехать к «самому», из амбара прямо забирать...» Хлеб, сложенный на станциях, остается нетронутым; в экономиях же идет справедливая дележка. Но вот доводы насчет «новых времен» начинают терять свое влияние на помещика: он собирается с духом и оказывает отпор. Тогда добродушный мужик становится на дыбы—и не оставляет в усадьбе камня на камне...

В Херсонской губернии крестьяне передвигаются из имения в имение огромными толпами с массою подвод для вывоза «поделенного» имущества. Насилий и убийств не было, так как растерянные помещики и управляющие бегут, отпирая все замки и затворы по первому требованию крестьян. В этой же губернии ведется энергичная борьба за понижение арендной платы. Цены назначаются самими крестьянскими обществами, с соблюдением «справедливости». Только у Безюкова монастыря отняли 15 ты-

сяч десятин без всякой платы, ссылаясь на то, что монахи должны богу молиться, а не землей барышничать.

Но самые бурные события разыгрались в конце 1905 г. в Саратовской губернии. В селениях, вовлеченных в движение, не оставалось ни одного пассивного крестьянина. Все поднялись. Помещики с семьями удаляются из усадеб, все движимое имущество подвергается дележке, скот уводится, батраки и домашняя прислуга рассчитываются, и в заключение пускается красный петух. Во главе крестьянских «колонн», совершающих нападение, стоят вооруженные дружины. Урядники и стражники скрываются, а в некоторых местах арестовываются дружинами. Поджог владельческих построек совершается для того, чтоб лишить помещика возможности вернуться через некоторое время в свои владения. Но насилий никаких не допускается. Разрушив до-тла экономию, крестьяне составляют приговор о том, что с весны помещичья земля переходит к «миру». Денежные суммы, захваченные в экономических конторах, в казенных винных лавках или у сборщиков питейных доходов, немедленно обращаются в общественную собственность. Распределением экспроприированного имущества заведуют местные крестьянские комитеты или братства. Разгром имений совершается почти вне всякой зависимости от индивидуальных отношений крестьян к помещикам: громят реакционеров, громят и либералов. Политические оттенки смываются волной сословной ненависти... Разрушены до-тла усадьбы местных либеральных земцев, сожжены бесследно старинные помещичьи дворцы с ценными библиотеками и картинными галлереями. В некоторых уездах уцелевшие усадьбы считаются единицами... Картина этого мужицкого крестового похода во всех местах одинакова. «Начинается,—пишет один из корреспондентов,—освещение небосклона всю ночь заревами. Картина ужасная—с утра вы видите несущиеся вереницы экипажей тройками и парами, наполненные людьми, бегущими из усадеб, а как только смеркнется, весь горизонт одевает как бы огненное ожерелье из зарев. Были ночи, когда насчитывали до 16 зарев сразу... Помещики бегут в панике, заражая ею все на пути своем».

За короткое время было сожжено и разрушено в стране свыше 2.000 помещичьих усадеб, из них в одной Саратовской губернии—272. Убыток помещиков только по 10 наиболее пострадавшим губерниям определяется, по официальным данным, в 29 миллио-

нов рублей, из которых на одну Саратовскую губернию приходится около 10 миллионов.

Если верно вообще, что не политическая идеология определяет ход классовой борьбы, то это трижды верно по отношению к крестьянству. У саратовского мужика должны были быть веские причины, в пределах его двора, гумна и околицы, раз они заставили его бросить зажженный пук соломы под дворянскую крышу. Но было бы, тем не менее, ошибкой совершенно игнорировать влияние политической агитации. Как ни смутно, как ни хаотично было восстание крестьян, но в нем уже имелись несомненные попытки политического обобщения. И это внесла работа партий. В течение 1905 г. даже либеральные земцы делали опыты оппозиционного просвещения крестьян. При различных земских учреждениях вводилось полуофициальное крестьянское представительство, на обсуждение которого ставились вопросы общего характера. Несравненно деятельнее цензовых либералов были земские служащие: статистики, учителя, агрономы, фельдшерицы и пр. Значительная часть этой публики принадлежала к социал-демократам и социалистам-революционерам, большинство состояло из неоформленных радикалов, которым частное землевладение во всяком случае не казалось священным институтом. В течение нескольких лет социалистические партии через земских служащих организовывали среди крестьян революционные кружки и распространяли нелегальную литературу. В 1905 г. агитация стала массовой и вышла из подполья. Большую службу сослужил в этом отношении нелепый указ 18 февраля, который установил нечто вроде права петиций. Опираясь на это право, или, вернее, на вызванную указом растерянность местных властей, агитаторы созывали сельские сходы и побуждали их принимать резолюции об отмене частной собственности на землю и о созыве народного представительства. Подписавшиеся под резолюцией крестьяне во многих местах считали себя членами «крестьянского союза» и выбирали из своей среды комитеты, которые нередко совершенно оттирали в сторону законную сельскую власть. Так шло дело, например, среди казачьего населения Донской области. В станицах собиралось по 600—700 человек. «Странная аудитория,— пишет один из агитаторов.—За столом атаман при оружии. Перед вами стоят и сидят люди с шашками и без шашек. Этих людей мы привыкли видеть, как не совсем приятный апофеоз всяких собраний

и митингов. Странно смотреть в эти глаза, постепенно зажигающиеся гневом против панов и чиновников. Какая невероятная разница между казаком в строю и казаком у пашни!» Агитаторов встречали и провожали с восторгом, ездили за ними за десятки верст и зорко охраняли от полиции. Но представление об их роли было во многих глухих углах смутным. «Спасибо добрым людям,— говорил иногда мужичок, расписавшись под резолюцией,— выхлопочут нам земельки».

В августе месяце собрался под Москвою первый съезд крестьян. Свыше ста представителей от 22 губерний заседали двое суток в большом старом сарае, укромно расположенном в стороне от дороги. На этом съезде была впервые оформлена идея Всероссийского Крестьянского Союза, объединившая многих партийных и беспартийных крестьян и интеллигентов.

Манифест 17 октября дал еще больший простор агитации в деревне. Даже умереннейший псковский земец, граф Гейден, ныне уже умерший, начал устраивать по волостям митинги для разъяснения начал «нового строя». Крестьяне сперва относились к его агитации безучастно, затем раскачались и почувствовали потребность перейти от слов к делу. Для начала решили «бастовать» лес [1]). То-то либеральный граф сделал большие глаза. Но если при своих попытках установить гармонию сословий на основе царского манифеста цензовые либералы обжигали себе пальцы, зато революционная интеллигенция имела огромный успех. По губерниям происходили крестьянские съезды, шла лихорадочная агитация, города выбрасывали в деревни горы революционной литературы, креп и расширялся крестьянский союз. В далекой и глухой Вятской губернии состоялся съезд крестьян, на котором присутствовало 200 человек. Три роты местного батальона прислали своих делегатов с выражением сочувствия и обещанием поддержки. Такое же заявление чрез своих представителей сделали рабочие. Съезд добился у растерянных властей разрешения беспрепятственно устраивать

[1]) Слово «забастовщик» приобрело у крестьян и вообще у широких народных масс то же значение, что р е в о л ю ц и о н е р. Бастовать значит совершить какое-нибудь революционное дело. «Забастовали исправника» значит арестовали или убили исправника. Это своеобразное словоупотребление свидетельствует, однако, об огромном революционном влиянии рабочих и их методов борьбы.

митинги в городах и в деревнях. Недели две шли по всей губернии непрерывные собрания. Постановление съезда о прекращении уплаты податей энергично проводилось в жизнь... При всем различии форм крестьянское движение во всей стране привело к массовым проявлениям. На окраинах оно сразу приобрело резко-революционный характер. В Литве крестьянство, по постановлению виленского съезда, насчитывавшего более 2.000 уполномоченных, сменило революционным путем волостных писарей, старшин, учителей народных училищ, прогнало жандармов, земских начальников и ввело выборные суды и волостные исполнительные комитеты... Еще более решительным был образ действий грузинского крестьянства на Кавказе...

6 ноября открыто и гласно открылся в Москве второй съезд крестьянского союза. Присутствовало 187 делегатов от 27 губерний. Из них 105 привезли с собой полномочия от волостных и сельских сходов, остальные—от губернских и уездных комитетов и местных групп Союза. В составе делегатов было 145 крестьян, остальные—из интеллигенции, близкой к крестьянству: народные учителя и учительницы, земские служащие, врачи и пр. В бытовом смысле это был один из самых интересных съездов революции. Тут можно было видеть немало живописных фигур, провинциальных самородков, внезапных революционеров, до всего дошедших «своим умом», политиков с большим темпераментом, с еще бо́льшими надеждами, но без достаточной ясности в голове. Вот несколько силуэтов, набросанных одним из участников съезда: «Сумский батька Антон Щербак, высокий, седой, с короткими усами и пронзительным взглядом, как-будто одна из казацких фигур, выхваченная из «Запорожцев» Репина, прямо с полотна. Щербак называл себя, однако, фермером обоих полушарий, ибо он провел в Америке 20 лет и имел в Калифорнии хорошо обстроенную ферму и русскую семью... Священник Мирецкий, делегат из Воронежской губернии, представил пять волостных приговоров. В одной из своих речей отец Мирецкий назвал Христа первым социалистом. «Если бы Христос был здесь, он был бы вместе с нами»... Две крестьянки в ситцевых кофтах, шерстяных платках и козловых башмаках явились в качестве делегаток от женского схода одного из сел той же Воронежской губернии... Капитан Перелешин был делегатом от кустарей той же Воронежской губернии. Он явился на съезд

в мундире, при сабле, и вызвал не малый переполох. Кто-то из публики крикнул даже: «Долой полицию!» Тогда офицер поднялся и при общих рукоплесканиях сказал: «Я капитан Перелешин, делегат из Воронежской губернии, никогда не скрывал своих убеждений и действовал совершенно открыто, поэтому и сюда пришел в мундире»...

В центре обсуждения стояли вопросы тактики. Одни делегаты защищали мирную борьбу: митинги, приговоры, «мирный» бойкот властей, создание революционного самоуправления, «мирную» запашку помещичьих земель и «мирный» отказ платить подати и давать рекрут. Другие, особенно из Саратовской губернии, призывали к вооруженной борьбе, к немедленной поддержке начавшегося восстания на местах. В конце концов, принято было среднее решение. «Прекратить бедствия народа, проистекающие из недостатка земли,—гласила резолюция,—может только переход всей земли в общую собственность всего народа, с тем, чтобы ею пользовались только те, кто трудится на земле сам своей семьей или в товариществе». Установление справедливого земельного устройства поручалось далее Учредительному Собранию, которое должно быть созвано на самых демократических началах—«не позднее (!) февраля будущего года». Чтоб достигнуть этого, «крестьянский союз войдет в соглашение с братьями-рабочими, городскими, фабричными, заводскими, железнодорожными и другими союзами, а также организациями, защищающими интересы трудящегося народа... В случае, если требования народа не будут исполнены, крестьянский союз прибегнет ко всеобщей земельной (!) забастовке, именно: откажет владельцам хозяйств всех наименований в рабочей силе и тем закроет их. Для организации же всеобщей забастовки войдет в соглашение с рабочим классом». Постановив далее прекратить употребление вина, съезд под конец резолюции заявляет «на основании всех сведений, полученных со всех концов России, что неудовлетворение народных требований приведет страну нашу к великим волнениям и неизбежно вызовет всеобщее народное восстание, потому что чаша крестьянского терпения переполнилась». Как ни наивна эта резолюция, в некоторых своих частях, она во всяком случае показывает, что передовое крестьянство становилось на революционный путь. Призрак экспроприации помещичьих земель выступил пред глазами правитель-

ства и дворянства во всей своей жестокой реальности из заседаний этого мужицкого парламента. Реакция усиленно и с полным основанием забила тревогу.

3 ноября, т.-е. за несколько дней до съезда, правительство опубликовало манифест о постепенной отмене выкупных платежей за надельные земли и о расширении средств крестьянского банка. Манифест выражал надежду, что правительству удастся в союзе с Думою удовлетворить насущные нужды крестьянства—«без всякой обиды для прочих землевладельцев». Резолюция крестьянского съезда худо согласовалась с этими надеждами. Еще хуже, однако, обстояло дело с практикой «любезного сердцу нашему крестьянского населения» на местах. Не только разгромы и поджоги, но и «мирная» запашка латифундий вместе с самовольным установлением заработной платы и арендных цен породили ожесточенный натиск помещиков на правительство. Отовсюду летели требования о присылке войск. Правительство встряхнулось, поняв, что время сентиментальных излияний прошло, что пора браться за «дело».

12 ноября закрылся крестьянский съезд, а 14 было уже арестовано московское бюро «Союза». Это было началом. Через две-три недели в ответ на запросы по поводу крестьянских волнений министр внутренних дел дал буквально следующую инструкцию: «Немедленно истреблять силою оружия бунтовщиков, а в случае сопротивления—сжигать их жилища. В настоящую минуту необходимо раз-на-всегда искоренить самоуправство. Аресты теперь не достигают цели, судить сотни и тысячи людей невозможно. Ныне единственно необходимо, чтобы войска прониклись вышеизложенными указаниями. П. Дурново». Но этот каннибальский приказ открывает уже новую эру адских сатурналий контр-революции. Она разворачивается сперва в городах и лишь отсюда передвигается в деревню.

# Красный флот.

«Революция,—писал в конце ноября старик Суворин, заслуженная рептилия русской бюрократии,—дает необыкновенный подъем человеку и приобретает множество самых преданных фанатиков, готовых жертвовать своей жизнью. Борьба с нею потому и трудна, что на ее стороне много пыла, отваги, искреннего красноречия и горячих увлечений. Чем сильнее враг, тем она решительнее и мужественнее, и всякая победа ее привлекает к ней множество поклонников. Кто этого не знает, кто не знает, что она привлекательна, как красивая и страстная женщина, широко расставляющая свои объятья и жадно целующая воспаленными устами, тот не бывал молод».

Дух мятежа носился над русской землею. Какой-то огромный и таинственный процесс совершался в бесчисленных сердцах,—разрывались узы страха, личность, едва успев сознать себя, растворялась в массе, масса растворялась в порыве. Освободившись от унаследованных страхов и воображаемых препятствий, масса не хотела и не могла видеть препятствий действительных. В этом была ее слабость и в этом была ее сила. Она неслась вперед, как морской вал, гонимый бурей. Каждый день поднимал на ноги новые слои и рождал новые возможности. Точно кто-то гигантским пестом размешивал социальную квашню до самого дна. В то время как либеральные чиновники кроили и перекраивали еще неношенный халат булыгинской думы, страна не знала ни минуты покоя. Стачки рабочих, непрерывные митинги, уличные шествия, разгромы имений, забастовки полицейских и дворников и, наконец, волнения и восстания матросов и солдат. Все разложилось и превратилось в хаос. И в то же время в этом хаосе пробуждалась потребность в новом порядке, и кристаллизовались его элементы. Правильно повторяющиеся митинги уже сами по себе вносили организующее начало. Из

митингов выделялись депутации, депутации разрастались в представительство. Но как стихийное возмущение обгоняло работу политического сознания, так потребность в действии далеко оставляла позади себя лихорадочное организационное творчество.

В этом слабость революции—всякой революции,—но в этом и ее сила. Кто хочет иметь в революции влияние—должен брать ее целиком. Те глубокие тактики, которые думают поступать с революцией, как со спаржей, по произволу отделяя питательную часть от негодной, обречены на бесплодную роль резонеров. Так как ни одно революционное событие не создает «рациональных» условий для применения их «рациональной» тактики, то они фатально оказываются вне и позади всех событий. И, в конце концов, им не остается ничего другого, как повторить слова Фигаро: «Увы,—у нас не будет другого представления, которым мы могли бы загладить неудачи первого»...

Мы не ставим себе целью ни описать, ни даже перечислить все события 1905 г. Мы даем самый общий очерк хода революции и притом—если позволено будет так выразиться—в петербургском масштабе, хотя и под обще-государственным углом зрения. Но и в тех рамках, в каких мы ведем наш рассказ, мы не можем оставить в стороне одно из крупнейших—между октябрьской стачкой и декабрьскими баррикадами—событий великого года: военное восстание в Севастополе. Оно началось 11-го ноября, а 17-го адмирал Чухнин уже доносил царю: «Военная буря затихла, революционная—нет».

В Севастополе традиции «Потемкина» не умирали. Чухнин жестоко расправился с матросами красного броненосца: четырех расстрелял, двух повесил, несколько десятков отправил на каторжные работы и, наконец, самого «Потемкина» переименовал в «Пантелеймона». Но, никого не терроризировав, он только поднял мятежное настроение флота. Октябрьская стачка открыла эпопею колоссальных уличных митингов, на которых матросы и пехотные солдаты были не только постоянными участниками, но и ораторами. Матросский оркестр играл марсельезу во главе революционной демонстрации. Словом, господствовала полная «деморализация». Запрещение военным присутствовать на народных собраниях создало специально-военные митинги

во дворах флотских экипажей и в казармах. Офицеры не осмеливались протестовать, и двери казарм были днем и ночью открыты для представителей севастопольского комитета нашей партии. Ему приходилось непрерывно бороться с нетерпением матросов, требовавших «дела». Невдалеке плававший «Прут», превращенный в каторжную тюрьму, постоянно напоминал, что тут же, в нескольких шагах, томятся за участие в потемкинском деле жертвы июньского восстания. Новый экипаж «Потемкина» заявлял о своей готовности вести броненосец к Батуму для поддержки кавказского восстания. Рядом с ним по боевой готовности стоял недавно отстроенный крейсер «Очаков». Но социал-демократическая организация настаивала на выжидательной тактике: создать совет матросских и солдатских депутатов, связать его с организацией рабочих и поддержать надвигающуюся политическую забастовку пролетариата восстанием флота. Революционная организация матросов приняла этот план. Но события обогнали его.

Сходки учащались и расширялись. Они были перенесены на площадь, отделяющую матросские экипажи от казарм пехотного Брестского полка. Так как военных не пускали на митинги рабочих, то рабочие стали массами приходить на митинги солдат. Собирались десятки тысяч. Идея совместных действий принималась восторженно. Передовые роты выбирали депутатов. Военное начальство решило принять меры. Попытки офицеров выступать на митингах с «патриотическими» речами дали весьма печальные результаты. Изощренные в дискуссиях матросы обращали свое начальство в позорное бегство. Тогда постановлено было запретить митинги вообще. 11-го ноября у ворот экипажей была поставлена с утра боевая рота. Контр-адмирал Писаревский во всеуслышание обратился к ней: «Никого не пропускать из казарм. В случае неповиновения—стрелять». Из роты, которой был отдан этот приказ, выделился матрос Петров, на глазах у всех зарядил винтовку и одним выстрелом убил подполковника Брестского полка Штейна, другим—ранил Писаревского. Раздалось приказание офицера: «арестовать его». Никто ни с места. Петров бросил винтовку. «Чего же вы стоите? Берите меня». Петрова арестовали. Сбежавшиеся со всех сторон матросы требовали его освобождения, заявляя, что берут его на поруки. Возбуждение достигло высшего предела.

— Петров, ты нечаянно выстрелил?—допрашивал его офицер, ища выхода.

— Какое нечаянно? Отделился, зарядил, прицелился. Разве это нечаянно?

— Команда требует твоего освобождения...

И Петров был освобожден. Матросы порывались немедленно открыть действия. Все дежурные офицеры были арестованы, обезоружены и отправлены в канцелярию. В конце концов, решили под влиянием социал-демократического оратора ждать утреннего совещания депутатов. Матросские представители, около 40 человек, заседали всю ночь. Решили выпустить из-под ареста офицеров, но не пускать их более в казармы. Службы, которые матросы считали необходимыми, они постановили нести и впредь. Решено было отправиться парадным шествием, с музыкой, к казармам пехотных полков, чтоб привлечь солдат к движению. Утром явилась депутация рабочих для совещания. Через несколько часов стал уже весь порт; железные дороги также прекратили движение. События надвигались. «Внутри экипажей,—гласят официозные телеграммы, относящиеся к этому моменту,—порядок образцовый. Поведение матросов весьма корректное. Пьяных нет». Все матросы распределены по ротам, без оружия. Вооружена только рота, оставшаяся для охраны экипажей от внезапного нападения. Командиром ее был выбран Петров.

Часть матросов, под руководством двух социал-демократических ораторов, отправилась в соседние казармы Брестского полка. Настроение среди солдат было гораздо менее решительное. Только под сильным давлением матросов решено было обезоружить офицеров и удалить из казарм. Офицеры Мукдена без всякого сопротивления отдавали свои шашки и револьверы и со словами: «мы без оружия, вы нас не тронете» покорно проходили сквозь строй нижних чинов. Но уже в самом начале солдаты начали колебаться. По их требованию в казармах оставили несколько дежурных офицеров. Это обстоятельство имело на дальнейший ход событий огромное влияние.

Солдаты начали строиться в ряды, чтобы вместе с матросами отправиться через весь город к казармам Белостокского полка. При этом солдаты ревниво следили за тем, чтоб «вольные» не смешивались с ними, а шли отдельно. В разгар этих приготовлений

к казармам подъезжает в своем экипаже комендант крепости Неплюев с начальником дивизии генералом Седельниковым. К коменданту обращаются с требованием убрать с Исторического бульвара пулеметы, выставленные там с утра. Неплюев отвечает, что это зависит не от него, а от Чухнина. Тогда от него требуют честного слова, что он, как комендант крепости, прибегать к действию пулеметов не станет. У генерала хватило мужества отказаться. Решено разоружить его и арестовать. Он отказывается выдать оружие, а солдаты не решаются употребить насилие. Пришлось нескольким матросам вскочить в карету и отвезти генералов к себе, в экипаж. Там их немедленно разоружили sans phrases и отвели в канцелярию под арест. Позже их, впрочем, освободили.

Солдаты с музыкой выступили из казарм. Матросы в строгом порядке вышли из экипажей. На площади уже ждали массы рабочих. Какой момент! Восторженная встреча. Жмут друг другу руки, обнимаются. В воздухе стоит гул братских приветствий. Клянутся поддерживать друг друга до конца. Выстроились и в полном порядке отправились на другой конец города—к казармам Белостокского полка. Солдаты и матросы несли георгиевские знамена, рабочие—социал-демократические. «Демонстранты,—доносит официозное агентство,—устроили шествие по городу в образцовом порядке, с оркестром музыки впереди и красными флагами». Итти приходилось мимо Исторического бульвара, где стояли пулеметы. Матросы обращаются к пулеметной роте с призывом—убрать пулеметы. И предложение исполнено. Впоследствии, однако, пулеметы снова появились. «Вооруженные роты Белостокского полка,—сообщает агентство,—бывшие при офицерах, взяли на караул и пропустили мимо себя демонстрантов». У казарм Белостокского полка устроили грандиозный митинг. Полного успеха, однако, не имели; солдаты колебались: часть объявляла себя солидарной с матросами, другая часть обещала только не стрелять. В конце концов, офицерам удалось даже увести Белостокский полк из казарм. Процессия только к вечеру вернулась к экипажам.

В это время на «Потемкине» было выброшено социал-демократическое знамя. На «Ростиславе» ответили сигналом: «вижу ясно». Другие суда промолчали. Реакционная часть матросов протестовала против того, что революционное знамя висит выше



Троцкий
в одиночной камере дома предварительного заключения
(снимок защитника Елисеева).

андреевского. Красное знамя пришлось снять. Положение все еще не определялось. Но назад уже не было возврата.

В канцелярии экипажей постоянно заседала комиссия, состоявшая из матросов и солдат, делегированных от разных родов оружия, в том числе от семи судов, и из нескольких представителей социал-демократической организации, приглашенных делегатами. Постоянным председателем был выбран социал-демократ. Сюда стекались все сведения, и отсюда исходили все решения. Здесь же были выработаны специальные требования матросов и солдат и присоединены к требованиям общеполитического характера. Для широкой массы эти чисто-казарменные требования стояли на первом месте. Комиссию больше всего беспокоил недостаток в боевых снарядах. Винтовок было достаточно, но патронов к ним—очень мало. Со времени потемкинской истории боевые припасы хранились в тайне. «Сильно чувствовалось также,—пишет активный участник событий,—отсутствие какого-нибудь руководителя, хорошо знающего военное дело».

Депутатская комиссия энергично настаивала на том, чтобы команды обезоруживали своих офицеров и удаляли с судов и из казарм. Это была необходимая мера. Офицеры Брестского полка, оставшиеся в казармах, внесли полное разложение в среду солдат. Они повели деятельную агитацию против матросов, против «вольных» и «жидов» и дополнили ее воздействием алкоголя. Ночью под их руководством солдаты постыдно бежали в лагери,—не через ворота, у которых дежурила революционная боевая рота, а чрез проломленную стену. К утру они снова вернулись в казармы, но активного участия в борьбе больше не принимали. Нерешительность Брестского полка не могла не отразиться на настроении матросских экипажей. Но на следующий день опять засветило солнце успеха: к восстанию присоединились саперы. Они явились в экипажи в стройном порядке и с оружием в руках. Их приняли восторженно и поместили в казармах. Настроение поднялось и окрепло. Отовсюду являлись депутации: крепостная артиллерия, Белостокский полк и пограничная стража обещали «не стрелять». Не полагаясь больше на местные полки, начальство начало стягивать войска из соседних городов: Симферополя, Одессы, Феодосии. Среди прибывших велась активная и успешная революционная агитация. Сношения комиссии с судами были очень затруднены. Сильно

мешало незнание матросами сигнальных знаков. Но и тут было получено заявление полной солидарности со стороны крейсера «Очаков», броненосца «Потемкин», контр-миноносцев «Вольный» и «Заветный», впоследствии присоединилось еще несколько миноносок. Остальные суда колебались и давали все то же обещание «не стрелять». 13-го в экипажи явился флотский офицер с телеграммой: царь требует сложить оружие в 24 часа. Офицера осмеяли и вывели за ворота. Чтобы обезопасить город от возможности погрома, наряжались патрули из матросов. Эта мера сразу успокоила население и завоевала его симпатии. Сами матросы охраняли винные лавки во избежание пьянства. Во все время восстания в городе царил образцовый порядок.

Вечер 13-го ноября был решительным моментом в развитии событий: депутатская комиссия пригласила для военного руководства отставного флотского лейтенанта Шмидта, завоевавшего большую популярность во время октябрьских митингов. Он мужественно принял приглашение и с этого дня стал во главе движения. К вечеру следующего дня Шмидт перебрался на крейсер «Очаков», где и оставался до последнего момента. Выбросив на «Очакове» адмиральский флаг и дав сигнал: «командую флотом Шмидт», с расчетом сразу привлечь этим к восстанию всю эскадру, он направил свой крейсер к «Пруту», чтобы освободить «потемкинцев». Сопротивления никакого не было оказано. «Очаков» принял матросов-каторжан на свой борт и объехал с ними всю эскадру. Со всех судов раздавалось приветственное «ура». Несколько из судов, в том числе броненосцы «Потемкин» и «Ростислав», подняли красное знамя; на последнем оно, впрочем, развевалось лишь несколько минут.

Взяв на себя руководство восстанием, Шмидт оповестил о своем образе действий следующим заявлением:

«Г-ну Городскому Голове.

«Мною послана сегодня Государю Императору телеграмма следующего содержания:

«Славный Черноморский флот, свято храня верность своему народу, требует от вас, государь, немедленного созыва Учредительного Собрания и перестает повиноваться вашим министрам.

Командующий флотом
гражданин Шмидт».

Из Петербурга прислан телеграфный приказ: подавить восстание. Чухнин заменен прославившимся впоследствии палачом Меллер-Закомельским. Город и крепость объявлены на осадном положении, все улицы заняты войсками. Решительный час настал. Восставшие рассчитывали на отказ войск стрелять по своим и на присоединение остальных судов эскадры. На нескольких судах офицеры были действительно арестованы и свезены на «Очаков» в распоряжение Шмидта. Этой мерой надеялись, между прочим, охранить адмиральский крейсер от неприятельского огня. Масса народа толпилась на берегу, ожидая салюта, который должен был возвестить о присоединении эскадры. Но ожидания не сбылись. Усмирители не дали «Очакову» совершить второй объезд судов и открыли огонь. Народ принял первый залп за салют, но вскоре понял, что происходит, и в ужасе бежал с пристани. Открылась пальба со всех сторон. Стреляли с судов, стреляли из орудий крепостной и полевой артиллерии, стреляли пулеметы с Исторического бульвара. Одним из первых залпов на «Очакове» была разрушена электрическая машина. Едва дав шесть выстрелов, «Очаков» вынужден был замолчать и поднять белый флаг. Несмотря на это, обстрел крейсера продолжался, пока на нем не поднялся пожар. Еще хуже вышло с «Потемкиным». Здесь не успели приладить к орудиям ударники и замки и оказались совершенно беспомощны, когда открылась стрельба. Не дав ни одного выстрела, «Потемкин» поднял белый флаг. Береговые матросские экипажи держались дольше всех. Они сдались только тогда, когда не осталось ни одного патрона. Красное знамя развевалось над мятежными казармами до конца. Они были окончательно заняты правительственными войсками около шести часов утра.

Когда прошел первый ужас, возбужденный стрельбой, часть толпы вернулась на берег. «Картина была ужасная,—говорит уже цитированный нами участник восстания.—Под перекрестным орудийным огнем сразу погибло несколько миноносок и шлюпок. Вскоре запылал «Очаков». Спасавшиеся вплавь матросы взывали о помощи. Их продолжали расстреливать в воде. Лодки, направлявшиеся спасать их, подвергались расстрелу. Матросы, подплывавшие к берегу, где стояли войска, тут же приканчивались. Спасались только те, которые попадали к сочувствующей толпе». Шмидт пытался бежать, переодевшись матросом, но был захвачен.

К трем часам ночи была закончена кровавая работа палачей «усмирения». После этого им пришлось преобразиться в палачей «суда».

Победители доносили: «Взятых в плен и арестованных более 2.000 человек... Освобождены: 19 офицеров и гражданских лиц, арестованных революционерами; отобраны 4 знамени, денежные ящики и много казенного имущества, патронов, вооружения и снаряжения и 12 пулеметов». Адмирал Чухнин телеграфировал, с своей стороны, в Царское Село: «Военная буря затихла, революционная—нет».

Какой огромный шаг вперед по сравнению с мятежом в Кронштадте! Там стихийная вспышка, закончившаяся диким разгромом. Здесь планомерно разрастающееся восстание, сознательно ищущее порядка и единства действий. «В восставшем городе,—писал социал-демократический орган «Начало» в разгар севастопольских событий,—не слышно о подвигах хулиганов и грабителей, а случаи простых краж должны были уменьшиться уже просто потому, что армейские и флотские казнокрады удалились из счастливого города. Вы хотите знать, граждане, что такое демократия, опирающаяся на вооруженное население? Смотрите на Севастополь. Смотрите на республиканский Севастополь, не знающий других, кроме выборных и ответственных властей»...

И все же этот революционный Севастополь продержался лишь четыре—пять дней и сдался, далеко не израсходовав всех рессурсов своей военной силы. Стратегические ошибки? Нерешительность вождей? Нельзя отрицать ни того, ни другого. Но общий исход борьбы определился более глубокими причинами.

Во главе восстания идут матросы. Уже самый род их военной деятельности требует от них бо́льшей самостоятельности и находчивости, воспитывает бо́льшую независимость, чем сухопутная служба. Антагонизм между рядовыми матросами и замкнутой дворянской кастой морского офицерства еще глубже, чем в пехоте с ее наполовину плебейским офицерским персоналом. Наконец позор последней войны, легший главной своей тяжестью на флот, убил в матросе всякое уважение к алчным и трусливым капитанам и адмиралам.

К матросам, как мы видели, наиболее решительно присоединяются с а п е р ы. Они являются с оружием и поселяются

во флотских казармах. Во всех революционных движениях нашей сухопутной армии мы наблюдаем тот же факт: в первых рядах идут саперы, минеры, артиллеристы, словом, не серые неграмотные парни, а квалифицированные солдаты, хорошо грамотные и с технической подготовкой. Этому различию умственного уровня соответствует разница социального типа: пехотный солдат—это в подавляющем большинстве своем—молодой крестьянин; тогда как инженерные и артиллерийские войска набираются, главным образом, из среды промышленных рабочих.

Мы видим, какую нерешительность проявляют Брестский и Белостокский пехотные полки в течение всех дней восстания. Они решаются удалить всех офицеров. Сперва примыкают к матросам, затем отпадают. Обещают не стрелять, но, в конце концов, совершенно подчиняются влиянию начальства и позорно расстреливают флотские казармы. Такую революционную неустойчивость крестьянской пехоты мы наблюдали впоследствии не раз на Сибирской железной дороге, как и в Свеаборгской крепости.

Но не только в сухопутной армии главную революционную роль играли технически-обученные, т.-е. пролетарские, ее элементы. То же явление мы наблюдаем и в самом флоте. Кто руководит «мятежами» матросов? Кто поднимает красное знамя на броненосце? Матрос-техник, машинная команда. Промышленные рабочие в матросских блузах, составляющие меньшинство экипажа, владеют им, владея машиной, сердцем броненосца.

Трения между пролетарским меньшинством и крестьянским большинством армии проходят через все наши военные восстания, обессиливая и парализуя их. Рабочие приносят с собой в казарму свои классовые преимущества: интеллигентность, техническую выучку, решительность, способность к сплоченным действиям. Крестьянство приносит свою подавляющую численность. Армия механически преодолевает производственную разрозненность мужика, посредством всеобщей воинской повинности, а его главный политический порок, пассивность, превращает в свое незаменимое преимущество. Если крестьянские полки и вовлекаются в революционное движение на почве своих непосредственных казарменных нужд, то они всегда склонны к выжидательной тактике, и при первом же решительном натиске врага покидают «мятежников» и позволяют снова впрячь себя в ярмо

дисциплины. Отсюда вытекает, что методом военного восстания должно быть решительное наступление—без остановок, порождающих колебание и разброд, но отсюда же видно, что тактика революционного натиска встречает главное препятствие в отсталости и недоверчивой пассивности солдата-мужика.

Это противоречие со всей силой обнаружилось вскоре в разгроме декабрьского восстания, закончившем первую главу русской революции.

# У порога контр-революции.

«Для дурного правительства,—говорит проницательный консерватор Токвиль,—наиболее опасным является обыкновенно тот момент, когда оно начинает преобразовываться». События все решительнее убеждали в этом графа Витте с каждым днем. Против него была революция—решительно и беспощадно. С ним не решалась итти открыто либеральная оппозиция. Против него была придворная камарилья. Правительственный аппарат дробился в его руках. И, наконец, он сам был против себя—без понимания событий, без плана, вооруженный интригой, вместо программы действий. А в то время, как он беспомощно суетился, реакция и революция надвигались друг на друга.

«...Факты, даже взятые из дел департамента полиции,—говорит тайная записка, составленная в ноябре 1905 г. по поручению гр. Витте для борьбы с «треповцами»,—с полной очевидностью показывают, что значительная часть тяжелых обвинений, возведенных на правительство обществом и народом, в ближайшие после манифеста дни, имели под собою вполне серьезные основания: существовали созданные высшими чинами правительства партии для «организованного отпора крайним элементам»; организовывались правительством патриотические манифестации и в то же время разгонялись другие; стреляли в мирных демонстрантов и позволяли на глазах у полиции и войск избивать людей и жечь губернскую земскую управу; не трогали погромщиков и залпами стреляли в тех, кто позволял себе защищаться от них; сознательно или бессознательно (?) подстрекали толпу к насилиям официальными объявлениями за подписью высшего представителя правительственной власти в большом городе, и когда затем беспорядки возникли, не принимали мер к к их подавлению. Все эти факты произошли на протяжении

3—4 дней в разных концах России и вызвали такую бурю негодования в среде населения, которая совершенно смыла первое радостное впечатление от чтения манифеста 17 октября.

«У населения при этом создалось вполне твердое убеждение, что все эти погромы, так неожиданно и вместе с тем одновременно прокатившиеся по всей России, провоцировались и направлялись одной и той же рукой, и притом рукой властной. К сожалению, население имело весьма серьезные основания так думать».

Когда Курляндский генерал-губернатор телеграммой поддерживал ходатайство двадцатитысячного митинга о снятии военного положения, выражая при этом предположение, что «военное положение не соответствует новой обстановке», Трепов уверенной рукою давал ему такой ответ: «На телеграмму 20 октября. С вашим заключением о несоответствии военного положения новой обстановке не согласен». Витте молча проглатывал это превосходное разъяснение своего подчиненного, что военное положение нимало не противоречит манифесту 17 октября, и старался даже убедить депутацию рабочих, что «Трепов совсем не такой зверь, как о нем говорят». Правда, под давлением всеобщего возмущения Трепову пришлось покинуть свой пост. Но заменивший его, в роли министра внутренних дел, Дурново был ничуть не лучше. Да и сам Трепов, назначенный дворцовым комендантом, сохранил все свое влияние на ход дел. Поведение провинциальной бюрократии зависело от него гораздо более, чем от Витте.

«Крайние партии,—говорит уже цитированная нами ноябрьская записка Витте,—приобрели силу потому, что, резко критикуя каждое действие правительства, они слишком часто оказывались правыми. Эти партии потеряли бы значительную часть своего престижа, если бы массы тотчас по распубликовании манифеста увидели, что правительство действительно решило пойти по новому, начертанному в манифесте пути, и что оно идет по нему. К сожалению, случилось совершенно обратное, и крайние партии имели еще раз случай, важность которого почти невозможно оценить, гордиться тем, что они, и только они, правильно оценили значение обещаний правительства». В ноябре, как показывает записка, Витте это начал понимать. Но он не имел возможности применить к делу свое понимание. Написан-

ная по его поручению для царя записка осталась неиспользованной [1]).

Беспомощно барахтаясь, Витте отныне лишь тащился на буксире контр-революции.

Еще 6 ноября собрался в Москве земский съезд, чтоб определить отношение либеральной оппозиции к правительству. Настроение было колеблющимся, с несомненным, однако, уклоном вправо. Правда, раздавались радикальные голоса. Говорилось, что «бюрократия способна не к творчеству, а лишь к разрушению»; что созидательную силу нужно искать в «могучем рабочем движении, давшем манифест 17-го октября»; что «мы не хотим пожалованной конституции и примем ее лишь из рук русского народа». Родичев, питающий непреодолимое пристрастие к ложно-классическому стилю, восклицал: «Или всеобщее прямое избирательное право—или думы не будет!». Но, с другой стороны, на самом же съезде было заявлено: «Аграрные беспорядки, забастовки,—все это порождает испуг; испугался капитал, испугались состоятельные люди, берут деньги в банках и уезжают за границу». «Глумятся над учреждением сатрапий, как средством борьбы с аграрными беспорядками,—возвышались отрезвляющие помещичьи голоса,—но пусть укажут конституционное средство против такого явления?» «Лучше итти на какие угодно компромиссы, чем обострять борьбу...». «Пора остановиться,—восклицал, впервые выступивший здесь на политическую арену, Гучков,—мы своими руками подкладываем хворост в костер, который сожжет нас всех».

Первые сведения о восстании севастопольского флота подвергли оппозиционное мужество земцев непосильному испытанию. «Мы имеем дело не с революцией,—заявил Нестор земского либерализма г. Петрункевич,—а с анархией». Под непосредственным влиянием севастопольских событий стремление к немедленному соглашению с министерством Витте берет верх. Милюков делает попытку удержать съезд от каких-либо явных компрометирующих шагов. Он успокаивает земцев тем, что «возмущение в Севастополе идет к концу, главные бунтовщики арестованы, и

[1]) Эта интересная записка напечатана в сборнике (разумеется, конфискованном): «Материалы к истории русской контр-революции», С.-Петербург 1908.

опасения, повидимому, преждевременны». Тщетно! Съезд постановляет отправить депутацию к Витте, вручив ей для передачи графу резолюцию условного доверия, вставленного в оправу оппозиционно-демократических фраз. В это время Совет министров при участии нескольких «общественных деятелей» из правого либерального крыла обсуждал вопрос о системе выборов в Государственную Думу. Так называемые «общественные деятели» стояли за всеобщее избирательное право, как за печальную необходимость. Граф доказывал преимущества постепенного усовершенствования гениальной системы Булыгина. Ни к каким результатам не пришли, и с 21 ноября Совет министров обходился уже без помощи господ «общественных деятелей». 22 ноября земская депутация в составе г. г. Петрункевича, Муромцева и Кокошкина вручила графу Витте земскую ноту и, не дождавшись в течение семи дней никакого ответа, с позором вернулась в Москву. В догонку ей прибыл ответ графа, написанный в тоне сановно-бюрократической надменности. Задача Совета министров заключается-де прежде всего в исполнении высочайшей воли; все, что идет за пределы манифеста 17 октября, должно быть отметено; от исключительных положений не позволяет отказаться смута; по отношению к общественным группам, не желающим поддерживать правительство, последнее заинтересовано лишь в том, чтобы эти последние сознавали последствия своего поведения...

В противовес земскому съезду, который при всей своей трусости и дряблости, несомненно, все еще отклонялся далеко влево от действительного настроения земств и дум, 24 ноября была доставлена в Царское Село депутация Тульского губернского земства. Глава депутации, граф Бобринский, в своей византийско-холопской речи, между прочим, сказал: «Больших прав нам не нужно, так как власть царская для нашего же блага должна быть сильна и действительна... Государь, о нуждах народа вы узнаете не из случайных криков и возгласов, а эту правду вы услышите от законно созванной вами Государственной Думы. Мы умоляем вас не медлить ее созывом. Народ сроднился уже с положением о выборах 6-го августа»...

События как бы сговорились, чтобы форсировать передвижение имущих классов в лагерь порядка. Еще в середине ноября самопроизвольно и неожиданно вспыхнула почтово-телеграфная

забастовка. Она была ответом пробудившихся илотов почтового ведомства на циркуляр Дурново, воспрещавший чиновникам образование союзов. Графу Витте был со стороны почтово-телеграфного союза предъявлен ультиматум: отменить циркуляр Дурново и принять обратно чиновников, уволенных за принадлежность к организации. 15 ноября почтово-телеграфный съезд, собравшийся в числе 73 делегатов в Москве, единодушно постановляет разослать по всем линиям телеграмму: «Ответа от Витте не получено. Бастуйте». Напряжение было так велико, что в Сибири забастовка началась еще до истечения указанного в ультиматуме срока. На другой день стачка при аплодисментах широких групп прогрессивного чиновничества охватила всю Россию. Витте глубокомысленно разъяснял различным депутациям, что правительство «не ожидало» такого оборота событий. Либералы встревожились по поводу того вреда, который наносит «культуре» прекращение почтовых сношений, и, нахмурив лбы, занялись изысканиями относительно «пределов свободы коалиций в Германии и Франции»... Петербургский Совет Рабочих Депутатов не колебался ни минуты. И если почтово-телеграфная забастовка возникла отнюдь не по его инициативе, то в Петербурге она была проведена при его деятельной поддержке. Из кассы Совета было выдано забастовщикам 2.000 рублей. Исполнительный Комитет посылал на их собрания своих ораторов, печатал их воззвания и организовывал патрули против штрейкбрехеров. Трудно учесть, как отразилась эта тактика на «культуре»; но несомненно, что она привлекла горячие симпатии обездоленного чиновничества к пролетариату. Уже в начале забастовки почтово-телеграфный съезд отрядил в Совет пять делегатов...

Приостановка почтовых сношений во всяком случае наносила жестокий урон если не культуре, то торговле. Купечество и биржа метались между стачечным комитетом и министерством, то упрашивая чиновников прекратить стачку, то требуя репрессивных мер против забастовщиков. Под влиянием все новых и новых ударов по карману, реакция в капиталистических классах крепла с каждым днем. Вместе с тем возрастала с каждым часом реакционная наглость заговорщиков Царского Села. Если что еще сдерживало до поры до времени натиск реакции, так это лишь страх пред неизбежным ответом революции. Это с превосходной наглядностью показал инцидент, разыгравшийся в связи с при-

говором, вынесенным нескольким железнодорожным служащим военным судом в средне-азиатской крепости Кушка. Факт настолько замечателен сам по себе, что мы здесь о нем расскажем в нескольких словах.

23 ноября, в самый разгар почтово-телеграфной забастовки, Комитет петербургского железнодорожного узла получил из Кушки телеграфное сообщение о том, что комендант крепости инженер Соколов и несколько других служащих преданы за революционную агитацию военно-полевому суду, который приговорил их к смертной казни, при чем приговор должен состояться 23 ноября в 12 часов ночи. Бастующая телеграфная проволока в несколько часов связала между собою все железнодорожные узлы. Железнодорожная армия требовала предъявления правительству срочного ультиматума. И ультиматум был предъявлен. По соглашению с Исполнительным Комитетом Совета Депутатов Железнодорожный съезд заявил министерству: если к 8 часам вечера не будет отменен смертный приговор, все железные дороги прекратят движение.

В памяти автора ярко стоит то знаменательное заседание Исполнительного Комитета, на котором, в ожидании правительственного ответа, вырабатывался план действий. Все напряженно следили за стрелкой часов. Один за другим приходили представители разных железнодорожных линий, сообщая о телеграфном присоединении к ультиматуму новых и новых дорог. Было ясно, что если правительство не уступит, развернется отчаянная борьба... И что же? В пять минут девятого —только триста секунд отважилось оттянуть для спасения своего престижа царское правительство —министр путей сообщения экстренной телеграммой уведомил железнодорожный комитет, что исполнение приговора приостановлено. На другой день министерство само распубликовало о своей капитуляции в правительственном сообщении. К нему-де поступила «просьба (!) отменить приговор с выражением намерения (!) в противном случае объявить забастовку». От местных военных властей правительство никаких сообщений не получало, что, «вероятно, объясняется забастовкой правительственного телеграфа». Во всяком случае «тотчас по получении телеграфных заявлений», военный министр послал распоряжение «приостановить исполнение приговора, если таковой действительно состоялся, до выяснения обстоятельств дела». Официальное

сообщение умалчивает лишь о том, что свое распоряжение военному министру пришлось пересылать через посредство Железно-дорожного Союза, ибо самому правительству бастующий телеграф был недоступен.

Эта красивая победа была, однако, последней победой революции. Дальше она видела только поражения. Ее организации подверглись сперва аванпостному обстрелу. Стало очевидно, что на них готовится беспощадная атака. Еще 14 ноября арестовали в Москве, на основании положения об усиленной охране, бюро Крестьянского Союза. И около того же времени в Царском Селе был решен арест председателя Петербурского Совета Рабочих Депутатов. Однако администрация медлила с выполнением своего постановления. Она еще не чувствовала полной уверенности, нащупывала почву и колебалась. Противником царскосельского заговора оказался министр юстиции. Он доказывал, что Совет Депутатов не может быть отнесен к числу тайных сообществ, так как он действовал вполне открыто, анонсировал свои заседания, печатал в газетах свои отчеты и даже вступал в сношения с административными лицами. «То обстоятельство,—так передавала точку зрения министра юстиции осведомленная пресса,— что ни правительство, ни администрация не предпринимали никаких мер к пресечению деятельности, направленной к ниспровержению существующего строя, что последняя даже часто командировала к месту заседаний Совета патрули для охранения порядка, что даже петербургский градоначальник принимал председателя Совета Хрусталева, зная, кто он, и в качестве кого он является,—все это дает полное основание всем участникам Совета Рабочих Депутатов считать свою деятельность отнюдь не противоречащей тому курсу, который господствует в правительственных сферах и, стало-быть, не преступной».

Но, в конце-концов, министр юстиции нашел средство преодолеть свои юридические сомнения,—и 26 ноября Хрусталев был арестован в помещении Исполнительного Комитета.

Два слова о значении этого ареста. На втором заседании Совета, 14 октября, председателем был избран, по предложению представителя социал-демократической организации, молодой адвокат Георгий Носарь, приобревший вскоре большую популярность под именем Хрусталева. Он оставался председателем до дня своего ареста, 26 ноября, и в его руках сосредоточивались

все организационные нити практической деятельности Совета. Радикально-уличная пресса, с одной стороны, и реакционно-полицейская, с другой, в течение нескольких недель создали вокруг этой фигуры историческую легенду. Как в свое время 9 января казалось им плодом проникновенного замысла и демагогического гения Георгия Гапона, так Совет Рабочих Депутатов представлялся им гибким орудием в титанических руках Георгия Носаря. Ошибка во втором случае была еще грубее и абсурднее, чем в первом. Хотя работа, развитая Хрусталевым в качестве председателя, неизмеримо богаче и содержательнее, чем авантюристская деятельность Гапона, личное влияние председателя Совета на ход и исход событий несравненно меньше того влияния, которое получил взбунтовавшийся поп из департамента полиции. В этом не вина Хрусталева, а заслуга революции. С января по октябрь она заставила пролетариат пройти большую политическую школу. Формула г е р о й и т о л п а уже не имела применения в революционной практике рабочих масс. Личность вождя растворилась в организации; с другой стороны, объединенная масса сама стала политической личностью.

Практически-находчивый и деловитый человек, энергичный и умелый председатель, хотя и посредственный оратор, импульсивная натура без политического прошлого и без политической физиономии, Хрусталев оказался как нельзя лучше приспособленным для той роли, которую он сыграл в конце 1905 года. Рабочие массы, революционно-настроенные и с резким классовым чувством, были, однако, в большинстве лишены партийной определенности. То, что мы сказали выше о самом Совете, здесь можно отнести к Хрусталеву. Все социалисты с прошлым были партийными людьми, а кандидатура партийного человека внесла бы трения в среду Совета в самый момент его возникновения. С другой стороны, политическая неопределенность Хрусталева облегчала Совету его сношения с непролетарским миром, особенно с интелигентскими организациями, оказавшими Совету значительную материальную помощь. Доверяя председательство беспартийному лицу, социал-демократия рассчитывала на свой политический контроль. Она не ошиблась. Уже через 3—4 недели колоссальный рост ее влияния и силы сказался, между прочим, и в том, что Хрусталев публично заявил о своем присоединении к социал-демократии (к меньшевикам).

Чего думало правительство достигнуть арестом Хрусталева? Надеялось ли оно путем устранения председателя разрушить организацию? Это было бы, пожалуй, слишком тупоумно—даже для Дурново. Трудно, однако, на вопрос о мотивах ответить вполне определенно уже потому, что мотивы были, вероятно, неясны самим реакционным заговорщикам, которые собрались в Царском Селе для обсуждения судеб революции, а разрешились отдельной жандармской мерой. Во всяком случае арест председателя при тех условиях, при каких он был произведен, получал для Совета огромное симптоматическое значение. Для всякого, кто накануне мог еще сомневаться в этом, стало ясно, как день, что для обеих сторон отступления нет, что решительное столкновение неизбежно и что нас отделяют от него не месяцы и не недели, а дни.

---

# Последние дни Совета.

Покинуть после ареста Хрусталева открытую арену Совет не мог: свободно избранный парламент рабочего класса, он был силен именно открытым характером своей деятельности. Распустить свою организацию значило добровольно открыть крепостные ворота врагу. Оставалось итти прежней дорогой—навстречу конфликту. На заседании Исполнительного Комитета 26 ноября представитель партии социал-революционеров («сам» Чернов) предложил издать заявление, что на каждую меру правительственной репрессии Совет будет отвечать террористическим ударом. Мы выступили против этого: в тот небольшой срок, который оставался до открытия военных действий, Совет должен был как можно теснее натянуть связи с другими городами, с Крестьянским, Железнодорожным, Почтово-телеграфным Союзами, с армией,—для этой цели еще в середине ноября были отправлены два делегата: один—на юг, другой—на Волгу; между тем террористическая погоня за отдельными министрами, несомненно, поглотила бы все внимание и всю энергию Исполнительного Комитета. Мы предложили внести на заседание Совета следующую резолюцию: «26-го ноября царским правительством взят в плен председатель Совета Рабочих Депутатов т. Хрусталев-Носарь. Совет Р. Д. выбирает временный президиум и продолжает готовиться к вооруженному восстанию». Как кандидаты в президиум были намечены три лица: докладчик Исполнительного Комитета Яновский (под именем Яновского фигурировал в Совете автор этой книги), кассир Введенский (Сверчков) и депутат от Обуховского завода рабочий Злыднев.

Общее собрание Совета происходило на следующий день открыто, как всегда. Присутствовало 302 депутата. Настроение царило нервное, многие члены Совета хотели немедленного и прямого ответа на партизанский набег министерства. Но после



Хрусталев, председатель совета.

кратких прений собрание единодушно принимает резолюцию Исполнительного Комитета и закрытой баллотировкой выбирает предложенных им кандидатов в президиум.

Присутствующий на заседании представитель Главного Комитета Крестьянского Союза докладывает собранию о постановлении ноябрьского съезда союза: не давать правительству рекрут и податей и брать назад вклады из государственных банков и сберегательных касс. Ввиду того, что Исполнительный Комитет еще 23 ноября принял резолюцию, приглашающую рабочих, «ввиду наступающего государственного банкротства», принимать уплату жалованья только золотом и извлекать свои вклады из сберегательных касс, делается постановление о том, чтобы обобщить эти меры финансового бойкота и изложить их в Манифесте к народу — от имени Совета, Крестьянского Союза и социалистических партий.

Возможны ли будут дальнейшие общие собрания пролетарского парламента? Уверенности в этом нет. Собрание постановляет в случае невозможности созвать Совет, передать его функции Исполнительному Комитету в расширенном составе. После ареста Совета 3 декабря его полномочия на основании этого решения перешли к Исполнительному Комитету второго Совета.

Затем собрание выслушивает горячие приветствия от имени сознательных солдат финляндских батальонов, от Польской социалистической партии, от Всероссийского Крестьянского Союза. Делегат его обещает в решительный час братскую поддержку революционного крестьянства. При неописуемом энтузиазме депутатов и гостей, под непрерывный гром аплодисментов и возгласов представитель Крестьянского Союза и председатель Совета обмениваются рукопожатиями. Собрание расходится глубокой ночью. Последним покидает свое место дежуривший, как всегда, у входа, по распоряжению градоначальника, наряд полиции. Для характеристики положения интересно отметить, что в этот самый вечер маленький полицейский чиновник, по распоряжению того же градоначальника, не допустил легального и мирного собрания буржуазных избирателей с Милюковым во главе...

Большинство петербургских заводов присоединилось к резолюции Совета, которая нашла также сочувственный отклик в

резолюциях Московского и Самарского Советов, Железнодорожного и Почтово-телеграфного Союзов, а также ряда местных организаций. Даже Центральное Бюро Союза Союзов присоединилось к постановлению Совета и выпустило призыв «ко всем живым элементам страны»—деятельно готовиться к близкой политической стачке и к «последней вооруженной схватке с врагами народной свободы».

Однако среди либеральной и радикальной буржуазии октябрьские симпатии к пролетариату успели остыть. Положение становилось все более острым, и либерализм, ожесточаемый собственной бездеятельностью, угрюмо ворчал по адресу Совета. Рядовой обыватель, мало причастный к политике, относился к Совету полу-доброжелательно, полу-подобострастно. Когда он боялся, что в пути его застигнет железнодорожная стачка, он заходил за справкой в бюро Совета. Сюда же онъ приходил сдавать свою телеграмму во время почтово-телеграфной забастовки, и если бюро признавало телеграмму достаточно важной, она отправлялась. Так, вдова сенатора Б., тщетно обегав канцелярии министров, в конце концов, обратилась по поводу важной семейной телеграммы к содействию Совета. Его письменный ордер освобождал обывателя от выполнения законов. Граверная мастерская согласилась сделать печать для нелегального Почтово-телеграфного Союза, только получив письменное «разрешение» Совета. Северный Банк учел Совету просроченный чек. Типография морского министерства запрашивала Совет, бастовать ли ей? К нему же обращались в опасные минуты, ища защиты от частных лиц, чиновников и даже от правительства. Когда Лифляндская губерния была объявлена на военном положении, латышская часть петербургского населения просила Совет «сказать свое слово» по поводу нового насилия царизма. 30 ноября обратился к Совету Союз санитаров, которых Красный Крест завлек на войну путем заманчивых обещаний, а затем отпустил ни с чем; арест Совета прервал его энергичную переписку по этому поводу с Главным Правлением Красного Креста. В помещении Совета всегда толпились всевозможные просители, ходатаи, жалобщики, обиженные; чаще всего рабочие, прислуга, приказчики, крестьяне, солдаты, матросы... У иных было совершенно фантастическое представление о могуществе Совета и об его методах. Так, один слепой инвалид, участвовавший в русско-

турецкой войне, весь в крестах и медалях, жаловался на горькую нужду и просил, чтобы Совет «нажал на с а м о г о» (т.-е. на царя)... Были заявления и ходатайства из отдаленных мест. Уездные жители одной из польских губерний прислали Совету после ноябрьской стачки благодарственную телеграмму. Какой-то старый казак жаловался Совету из Полтавской губернии на несправедливость князей Репниных, которые 28 лет эксплоатировали его, в качестве конторщика, а затем уволили без объяснения причин. Старик просил Совет оказать давление на князей Репниных. На адресе этого любопытного ходатайства значилось только: Петербург, Рабочее правление,—тем не менее, революционная почта безошибочно доставила пакет по назначению. Из Минской губ. прибыл в Совет за справкой нарочный депутат от артели по земляным работам, которой помещик хотел уплатить 3.000 руб. какими-то акциями по пониженной цене. «Как быть?—спрашивал присланный,—и взять-то охота, и боязно: слышали мы, что ваше правительство хочет, чтоб рабочие заработок свой получали чистоганом: золотом или серебром». Оказалось, что акции помещика не имеют почти никакой цены... Вести о Совете только под конец его деятельности начали доходить до деревни. Обращения от крестьян становились все чаще. Черниговцы просили связать их с местной социалистической организацией, могилевцы прислали ходоков с приговорами нескольких сходов о том, что они будут действовать заодно с городскими рабочими и Советом...

Великое поле деятельности открывалось пред Советом,—вокруг были необъятные пространства политической целины, которую нужно было еще только распахать глубоким революционным плугом. Но время не ждало. Реакция лихорадочно ковала свои ковы, и удара можно было ждать с часу на час. Исполнительный Комитет среди массы будничной работы выполнял лихорадочно постановление Совета от 27 ноября. Он выпустил воззвание к солдатам (см. «Ноябрьская стачка») и на совещании с представителями революционных партий одобрил предложенный Парвусом текст «финансового» манифеста. 2-го декабря Манифест был опубликован в восьми петербургских газетах: четырех социалистических и четырех либеральных. Вот текст этого исторического документа:

## Манифест.

Правительство на краю банкротства. Оно превратило страну в развалины и усеяло их трупами. Измученные и изголодавшиеся крестьяне не в состоянии платить подати. Правительство на народные деньги открыло кредит помещикам. Теперь ему некуда деваться с заложенными помещичьими усадьбами. Фабрики и заводы стоят без дела. Нет работы. Общий торговый застой. Правительство на капитал иностранных займов строило железные дороги, флот, крепости, запасалось оружием. Иссякли иностранные источники,—исчезли казенные заказы. Купец, поставщик, подрядчик, заводчик, привыкшие обогащаться на казенный счет, остаются без наживы и закрывают свои конторы и заводы. Одно банкротство следует за другим. Банки рушатся. Все торговые обороты сократились до последней крайности.

Борьба правительства с революцией создает беспрерывные волнения. Никто не уверен больше в завтрашнем дне.

Иностранный капитал уходит обратно за границу. Уплывает в заграничные банки и капитал «чисто русский». Богачи продают свое имущество и спасаются за границу. Хищники бегут вон из страны и уносят с собой народное добро.

Правительство издавна все доходы государства тратило на армию и флот. Школ нет. Дороги запущены. Несмотря на это, не хватает даже на продовольственное содержание солдат. Проиграли войну отчасти потому, что не было достаточно военных запасов. По всей стране подымаются восстания обнищавшей и голодной армии.

Железнодорожное хозяйство расстроено, массы железных дорог опустошены правительством. Чтобы восстановить железнодорожное хозяйство, необходимы многие сотни миллионов.

Правительство расхитило сберегательные кассы и роздало вклады на поддержку частных банков и промышленных предприятий, нередко совершенно дутых. Капиталом мелких вкладчиков оно ведет игру на бирже, подвергая его ежедневному риску.

Золотой запас государственного банка ничтожен в сравнении с требованиями по государственным займам и запросам торговых оборотов. Он разлетится в пыль, если при всех сделках будут требовать размена на золотую монету.

Пользуясь безотчетностью государственных финансов, правительство давно уже делает займы, далеко превосходящие платежные средства страны. Оно новыми займами покрывает проценты по старым.

Правительство год за годом составляет фальшивую смету доходов и расходов, при чем и те и другие показывает меньше действительных, грабя по произволу, высчитывает избыток, вместо ежегодного недочета. Бесконтрольные чиновники расхищают и без того истощенную казну.

Приостановить это финансовое разорение может только после свержения самодержавия Учредительное Собрание. Оно займется строгим расследованием государственных финансов и установит подробную, ясную, точную и проверенную смету государственных доходов и расходов (бюджет).

Страх перед народным контролем, который раскроет перед всем миром финансовую несостоятельность правительства, заставляет его затягивать созыв народного представительства.

Финансовое банкротство государства создано самодержавием так же, так и его военное банкротство. Народному представительству предстоит только задача по возможности скорей провести расчет по долгам.

Защищая свое хищничество, правительство заставляет народ вести с ним смертную борьбу. В этой борьбе гибнут и разоряются сотни тысяч граждан, и разрушаются в своих основах производство, торговля и средства сообщения.

Исход один—свергнуть правительство, отнять у него последние силы. Надо отрезать у него последний источник существования: финансовые доходы. Необходимо это не только для политического и экономического освобождения страны, но и, в частности, для упорядочения финансового хозяйства государства.

Мы поэтому решаем:

Отказываться от взноса выкупных и всех других казенных платежей. Требовать при всех сделках, при выдаче заработной платы и жалованья—уплаты золотом, а при суммах меньше пяти рублей—полновесной звонкой монетой.

Брать вклады из сберегательных касс и из государственного банка, требуя уплаты всей суммы золотом.

Самодержавие никогда не пользовалось доверием народа и не имело от него полномочий.

В настоящее время правительство распоряжается в границах собственного государства, как в завоеванной стране.

Посему мы решаем не допускать уплаты долгов по всем тем займам, которые царское правительство заключило, когда явно и открыто вело войну со всем народом.

Совет Рабочих Депутатов.

Главный Комитет Всероссийского Крестьянского Союза.

Центральный комитет и Организационная комиссия Российской социал-демократической рабочей партии.

Центральный комитет Партии социалистов-революционеров.

Центральный комитет Польской социалистической партии.

Разумеется, этот манифест сам по себе не мог повалить ни царизм, ни его финансы. Такого чуда ждала от своего выборгского воззвания полгода спустя первая Государственная Дума, призывавшая население к мирному отказу от уплаты податей— «по английскому образцу». Финансовый манифест Совета был не чем иным, как вступлением к декабрьскому восстанию. Подкрепленный стачкой и баррикадными боями, он нашел могучий отклик во всей стране. В то время, как за предшествовавшие три года вклады в сберегательные кассы в течение декабря превышали выдачи на 4 миллиона рублей, в декабре 1905 г. перевес выдач над вкладами равнялся 90 миллионам: манифест извлек из правительственных резервуаров в течение месяца 94 миллиона рублей! Когда восстание было раздавлено царскими ордами, равновесие в сберегательных кассах снова восстановилось...

* * *

В двадцатых числах ноября объявлены на военном положении Киев и Киевский уезд, губернии Лифляндская, Черниговская, Саратовская, Пензенская и Симбирская,—главная арена аграрных волнений.

24-го, в день введения «временных» правил о печати, чрезвычайно расширены права губернаторов и градоначальников.

28-го учреждена должность «временного» прибалтийского генерал-губернатора, 29-го предоставлено местным сатрапам, в случае железнодорожных или почтово-телеграфных стачек, собственной властью объявлять свои губернии на исключительном положении.

1 декабря представлялась в Царском Селе Николаю спешно набранная пестрая депутация из перепуганных помещиков, монахов и городских погромщиков. Она требовала беспощадной кары над революционными злоумышленниками и заодно над сановными попустителями всякого ранга; не ограничиваясь этим намеком на Витте, депутация поясняла: «самодержавным повелением призови иных исполнителей твоей монаршей воли». «Принимаю вас в уверенности,—ответил Николай этой грязной шайке крепостников и наемных громил,—что вижу пред собою истинных сынов России, искони преданных мне и отечеству». По сигналу из центра провинциальная администрация доставляет в Петербург множество благодарственных адресов на высочайшее имя от имени крестьян и мещан. «Союз русского народа», получивший, очевидно, в это время первую крупную субсидию, устраивает ряд митингов и распространяет погромно-патриотическую литературу.

2 декабря конфискованы и приостановлены восемь газет, напечатавших финансовый Манифест Совета. В этот же день изданы каторжные правила о стачках и союзах служащих железной дороги, почты, телеграфа и телефона, карающие тюрьмой до 4 лет. Революционные газеты опубликовали 2 декабря перехваченное распоряжение воронежского губернатора, на основании тайного циркуляра Дурново: «Совершенно секретно... Выяснить немедленно всех главарей противоправительственного и аграрного движения и заключить в местную тюрьму для поступления с ними согласно указания г. министра внутренних дел». Правительство впервые публикует грозное сообщение: крайние партии поставили своей целью разрушение экономического, общественного и политического уклада страны; социал-демократы и социалисты-революционеры по существу являются анархистами: они объявляют войну правительству, порочат своих противников, препятствуют обществу наслаждаться благами нового строя; они вызывают стачки, чтоб превращать рабочих в материал революции. «Пролитие крови рабочих (правительством!) неспособно вызвать у них (революционеров!) угрызений совести». Если против этих явлений не помогут обычные средства, то, «несомненно, явится необходимость принятия совершенно исключительных мер».

Сословные интересы привилегированных, испуг имущих, мстительная злоба бюрократии, готовность подкупленных, темная ненависть одураченных,—все смешалось в один отвратительный кроваво-грязный ком реакции. Из Царского Села отпускали золото, министерство Дурново плело петли подпольного заговора, наемные убийцы точили ножи...

А революция неудержимо росла. К ее основной армии, промышленному пролетариату, присоединялись все новые и новые отряды. В городах происходили митинги дворников, швейцаров, поваров, домашней прислуги, полотеров, официантов, банщиков, прачек. На собраниях и в прессе появляются удивительные фигуры: «сознательные» строевые казаки, станционные жандармы, городовые, околоточные и даже кающиеся сыщики. Социальное землетрясение выбрасывает из каких-то таинственных глубин все новые и новые слои, о существовании которых никто не помнит в мирное время. Мелкие чиновники, тюремные надзиратели, военные писаря сменяют друг друга в помещениях революционных газет.

Ноябрьская стачка оказала огромное влияние на армию. Волна военных митингов прокатилась по всей стране. По казармам носился дух мятежа. Здесь недовольство возникает обычно на почве солдатских нужд, быстро нарастает и принимает политическую окраску. Начиная с двадцатых чисел ноября происходят серьезнейшие солдатские волнения в Петербурге (среди матросов), Киеве, Екатеринодаре, Елисаветполе, Проскурове, Курске, Ломже... В Варшаве гвардейцы требуют освобождения арестованных офицеров. Со всех сторон идут сведения о том, что вся маньчжурская армия охвачена пламенем восстания. 28 ноября в Иркутске происходит митинг, на котором принимают участие все войска гарнизона, около 4.000 солдат. Под председательством унтер-офицера постановлено присоединиться к требованию Учредительного Собрания. Во многих городах солдаты на митингах братаются с рабочими. 2-го и 3-го декабря открываются волнения в войсках московского гарнизона. Митинги. на которых принимают участие даже казаки, шествия по улицам под звуки марсельезы, удаление офицеров из некоторых полков... И наконец, как революционный фон для котлом кипящего города,—пылающие в огне крестьянского восстания губернии. В конце ноября и начале декабря аграрные беспорядки

охватывают длинный ряд уездов: в центре под Москвою, на Волге, на Дону, в Царстве Польском непрерывно идут крестьянские стачки, разгромы казенных винных лавок, поджоги имений, захват имущества и земли. Вся Ковенская губерния охвачена литовским крестьянским восстанием. Из Лифляндии идут вести одна тревожнее другой. Помещики бегут из своих имений, провинциальные администраторы покидают свои посты...

Достаточно лишь ясно представить себе ту картину, которую представляла собою Россия в это время, чтобы понять, как неотвратимо было декабрьское столкновение. «Нужно было уклониться от борьбы», говорят задним числом некоторые мудрецы (Плеханов). Точно дело идет о шахматной партии, а не об элементарном движении миллионов!..

* * *

«Совет рабочих депутатов,—писало «Новое Время»,—не унывает, продолжает действовать энергично и печатает свои распоряжения чисто спартанским языком, кратко, ясно и понятно, чего отнюдь нельзя сказать о правительстве гр. Витте, которое предпочитает длинный и скучный язык меланхолической девы». 3 декабря правительство Витте, в свою очередь, заговорило «кратко, ясно и понятно»: оно окружило здание Вольно-Экономического Общества войсками всех родов оружия и арестовало Совет.

В 4 ч. дня собрался Исполнительный Комитет. Порядок дня был заранее дан конфискацией газет, каторжными правилами о стачках и заговорщической телеграммою Дурново. Представитель Центрального Комитета Социал-Демократической партии (большевиков) вносит от имени партии предложение: принять вызов абсолютизма, снестись немедленно со всеми революционными организациями страны, назначить день открытия всеобщей политической стачки, призвать к действию все силы, все резервы и, опираясь на аграрные движения и волнения солдат, итти навстречу решительной развязке...

Делегат железнодорожного союза выражает уверенность, что созванный на 6 декабря железнодорожный съезд, несомненно, выскажется за забастовку.

Представитель Почтово-телеграфного союза высказывается за предложение партии и надеется, что общее выступление вдохнет новую жизнь в потухающую почтово-телеграфную стачку... Прения прерываются известием, что сегодня предстоит арест Совета. Через полчаса приходит подтверждение. К этому времени большой зал в два света уже успел наполниться делегатами, представителями партий, корреспондентами и гостями. Исполнительный Комитет, заседающий во втором этаже, решает удалить нескольких своих членов, чтоб сохранить преемственность на случай ареста. Но поздно! Здание окружено солдатами Измайловского гвардейского полка, верховыми казаками, городовыми, жандармами... Топот ног, звон шпор, лязг оружия наполняют здание. Бурные протесты делегатов доносятся снизу. Председатель открывает окно второго этажа, перегибается вниз и кричит: «Товарищи, сопротивления не оказывать! Мы заранее объявляем, что здесь может раздаться только полицейский или провокаторский выстрел»... Через несколько минут солдаты поднимаются во второй этаж и становятся у входа в помещение Исполнительного Комитета.

Председатель (обращаясь к офицеру): Предлагаю закрыть двери и не мешать нашим занятиям.

Солдаты остаются в коридоре, но дверей не закрывают.

Председатель: Заседание продолжается. Кто хочет слова?

Представитель союза конторщиков: Своим сегодняшним актом грубого насилия правительство подкрепило доводы в пользу всеобщей забастовки. Оно предрешило ее... Исход нового решительного выступления пролетариата зависит от войск. Пусть же они встанут на защиту родины! (Офицер поспешно закрывает дверь. Оратор повышает голос). И сквозь закрытые двери донесется до солдат братский призыв рабочих, голос измученной страны!..

Дверь раскрывается, в комнату вползает бледный, как смерть, жандармский ротмистр (он боялся пули), за ним дюжины две городовых, которые размещаются за стульями делегатов.

Председатель: Объявляю заседание Исполнительного Комитета закрытым.

Снизу доносится громкий и дружный металлический стук кажется, будто там работает десяток кузнецов над наковальнями: это делегаты портят и разбивают свои браунинги, чтобы не достались в руки полиции.

Начинается обыск. Все отказываются называть себя. Обысканные, описанные и занумерованные поступают под конвой полупьяных гвардейцев.

Петербургский Совет Рабочих Депутатов—в руках заговорщиков Царского Села.

---

# Декабрь.

4 декабря Московский Совет депутатов присоединяется к «финансовому манифесту», а 6 декабря—под непосредственным давлением крупных волнений в московском гарнизоне—Совет, охватывавший к этому времени 100.000 рабочих, постановляет вместе с революционными партиями объявить в Москве на завтра, 7 декабря, всеобщую политическую стачку и стремиться перевести ее в вооруженное восстание. Конференция депутатов 29 железных дорог, собравшаяся в Москве 5—6 декабря, постановила присоединиться к постановлению Совета. Такое же решение принял и Почтово-телеграфный съезд.

В Петербурге забастовка открылась 8-го, на следующий день достигла апогея, с 12-го уже пошла на убыль. Она протекала гораздо менее дружно, чем ноябрьская, и охватила не более $^2/_3$ рабочих. Нерешительность Петербурга объясняется тем, что именно здесь рабочие яснее, чем где бы то ни было, понимали, что дело идет на этот раз не о стачечной манифестации, а о борьбе на жизнь и смерть. 9 января неизгладимо врезалось в сознание масс. Лицом к лицу с чудовищным гарнизоном, ядро которого образуют гвардейские полки, петербургские рабочие не могут брать на себя инициативу революционного восстания; их миссия—как это показала октябрьская стачка—нанести последний удар абсолютизму, уже потрясенному восстанием в остальной стране. Только крупная победа в провинции могла создать в Петербурге психологическую возможность решительных действий. Но этой победы не было,—и колебания сменились отступлением.

Рядом с пассивностью Петербурга роковую роль в дальнейшем развитии событий сыграло продолжение работы Николаевской железной дороги (Петербург—Москва). На петербургском комитете ж.-д. союза отразилось общее выжидательное

настроение, господствовавшее в столице. Между тем правительство, внимание которого было целиком устремлено на Николаевскую артерию, воспользовалось промедлением и заняло войсками путь. Часть мастерских стала, но на телеграфе работало начальство, на линии—железнодорожный батальон. Попытки прекратить движение делались не раз, но безуспешно. 16 декабря рабочими из Твери была разрушена часть пути, чтоб помешать отправке войск из Петербурга в Москву. Но было поздно: Семеновский гвардейский полк уже прошел. В общем же железнодорожная забастовка открылась очень дружно. До 10 забастовало большинство линий; отсталые примыкали в ближайшие дни. Открывая забастовку, конференция железнодорожного союза заявила: «Мы берем на себя возвратить войска из Маньчжурии в Россию гораздо скорее, чем это сделало бы правительство... Мы примем все меры для перевозки продовольственного хлеба голодающим крестьянам и провизии для товарищей на линии». Не в первый раз мы тут встречаемся с одним из тех явлений, в смысл которых следовало бы вдуматься анархистам, сохранившим способность размышления: парализуя государственную власть, всеобщая стачка возлагает на свою организацию крайне важные государственные функции. И нужно признать, что железнодорожный союз действовал, в общем, превосходно. Поезда с запасными войсками, с дружинниками и членами революционных организаций передвигались с замечательной правильностью и быстротой, несмотря на близость правительственных войск во многих местах. Многими станциями управляли выборные коменданты. Над железнодорожными зданиями развевались красные знамена. Из городов в первую очередь забастовала Москва (7-го). На следующий день примкнули: Петербург, Минск и Таганрог, затем из крупнейших центров: 10—Тифлис, 11—Вильна, 12—Харьков, Киев, Нижний-Новгород, 13—Одесса, Рига, 14—Лодзь, 15—Варшава. Всего бастовало 33 города, против 39—в октябре.

В центре декабрьского движения стоит Москва.

Уже в начале декабря в некоторых полках московского гарнизона происходило сильное брожение. Несмотря на все усилия социал-демократии предупредить изолированные вспышки, брожение бурно прорывалось наружу. Среди рабочих раздавались голоса: «Нужно поддержать солдат, нельзя упускать мо-

мент». Солдаты, стоявшие на карауле у фабрик, всецело подпадали под влияние рабочих. «Как вы восстанете, так и мы восстанем и откроем вам арсенал!» говорили многие из них. На митингах нередко выступали солдаты и офицеры. 4 декабря в войсках образовался Совет Солдатских Депутатов, и в рабочий Совет вошли их представители. Из других городов шли неопределенные, но настойчивые слухи о присоединении армии к рабочим. Такова была атмосфера, в которой началась московская стачка.

В первый день прекратили работы около 100.000 человек. На одном из вокзалов убиты два машиниста, самовольно поведшие поезда. В разных частях города—незначительные стычки. Группа дружинников разбирает оружейный магазин. Начиная с этого дня, с московских улиц исчезают обычные полицейские посты. Городовые появляются почти только группами. На второй день число бастующих возрастает до 150.000 человек, забастовка принимает в Москве всеобщий характер и распространяется на подмосковные фабрики. Всюду огромные митинги. На станции, где останавливались дальневосточные поезда, толпа обезоруживала возвращающихся из Маньчжурии офицеров. Из одного вагона рабочие извлекли несколько десятков пудов патронов. Позже разобрали другой вагон с оружием.

8 декабря, на второй день стачки, Исполнительный Комитет постановляет: «При появлении войск стараться вступать с солдатами в разговоры и действовать на них товарищеским словом... Открытого столкновения пока избегать и давать вооруженный отпор только при особенно вызывающем поведении войск». Что решающее слово скажет армия, это понимали все. Малейший благоприятный слух о настроении гарнизона передается из уст в уста. Вместе с тем революционная толпа ведет с московскими властями непрерывную борьбу из-за армии.

Узнав об уличном шествии пехотинцев под звуки марсельезы, типографские рабочие отправляют им навстречу депутацию. Но уже поздно. Военное начальство окружило возбужденных солдат казаками и драгунами, увело в казармы и затем пошло навстречу их требованиям... В тот же день 500 казаков, руководимых полицейским чином, получили приказание стрелять в демонстрантов. Казаки не подчинились, вступили в разговор с толпой, затем, по команде унтера, повернули коней и медленно уехали. Толпа проводила их приветственными криками.

Вот десятитысячная рабочая демонстрация наталкивается на казаков. Общее замешательство. От толпы отделяются две работницы с красными знаменами и бросаются навстречу казакам. «Стреляйте в нас,—кричат они,—живыми мы знамя не отдадим». Казаки удивлены и смущены. Момент решительный. Толпа, почувствовав колебание, сразу напирает: «Казаки, мы идем к вам с пустыми руками, неужели вы будете в нас стрелять?» —«Не стреляйте в нас, тогда и мы не будем»,—отвечают казаки. Взбешенный и испуганный офицер разражается бешеной бранью. Но поздно. Его голос заглушается негодующими криками толпы. Кто-то произносит краткую речь. Толпа подхватывает ее приветственными возгласами. Еще минута,—и казаки поворачивают коней и мчатся прочь, закинув винтовки на плечи.

После военной осады народного митинга, закончившейся избиением безоружной толпы, настроение в городе становится более нервным. Публика толкается на улицах все бо̀льшими массами. Всевозможные слухи рождаются и умирают каждый час. На всех лицах—печать веселого возбуждения, смешанного с тревогой. «Многие думают,—пишет Горький, находившийся тогда в Москве,—что баррикады начали строить революционеры; это, конечно, очень лестно, но не вполне справедливо—баррикады начал строить именно обыватель, человек внепартийный, и в этом соль события. Первые баррикады на Тверской строились весело, шутя, со смехом, в этой веселой работе принимали участие самые разнообразные люди, от солидного барина в дорогом пальто до кухарки и дворника, недавнего оплота «твердой власти» Драгуны дали залп по баррикаде, несколько человек ранено, двое или трое убито,—вопль возмущения, единодушный крик мести, и сразу все изменилось. После залпа обыватель начал возводить баррикады не играючи, а серьезно, желая оградить свою жизнь от г. Дубасова и его драгун».

Дружинники, т.-е. организованные на военную ногу стрелки революционных организаций, становятся активнее. Они систематически разоружают встречных полицейских. Здесь впервые начинает практиковаться требование «руки вверх», которое имеет целью обезопасить нападающих. Кто не подчиняется, того убивают. Солдат не трогают, чтоб не раздражать. На одном из митингов делают даже такое постановление: кто начнет стрелять без разрешения начальника дружины, должен быть казнен.

У фабрик и заводов рабочие ведут агитацию среди солдат. Но уже на третий день стачки начинаются кровавые столкновения с армией. Вот драгуны разгоняют вечерний митинг на площади, которую стачка погрузила во мрак. «Братья, не трогайте нас: мы—ваши!» Солдаты проезжают мимо. Но через четверть часа возвращаются в большем количестве и атакуют толпу. Тьма, паника, крики, проклятья, часть толпы ищет спасения в павильоне трамвая. Драгуны требуют сдачи. Отказ. Раздается несколько залпов; в результате убит школьник, несколько человек ранено. Гонимые совестью или страхом мести, драгуны уносятся прочь. «Убийцы!» Окружив первые жертвы, толпа яростно сжимает кулаки. «Убийцы!» Еще миг—и обрызганный кровью павильон охвачен пламенем. «Убийцы!» Толпа ищет выхода своим чувствам. Среди тьмы и опасностей она двигается вперед, наталкивается на препятствия, напирает. Снова выстрелы. «Убийцы!» Толпа строит баррикады. Это ремесло ей внове, и потому она действует неуклюже и без системы... Тут же в темноте группа в 30—40 человек поет хором: «Вы жертвою пали»... Снова залпы, раненые и убитые. Соседние дворы превращаются в перевязочные пункты, у ворот дежурят жильцы и несут санитарную службу.

Открывая военные действия, Социал-демократическая Боевая Организация расклеила по Москве воззвание, в котором давала технические указания повстанцам:

«1. Главное правило—не действуйте толпой. Действуйте небольшими отрядами, человека в 3—4, не больше. Пусть только этих отрядов будет возможно больше, и пусть каждый из них научится быстро нападать и быстро исчезать. Полиция старается одной сотней казаков расстреливать тысячные толпы. Вы же против сотни казаков ставьте одного—двух стрелков. Попасть в сотню легче, чем в одного, особенно если этот один неожиданно стреляет и неизвестно куда исчезает.

«2. Кроме того, товарищи, не занимайте укрепленных мест. Войско их всегда сумеет взять, или просто разрушить артиллерией. Пусть нашими крепостями будут проходные дворы и все места, из которых легко стрелять и легко уйти. Если такое место и возьмут, то никого там не найдут, а потеряют много».

Тактика революционеров определилась сразу—из самого положения вещей. Наоборот, правительственные войска в



Д. Ф. СВЕРЧКОВ,

ЧЛЕН ПРЕЗИДИУМА ПЕТЕРБУРГСКОГО СОВЕТА,

В АРЕСТАНТСКОМ ПЛАТЬЕ.

течение целых пяти дней проявили полную неспособность приспособиться к тактике противника, и кровожадное варварство соединили с растерянностью и бестолковостью.

Вот примерная картина боя. Идет грузинская дружина— одна из самых отчаянных—в составе 24 стрелков, идет открыто, парами. Толпа предупреждает, что навстречу едут 16 драгун с офицером. Дружина строится и берет маузеры на изготовку. Едва показывается разъезд, дружина дает залп. Офицер ранен, передние лошади, раненые, взвиваются на дыбы, в рядах замешательство, которое лишает солдат возможности стрелять. Таким образом дружина дала до 100 выстрелов и обратила драгун, оставивших несколько убитыми и ранеными, в беспорядочное бегство. «Теперь уходите,—торопит толпа,—сейчас привезут орудие». И действительно, скоро появляется на сцену артиллерия. После первого же залпа падают десятки убитых и раненых из безоружной толпы, которая никак не ожидала, что войска будут стрелять по ней. А в это время грузины уже в другом месте вступили в перестрелку с войсками... Дружина почти неуязвима, ибо окутана панцырем всеобщего сочувствия.

Вот еще пример, один из множества. Засевшая в здании группа дружинников из 13 человек в течение четырех часов выдерживала обстрел 500—600 солдат, в распоряжении которых было 3 пушки и 2 пулемета. Расстреляв все патроны и причинив войскам большой ущерб, дружинники удалились, не получив ни одной раны. А солдаты разгромили артиллерийским огнем несколько кварталов, подожгли несколько деревянных домов, истребили немало обезумевших от ужаса жителей,—все для того, чтоб вынудить к отступлению дюжину революционеров...

Баррикады не защищались. Они служили лишь препятствием для передвижения войск, особенно драгун. В районе баррикад дома были вне пределов досягаемости для артиллерии. Лишь обстреляв всю улицу, войска «брали» баррикады, чтоб убедиться, что за ними никого нет. Тотчас после удаления солдат баррикады снова восстановлялись. Систематический расстрел города дубасовской артиллерией начинается 10 декабря. Пушки и пулеметы действуют неутомимо, обстреливая улицы. Жертвы падают уже не единицами, а десятками. Растерянные и разъяренные толпы перебегают с места на место, не веря реальности совершающегося: итак, солдаты стреляют,—и притом не

по отдельным революционерам, а по темному врагу, который называется Москвою: по ее домам, где живут и старики и дети, по обезоруженным уличным толпам... «Убийцы и трусы! Вот как они восстановляют свою маньчжурскую славу!»

После первых пушечных выстрелов постройка баррикад принимает лихорадочный характер. Теперь размах работы шире, приемы смелее. Обрушивают большой фруктовый павильон, киоск газетчика, срывают вывески, ломают чугунные ограды, рвут верхние провода электрического трамвая.

«Вопреки распоряжению полиции—держать ворота на запоре,—сообщают реакционные газеты,—ворота вовсе сняты с петель и употреблены на постройку баррикад!» 11 декабря весь город в главных пунктах своих покрыт сетью баррикад. Целые улицы опутаны паутиной проволочных заграждений.

Дубасов объявляет, что всякая толпа «более, чем в три человека» будет расстреляна. Но драгуны стреляют и по одиноким. Сперва обыскивают, не найдут оружия, отпустят и пошлют в догонку пулю. Стреляют в зевак, читающих объявления Дубасова. Достаточно, чтоб из окна раздался одинокий выстрел, нередко открыто провокаторский,—и дом немедленно подвергается обстрелу артиллерии. Лужи крови и мозги с волосами, прилипшие к вывескам, обозначают путь, по которому прошла шрапнель. В разных местах дома с зияющими пробоинами. У одного из разрушенных зданий—страшная реклама восстанья,—тарелка с куском человеческого мяса и надписью: «жертвуйте пострадавшим!».

В течение двух—трех дней настроение московского гарнизона определилось неблагоприятно для восстания. С самого начала волнений в казармах военные власти приняли целый ряд мер: уволили запасных, вольноопределяющихся, неблагонадежных и стали лучше кормить остальных. Для подавления восстания были сперва пущены в дело только наиболее надежные части. Сомнительные полки, лишенные наиболее сознательных элементов, сидели в казармах. Их Дубасов пустил в ход уже во вторую очередь. Сначала они шли неохотно и неуверенно. Но, под влиянием случайной пули, агитации офицера на почве голода и усталости, они доходили до страшной жестокости. Дубасов дополнял влияние этих условий действием казенной водки. Драгуны все время были полупьяны.

Партизанские нападения, однако, не только озлобляют, но и утомляют, всеобщая враждебность населения ввергает солдат в уныние. 13—14 декабря были критическими днями. Смертельно усталые войска роптали и отказывались итти в бой с врагом, которого они не видели и силы которого страшно преувеличивали. В эти дни было несколько случаев самоубийства среди офицеров...

Дубасов доносил в Петербург, что из 15.000 душ московского гарнизона в «дело» можно употребить только 5 тысяч, так как остальные ненадежны, и просил присылки подкреплений. Ему ответили, что часть петербургского гарнизона отправлена в Прибалтийский край, часть ненадежна, а остальные самим нужны. Благодаря похищенным в военном штабе документам эти переговоры стали известны в городе уже на другой день и влили бодрость и надежду в сердца. Но Дубасов добился своего. Он потребовал, чтоб его соединили по телефону непосредственно с Царским Селом, и заявил, что не ручается за «целость самодержавия». Тогда был дан приказ отправить в Москву Семеновский гвардейский полк.

15 декабря положение резко изменилось. В надежде на Семеновский полк реакционные группы Москвы воспрянули духом. На улицах появляется вооруженная «милиция», набранная из трущобного сброда Союзом русского народа. Активные силы правительства возросли благодаря стянутым из ближайших городов войскам. Дружинники изнемогали. Обыватель устал от страха и неизвестности. Настроение рабочих масс падало, надежда на победу исчезала. Открылись магазины, конторы, банки, биржа. Движение на улицах оживилось. Вышла одна из газет. Все почувствовали, что баррикадная жизнь кончилась. В большей части города пальба затихла. 16 декабря, с прибытием войск из Петербурга и Варшавы, Дубасов становится полным хозяином положения. Он переходит в решительное наступление и совершенно очищает центр города от баррикад. Сознавая безнадежность положения, Совет и Партия постановляют в этот день прекратить забастовку 19 декабря.

Во все время восстания Пресня, этот Монмартр Москвы, жила своей особой жизнью. 10 декабря, когда в центре уже раздавалась пушечная стрельба, на Пресне царило еще спокойствие. Митинги шли своим чередом, но они уже не удовлетворяли массу.

Она жаждала действий и осаждала депутатов. Наконец, в 4 часа дня был получен приказ из центра: строить баррикады. Все ожило на Пресне. Здесь не было той беспорядочности, которая царила в центре. Рабочие разбились на десятки, выбрали начальников, вооружились лопатами, ломами, топорами—и в порядке выступили на улицы, точно на муниципиальные работы. Никто не стоял без дела. Бабы выносили на улицу сани, дрова, ворота. Рабочие пилили и рубили телеграфные и фонарные столбы. Стук топоров стоял во всей Пресне,—казалось, будто рубят лес.

Отрезанная от города войсками, сплошь покрытая баррикадами, Пресня превратилась в пролетарский лагерь. Всюду были установлены дежурства дружинников, по ночам вооруженные часовые расхаживали между баррикадами и спрашивали у прохожих пароль. Наибольшим воодушевлением выделялись девушки-работницы. Они любили ходить на разведки, заводили разговоры с полицейскими и добывали таким путем полезные сведения. Сколько вооруженных дружинников действовало на Пресне? Человек 200, не более. В их распоряжении было до 80 винтовок и маузеров. Несмотря на такую малочисленность активных сил, стычки с войсками шли непрерывно. Солдат обезоруживали, сопротивляющихся убивали. Разрушенные баррикады восстановлялись рабочими. Дружинники строго придерживались партизанской тактики: разбивались на группы в 2—3 человека, стреляли по казакам и артиллеристам из домов, дровяных складов, пустых вагонов, быстро меняли место и снова осыпали солдат выстрелами... 12 декабря дружинники отбили у драгун и артиллеристов пушку. Четверть часа они возились вокруг нее, не зная, что с ней делать. Из затруднения их вывел большой отряд драгун и казаков, который завладел орудием.

13 декабря вечером пресненская дружина привела на фабрику 6 взятых ею в плен артиллеристов. Их накормили за общим столом. Во время обеда говорили речи политического характера. Солдаты слушали внимательно и с сочувствием. После ужина их отпустили без обыска и с оружием: не хотели озлоблять.

Вечером 15 декабря дружинники арестовали на улице начальника охранного отделения Войлошникова, произвели обыск на его квартире, конфисковали карточки поднадзорных и 600 руб. казенных денег. Войлошников был тут же приговорен к смертной

казни и расстрелян во дворе Прохоровской фабрики. Он выслушал приговор спокойно и встретил смерть мужественно,—благороднее, чем жил.

16-го начался пробный артиллерийский обстрел Пресни. Дружинники ответили энергичным огнем и заставили артиллерию отступить. Но в этот же день стало известно, что Дубасов получил из Петербурга и Варшавы большие подкрепления, и настроение стало падать. Началось повальное бегство ткачей в деревню. По дорогам потянулись толпы пешеходов с белыми котомками за плечами.

В ночь на 17-ое Пресня была окружена железным кольцом правительственных войск. В седьмом часу утра открылась жестокая канонада. Артиллерия делала до 7 пушечных выстрелов в минуту. Это продолжалось с часовым перерывом до 4-х часов дня. Разгромили и подожгли ряд фабрик и жилых домов. Палили с двух сторон. Пресня—вся в дыму и огне—походила на ад. Дома и баррикады объяты пламенем, женщины и дети мечутся по улицам в клубах черного дыма, под гул и треск выстрелов. Зарево стояло такое, что можно было далеко в окружности поздним вечером читать, как днем. Дружина до 12 часов дня успешно выступала против пехоты, но под ее непрерывным огнем вынуждена была прекратить боевые действия. С этого времени под ружьем оставалась лишь небольшая группа дружинников, за свой страх и риск.

К утру 18-го Пресня была очищена от баррикад. «Мирному» населению был открыт выход из Пресни, по неряшливости выпускали даже без обысков. Первыми вышли дружинники, некоторые даже с оружием. Дальнейшие расстрелы и насилия разнузданной солдатчины производились уже тогда, когда ни одного дружинника в Пресне не было.

Семеновцы-усмирители, действовавшие на железной дороге, получили приказ: «Арестованных не иметь, действовать беспощадно». Сопротивления они нигде не встречали. В них не сделано было ни одного выстрела, тем не менее они убили по линии около 150 душ. Расстреливали без следствия и суда. Извлекали раненых из санитарных вагонов и добивали их. Трупы валялись неподобранными. Среди расстрелянных петербургскими гвардейцами был машинист Ухтомский, который умчал на паровозе от преследований боевую дружину, развив под выстре-

лами пулеметов бешеную скорость. Перед расстрелом он рассказал палачам про свой подвиг: «Все спаслись,—спокойно и гордо закончил он,—вам не достать их».

Восстание в Москве длилось девять дней: с 9 по 17. Как велики были собственно боевые кадры московского восстания? В сущности ничтожны. 700—800 душ входили в партийные дружины: 500 социал-демократов, 250—300 социалистов-революционеров, около 500 вооруженных огнестрельным оружием железнодорожников действовали на вокзалах и по линиям, около 400 вольных стрелков из типографских рабочих и приказчиков составляли вспомогательные отряды. Были небольшие группы вольных стрелков. Говоря о них, нельзя не упомянуть четырех добровольцев, черногорцев. Отличные стрелки, бесстрашные и неутомимые, они действовали группой, убивая исключительно полицейских и офицеров. Двое из них были убиты, третий ранен, у четвертого погиб винчестер. Ему дали новую винтовку, и он стал один ходить на свою страшную охоту. Каждое утро ему выдавали 50 патронов,—он жаловался, что мало. Он был точно в чаду. Плакал по погибшим товарищам и мстил за них страшной местью.

Каким же образом небольшой отряд дружинников мог полторы недели бороться с многотысячным гарнизоном? Разрешение этой революционной загадки—в настроении народных масс. Весь город с его улицами, домами, заборами, проходными воротами вступает в заговор против правительственных солдат. Миллионное население становится живой стеной между партизанами и регулярными войсками. Дружинников сотни. Но в постройке и восстановлении баррикад уже участвуют массы. Еще большие массы окружают активных революционеров атмосферой деятельного сочувствия и, чем могут, вредят правительственным планам. Из кого они состоят, эти сочувствующие сотни тысяч? Из мещанства, интеллигенции и прежде всего из рабочих. На стороне правительства оказывается, помимо продажной уличной черни, только верхний капиталистический слой. Московская городская дума, еще за два месяца до восстания блиставшая радикализмом, теперь решительно становится в свите Дубасова. Не только октябрист Гучков, но и г. Головин, будущий кадетский председатель II Думы, входит в совет при генерал-губернаторе.

Каково число жертв московского восстания? В точности оно неизвестно и никогда не будет установлено. По данным 47 лечебниц и больниц зарегистрировано 885 раненых, 174 убитых и умерших от ран. Но убитых принимали в больницы только в редких случаях; по общему правилу они лежали в полицейских участках и оттуда увозились тайком. На кладбище похоронено за эти дни 454 человека, убитых и умерших от ран. Но много трупов вагонами вывозили за город. Вряд ли ошибка будет велика, если мы предположим, что восстание вырвало из среды московского населения около 1.000 душ убитыми и столько же ранеными. Среди них 86 детей, в их числе грудные младенцы. Эти числа станут ярче, если вспомнить, что на мостовых Берлина в результате мартовского восстания 1848 г., когда прусский абсолютизм получил неизлечимую рану, осталось лишь 183 трупа... Число жертв, понесенных войсками, правительство утаило, как и число жертв революции. Официальный отчет говорит лишь о нескольких десятках убитых и раненых солдат. На самом деле их было несколько сот. Цена не слишком крупная, ибо ставкой была Москва, «сердце России».

Если оставить в стороне окраины (Кавказ и Прибалтийский край), декабрьская волна нигде не поднималась до такой высоты, как в Москве. Баррикады, перестрелка с войсками, артиллерийская стрельба имели, однако, место еще в целом ряде городов: в Харькове, Александровске, Нижнем-Новгороде, Ростове, Твери...

После того, как восстание было всюду сломлено, открылась эра карательных экспедиций. Как показывает это официальное название, цель их—не борьба с врагами, а месть побежденным. В Прибалтийском крае, где восстание вспыхнуло за две недели до московского, карательные экспедиции разбились на мелкие отряды, которые исполняли кровавые поручения подлой касты остзейских баронов, поставляющих самых зверских представителей русской бюрократии. Латышей, рабочих и крестьян, расстреливали, вешали, засекали розгами, забивали палками, гоняли сквозь строй, казнили под звуки царского гимна. В течение двух месяцев в Прибалтийских губерниях—по крайне неполным сведениям—казнено 749 человек, сожжено до-тла более 100 усадеб, засечено плетьми множество людей.

Так абсолютизм божьей милостью боролся за свое существование. С 9 января 1905 г. до созыва первой Государственной Думы, 27 апреля 1906 г.,—по приблизительным, но во всяком случае не преувеличенным расчетам—царским правительством убито более 14.000 человек, казнено более 1.000, ранено около 20.000 (из них многие умерли), арестовано, сослано, заточено—70.000 человек. Цена не слишком крупная, ибо ставкой было существование царизма.

---

# Итоги.

История Петербургского Совета Рабочих Депутатов, это— история пятидесяти дней. 13 октября заседало учредительное собрание Совета. 3 декабря заседание Совета было прервано правительственными войсками.

На первом заседании присутствовало несколько десятков человек, ко второй половине ноября число депутатов возросло до 562, в том числе 6 женщин. Они представляли 147 фабрик и заводов, 34 мастерские и 16 профессиональных союзов. Главная масса депутатов—351 человек—принадлежала к рабочим по металлу. Они играли в Совете решающую роль. Текстильная индустрия дала 57 депутатов, печатное и бумажное производство—32, от торговых служащих присутствовало 12 депутатов, от конторщиков и фармацевтов—7. Министерством Совета являлся исполнительный комитет. Он был образован 17 октября в составе 31 человека: 22 депутата и 9 представителей партий (6—от обеих фракций социал-демократии, 3—от социалистов-революционеров).

Что составляло сущность этого учреждения, которое в короткий период завоевало такое огромное место в революции и наложило свою печать на период ее высшего могущества?

Совет организовывал рабочие массы, руководил политическими стачками и демонстрациями, вооружал рабочих, защищал население от погромов. Но то же самое делали до него, наряду с ним и после него другие революционные организации. Это, однако, не давало им того влияния, какое сосредоточил в своих руках Совет. Тайна его влияния в том, что он вырос, как естественный орган пролетариата в его непосредственной, всем ходом событий обусловленной *борьбе за власть*. Если сами рабочие, с одной стороны, реакционная пресса—с другой, называли Совет «пролетарским правительством», то этому соответ-

ствовал тот факт, что Совет на самом деле представлял собою зародышевый орган революционного правительства. Совет осуществлял власть, поскольку ее обеспечивало за ним революционное могущество рабочих кварталов; он непосредственно боролся за власть, поскольку она еще оставалась в руках военно-полицейской монархии.

До Совета мы находим в среде индустриальных рабочих многочисленные революционные организации, руководимые, главным образом, социал-демократией. Но это организации в *пролетариате*; их непосредственная цель—*борьба за влияние на массы*. Совет сразу сложился в организацию *пролетариата*; его цель—борьба за *революционную власть*.

Становясь фокусом всех революционных сил страны, Совет в то же время не растворялся в революционно-демократической стихии; он был и оставался организованным выражением классовой воли пролетариата. В борьбе за власть он применял те методы, которые естественно определяются характером пролетариата, как класса: его ролью в производстве, его численностью, его социальной однородностью. Более того: борьбу за власть во главе всех революционных сил Совет сопрягал со всесторонним руководством классовой самодеятельностью рабочих масс: он не только способствовал организации профессиональных союзов, но и вмешивался даже в конфликты отдельных рабочих с их нанимателями. И именно потому, что Совет, как демократическое представительство пролетариата в революционную эпоху, стоял на пересечении всех его классовых интересов, он сразу подпал под всеопределяющее влияние социал-демократии. Она получила возможность сразу реализовать теперь те огромные преимущества, какие дала ей ее марксистская вышколка, и, благодаря своей способности политически ориентироваться в великом «хаосе», она почти без усилий превратила формально-беспартийный Совет в организационный аппарат своего влияния.

Главным методом борьбы Совета была всеобщая политическая стачка. Революционная сила такой стачки состоит в том, что она через голову капитала дезорганизует государственную власть. Чем больше и всестороннее вносимая ею «анархия», тем ближе стачка к победе. Но лишь в одном случае: если эта анархия не создается анархическими средствами. Класс, кото-

рый путем единовременного прекращения работ парализует аппарат производства и вместе с тем централизованный аппарат власти, изолируя отдельные части страны одну от другой и поселяя всеобщую неуверенность, должен сам быть достаточно организован, чтобы не оказаться первою жертвою им же созданной анархии. Чем в высшей мере стачка упраздняет существующую государственную организацию, тем более организация самой стачки вынуждена брать на себя государственные функции. Условия всеобщей стачки, как пролетарского метода борьбы, были вместе с тем условиями огромного значения Совета Рабочих Депутатов.

Стачечным давлением Совет осуществляет свободу печати. Он организует правильные уличные патрули для обеспечения безопасности граждан. В большей или меньшей мере он берет в свои руки почту, телеграф и железные дороги. Он властно вмешивается в экономические конфликты рабочих с капиталистами. Он делает попытку прямым революционным давлением установить восьмичасовой рабочий день. Парализуя деятельность самодержавного государства стачечным восстанием, он вносит свой собственный свободный демократический порядок в жизнь трудящегося городского населения.

После 9-го января революция показала, что она владеет сознанием рабочих масс. 14 июня, восстанием «Потемкина-Таврического», революция показала, что она может стать материальной силой. Октябрьской стачкой она показала, что может дезорганизовать врага, парализовать его волю и довести его до полного унижения. Наконец, повсеместной организацией рабочих Советов революция показала, что умеет создать власть. Революционная власть может опираться только на активную революционную силу. Как бы мы ни смотрели на дальнейшее развитие русской революции, но факт тот, что до сих пор никакой общественный класс, кроме пролетариата, не показал себя способным и готовым стать опорой революционной власти. Первым актом революции было уличное общение пролетариата с монархией; первая серьезная победа революции была одержана чисто классовым орудием пролетариата, политической стачкой; наконец, в виде первого зачаточного органа революционной власти выступает представительство пролетариата. В лице Совета перед нами впервые на почве новой русской истории выступает демо-

кратическая власть. Совет есть организованная власть самой массы над ее отдельными частями. Это—истинная нефальсифицированная демократия, без двух палат, без профессиональной бюрократии, с правом избирателей в любую минуту сменить своего депутата. Совет непосредственно, через своих членов, через выбранных рабочими депутатов, руководит всеми общественными проявлениями пролетариата в целом или отдельных его групп, организует его выступления, дает им лозунг и знамя.

По переписи 1897 г. Петербург насчитывал около 820 тысяч душ «самодеятельного» населения; в том числе 433 тысячи рабочих и прислуги; таким образом, пролетарское население столицы простирается до 53%. Если принять в расчет и несамодеятельные элементы, то, ввиду относительной малосемейности пролетариата, мы получим для него несколько низшую цифру (50,8%). Во всяком случае, пролетариат составляет больше половины населения Петербурга.

Совет Рабочих Депутатов не был официальным представительством всего почти полумиллионного рабочего населения столицы; организационно он объединял около 200 тысяч душ, преимущественно фабрично-заводских рабочих, и хотя его политическое влияние, прямое и косвенное, простиралось на более обширный круг, тем не менее еще очень значительные слои пролетариата (строительные рабочие, прислуга, чернорабочие, извозчики) очень мало или вовсе не были им захвачены. Несомненно, однако, что Совет выражал интересы всей этой пролетарской массы. Если на заводах и были так называемые черносотенные элементы, то число их на глазах у всех таяло не по дням, а по часам. В пролетарских массах политическое господство Совета в Петербурге могло иметь только друзей, но не врагов. Исключение могла бы составить лишь привилегированная прислуга, лакеи сановных лакеев из высшей бюрократии, кучера министров, биржевиков и кокоток,—эти консерваторы и монархисты по профессии.

Среди интеллигенции, столь многочисленной в Петербурге, Совет имел гораздо больше друзей, чем врагов. Тысячи учащейся молодежи признавали над собой политическое руководство Совета и горячо поддерживали его шаги. Дипломированная и служилая интеллигенция, за исключением безнадежно ожиревших элементов, была, по крайней мере, до поры до времени на

его стороне. Энергичная поддержка почтово-телеграфной забастовки привлекла к Совету сочувственное внимание низших слоев чиновничества. Все, что было в городе угнетенного, обездоленного, честного, жизненного, все это сознательно или инстинктивно влеклось к Совету.

Что было против него? Представители капиталистического хищничества, биржевики, игравшие на повышение, подрядчики, купцы и экспортеры, разорявшиеся вследствие забастовок, поставщики золотой черни, шайка петербургской думы, этого синдиката домовладельцев, высшая бюрократия, кокотки, внесенные в государственный бюджет, звездоносцы, хорошо оплачиваемые публичные мужчины, охранное отделение,—все жадное, грубое, распутное и обреченное смерти.

Между армией Совета и его врагами стояли политически неопределенные, колеблющиеся или ненадежные элементы. Наиболее отсталые группы мещанства, еще не вовлеченные в политику, не успели достаточно понять роль и смысл Совета и определить свое отношение к нему. Хозяева-ремесленники были встревожены и напуганы. Возмущение мелкого собственника против разорительных стачек боролось в них со смутным ожиданием лучшего будущего.

Выбитые из колеи профессиональные политики интеллигентских кружков, радикальные журналисты, не знающие, чего хотят, демократы, изъеденные скептицизмом, снисходительно брюзжали против Совета, пересчитывали по пальцам его ошибки и вообще давали понять, что если б они оказались во главе этого учреждения, пролетариат был бы осчастливлен навсегда Извинением этих господ служит их бессилие.

Во всяком случае Совет фактически или потенциально был органом огромного большинства населения. Его враги в составе населения столицы не были бы опасны для его политического господства, если б они не имели заступника в еще живом абсолютизме, опирающемся на наиболее отсталые элементы мужицкой армии. Слабость Совета не была его собственной слабостью, это была слабость чисто городской революции.

Период пятидесяти дней был периодом ее высшего могущества. Совет был ее органом борьбы за власть. Классовый характер Совета определялся резким классовым расчленением городского населения и глубоким политическим антагонизмом между

пролетариатом и капиталистической буржуазией—даже в исторически-ограниченных рамках борьбы с самодержавием. Капиталистическая буржуазия после октябрьской стачки сознательно тормозила революцию, мещанство оказалось слишком ничтожно, чтобы играть самостоятельную роль, пролетариат был неоспоримым гегемоном городской революции, его классовая организация была его органом борьбы за власть.

Совет был тем сильнее, чем деморализованнее было правительство. Он тем в большей мере сосредоточивал на себе симпатии не-пролетарских слоев, чем беспомощнее и растеряннее рядом с ним оказывалась старая государственная власть.

Массовая политическая стачка была главным орудием в руках Совета. Благодаря тому, что он связывал все группы пролетариата непосредственной революционной связью и поддерживал рабочих каждого предприятия авторитетом и силой класса, он получил возможность приостанавливать хозяйственную жизнь в стране. Несмотря на то, что собственность на средства производства по-прежнему оставалась в руках капиталистов и государства, несмотря на то, что государственная власть оставалась в руках бюрократии, распоряжение национальными средствами производства и сообщения, по крайней мере, поскольку речь шла о том, чтобы прекратить правильную хозяйственную и государственную жизнь, оказывалась в руках Совета. И именно эта обнаруженная на деле способность Совета парализовать хозяйство и внести анархию в жизнь государства делала Совет тем, чем он был. При таких условиях искать путей мирного сосуществования Совета и старого правительства было бы самой безнадежною из всех утопий. А между тем все возражения против тактики Совета, если обнажить их действительное содержание, исходят именно из этой фантастической идеи: после октября Совету следовало на почве, отвоеванной у абсолютизма, заняться организацией масс, воздерживаясь от всяких наступательных действий.

Но в чем состояла октябрьская победа?

Несомненно, что в результате октябрьского натиска абсолютизм «в принципе» отрекся от себя. Но он в сущности не проиграл сражения; он отказался от боя. Он не сделал серьезной попытки противопоставить свою деревенскую армию охваченным стачечным мятежом городам. Само собою он не сделал этого не-

из соображений человечности, он просто был совершенно обескуражен и лишен самообладания. Либеральные элементы бюрократии, ждавшие своей очереди, получили перевес и в тот момент, когда стачка уже шла на убыль, опубликовали манифест 17 октября, принципиальное отречение от абсолютизма. Но вся материальная организация власти: чиновничья иерархия, полиция, суд, армия, осталась по-прежнему нераздельной собственностью монархии. Какую тактику мог и должен был при таких условиях развернуть Совет? Его сила состояла в том, что он, опираясь на производительный пролетариат, мог (поскольку мог) лишить абсолютизм возможности пользоваться материальным аппаратом своей власти. С этой точки зрения деятельность Совета означала организацию «анархии». Его дальнейшее существование и развитие означало упрочение «анархии». Никакое длительное сосуществование не было возможно. Будущий конфликт был заложен в октябрьскую полупобеду, как ее материальное ядро.

Что оставалось делать Совету? Притворяться, что он не видел неизбежности конфликта? Делать вид, что он организует массы для радостей конституционного строя? Кто поверил бы ему? Конечно, не абсолютизм и не рабочий класс.

Как мало внешняя корректность, пустая форма лойяльности помогает в борьбе против самодержавия, это мы видели позже на примере двух Дум. Чтобы предвосхитить тактику «конституционного» лицемерия в самодержавной стране, Совет должен был быть сделан из другого теста. Но к чему пришел бы он и тогда? К тому же, к чему позже пришла Дума: к банкротству.

Совету ничего не оставалось, как признать, что столкновение неизбежно уже в ближайшем будущем, и в распоряжении его не было другой тактики, кроме подготовки к восстанию.

В чем могла состоять эта подготовка, как не в развитии и укреплении тех именно качеств Совета, которые позволяли ему парализовать государственную жизнь и составляли его силу? Но естественные усилия Совета укрепить и развить эти качества неизбежно ускоряли конфликт.

Совет заботился—чем дальше, тем больше—о распространении своего влияния на войско и крестьянство. В ноябре Совет призвал рабочих активно выразить свое братство с пробуждающейся армией, в лице кронштадтских матросов. Не делать

этого—значило не заботиться об увеличении своих сил. Делать это—значило итти навстречу конфликту.

Или, может быть, был какой-то третий путь? Может быть, Совет мог, вместе с либералами, апеллировать к так называемому государственному смыслу власти? Может быть, он мог и должен был найти ту черту, которая отделяла права народа от прерогатив монархии, и остановиться пред этой священной гранью? Но кто поручился бы, что монархия остановится по другой стороне демаркационной линии? Кто взялся бы организовать между обеими сторонами мир или хотя бы только временное перемирие? Либерализм? Одна из его депутаций предложила 18 октября графу Витте, в знак примирения с народом, удалить из столицы войска. «Лучше остаться без электричества и без водопровода, чем без войска»,—ответил министр. Правительство, очевидно, вовсе не помышляло о разоружении. Что же оставалось делать Совету? Либо устраниться, предоставив дело примирительной камере, будущей Государственной Думе, как требовал в сущности либерализм, либо готовиться к тому, чтобы вооруженною рукою удержать все, что было захвачено в октябре, и, если можно, открыть дальнейшее наступление. Теперь-то мы уже достаточно хорошо знаем, что примирительная камера превратилась в арену нового революционного конфликта. Следовательно, объективная роль, которую сыграли две первые Думы, только подтвердила правильность того политического предвидения, на котором пролетариат строил свою тактику. Но можно и не заходить так далеко. Можно спросить: что же могло и должно было обеспечить самое возникновение этой «примирительной камеры», которой не суждено было кого бы то ни было примирить? Все тот же государственный смысл монархии? Или ее торжественное обязательство? Или честное слово графа Витте? Или земские ходы в Петергофе, с черного крыльца? Или предостерегающий голос г. Мендельсона? Или, наконец, тот «естественный ход вещей», на спину которого либерализм взваливает все задачи, как только история предъявляет их ему самому, его инициативе, его силе, его смыслу?

Но если декабрьское столкновение было неизбежно, то не лежит ли причина декабрьского поражения в составе Совета? Говорили, что в его классовом характере был его основной грех. Чтобы стать органом «национальной» революции, Совет должен



ПОДСУДИМЫЙ Н. Д. АВКСЕНТЬЕВ,
ИЗВЕСТНЫЙ ВПОСЛЕДСТВИИ ДЕЯТЕЛЬ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ КОНТР-РЕВОЛЮЦИИ.

был расширить свои рамки; в них должны были найти место представители всех слоев населения. Это упрочило бы авторитет Совета и увеличило бы его силу. Так ли?

Сила Совета определялась ролью пролетариата в капиталистическом хозяйстве. Задача Совета была не в том, чтоб превратиться в пародию парламента, не в том, чтобы организовать равномерное представительство интересов различных социальных групп, но в том, чтобы придать единство революционной борьбе пролетариата. Главным средством борьбы в руках Совета была политическая забастовка,—метод, свойственный исключительно пролетариату, как классу наемного труда. Однородность классового состава устраняла внутренние трения в Совете и делала его способным к революционной инициативе.

Каким путем мог быть расширен состав Совета? Можно было пригласить представителей либеральных союзов; это обогатило бы Совет двумя десятками интеллигентов. Их влияние в Совете было бы пропорционально роли Союза Союзов в революции, т.-е. было бы бесконечно малой величиной.

Но какие еще общественные группы могли быть представлены в Совете? Земский съезд? Торгово-промышленные организации?

Земский съезд заседал в Москве в ноябре, он обсуждал вопрос о сношениях с министерством Витте, но ему и в голову не пришло поставить вопрос о сношениях с рабочим Советом.

В период заседаний съезда разразилось севастопольское восстание. Это, как мы видели, сразу отбросило земцев вправо, так что г. Милюков должен был успокаивать земский конвент речью, смысл которой состоял в том, что восстание, слава богу, уже подавлено. В какой форме могло осуществляться революционное сотрудничество между этими контр-революционными господами и рабочими депутатами, приветствовавшими севастопольских повстанцев? На этот вопрос до сих пор еще никто не сумел ответить. Одним из наполовину искренних, наполовину лицемерных догматов либерализма является требование, чтобы армия оставалась вне политики. Наоборот, Совет развивал громадную энергию с целью вовлечь армию в революционную политику. Или, может быть, Совет из доверия к манифесту должен был армию оставить в неограниченном распоряжении Трепова? А если нет—на почве какой же программы мыслимо было в этой решающей области сотрудничество с либералами? Что могли бы внести

эти господа в деятельность Совета, кроме систематической оппозиции, бесконечных прений и внутренней деморализации. Что могли они нам дать, кроме советов и указаний, которых и без того было достаточно в либеральной прессе. Может быть, истинная «государственная мысль» и была в распоряжении кадетов и октябристов; тем не менее, Совет не мог превратиться в клуб политической полемики и взаимного обучения. Он должен был быть и оставался органом борьбы.

Что могли прибавить представители буржуазного либерализма и буржуазной демократии к силе Совета? Чем они могли обогатить его методы борьбы? Достаточно вспомнить их роль в октябре, ноябре и декабре, достаточно представить себе то сопротивление, какое эти элементы могли оказать разгону *их* Думы, чтобы понять, что Совет мог и должен был оставаться классовой организацией, т.-е. организацией борьбы. Буржуазные депутаты могли сделать его многочисленнее, но они были абсолютно неспособны сделать его сильнее.

Вместе с этим падают чисто-рационалистические, неисторические обвинения против непримиримо-классовой тактики Совета, которая отбросила буржуазию в лагерь порядка. Стачка труда, показавшая себя могучим орудием революции, внесла, однако, «анархию» в промышленность. Уж одно это заставило оппозиционный капитал выше всех лозунгов либерализма поставить лозунг государственного порядка и непрерывности капиталистической эксплоатации.

Предприниматели решили, что «достославная» (так они называли ее) октябрьская стачка должна быть последней—и организовали антиреволюционный союз 17 октября. У них для этого были достаточные причины. Каждый из них имел возможность у себя на заводе убедиться, что политические завоевания революции идут параллельно с упрочением позиций рабочих против капитала. Иные политики видели главную вину борьбы за восьмичасовой рабочий день в том, что она окончательно расколола оппозицию и сплотила капитал в контр-революционную силу. Эти критики хотели бы видеть в распоряжении истории классовую энергию пролетариата—без последствий классовой борьбы. Что самовольное введение восьмичасовой работы должно было вызвать и вызвало энергичную реакцию со стороны предпринимателей, об этом не приходится много говорить. Но ребяче-

ство—думать, будто нужна была именно эта кампания, чтоб сплотить капиталистов с капиталистически-биржевым правительством Витте. Объединение пролетариата в самостоятельную революционную силу, становящуюся во главе народных масс и представляющую постоянную угрозу «порядку», было само по себе совершенно достаточным аргументом в пользу коалиции капитала с властью.

Правда, в первую эпоху революции, когда она проявлялась в стихийных разрозненных вспышках, либералы терпели ее. Они ясно видели, что революционное движение расшатывает абсолютизм и толкает его на путь конституционного соглашения с господствующими классами. Они мирились со стачками и демонстрациями, относились к революционерам дружелюбно, критиковали их мягко и осторожно. После 17 октября, когда условия конституционного соглашения уже были написаны и, казалось бы, оставалось лишь выполнить их, дальнейшая работа революции явно подкапывалась под самую возможность сделки либералов с властью. Пролетарская масса, сплоченная октябрьской стачкой, организованная извнутри, самым фактом своего существования отныне восстановляет либерализм против революции. Этот последний был того мнения, что негр выполнил свою работу и должен спокойно вернуться к своим станкам. Совет считал, наоборот, что главная борьба впереди. О каком бы то ни было революционном сотрудничестве капиталистической буржуазии с пролетариатом при таких условиях не могло быть и речи.

Декабрь вытекает из октября, как вывод из посылки. Исход декабрьского столкновения находит свое объяснение не в отдельных тактических промахах, а в том решающем факте, что реакция оказалась богаче механической силой, чем революция. Пролетариат разбился в декабрьско-январском восстании не о свои тактические ошибки, а о более реальную величину: о штыки крестьянской армии.

Правда, либерализм держится того мнения, что недостаток силы следует при всех условиях возмещать быстротою ног. Истинно-мужественной, зрелой, обдуманной и целесообразной тактикой он считает отступление в самую решительную минуту. Эта либеральная философия дезертирства произвела впечатление на некоторых литераторов в рядах самой социал-демократии, и, задним числом, они поставили вопрос: если декабрьское поражение

пролетариата имело своей причиной недостаточность его сил, то не состоит ли ошибка именно в том, что он, не будучи достаточно силен для победы, принял сражение? На это можно ответить: если бы в борьбу вступали только с уверенностью в победе, на свете не было бы борьбы. Предварительный учет сил не может предопределить исхода революционных столкновений. В противном случае следовало бы уже давно заменить классовую борьбу классовой бухгалтерией. Об этом не так давно мечтали кассиры некоторых профессиональных союзов по отношению к стачкам. Оказалось, однако, что капиталистов, даже при самом совершенном счетоводстве, все-таки нельзя убедить выпиской из гроссбуха, и аргументы цифр приходится в конце концов подкреплять аргументом забастовки. И как бы ни было все точно заранее рассчитано, каждая стачка вызывает целый ряд новых материальных и моральных фактов, которых нельзя было предвидеть и которые в конце концов решают исход борьбы. Теперь мысленно устраните профессиональный союз с его точными методами учета; стачку распространите на всю страну, поставьте перед ней большую политическую цель; противопоставьте пролетариату государственную власть, в качестве непосредственного врага; окружите обоих союзниками, действительными, возможными, мнимыми, прибавьте индифферентные слои, за обладание которыми идет жестокая борьба, армию, из которой лишь в вихре событий выделяется революционное крыло; преувеличенные надежды, с одной стороны, преувеличенные страхи—с другой, при чем и те и другие, в свою очередь, являются реальными факторами событий; пароксизмы биржи и перекрещивающиеся влияния международных связей,—и вы получите обстановку революции. При этих условиях субъективная воля партии, даже «руководящей», является лишь одной из многих и притом далеко не самой крупной силой.

В революции, еще более, чем на войне, момент сражения определяется не столько расчетом одной из сторон, сколько взаимным положением обеих враждебных армий. Правда, на войне, благодаря механической дисциплине войска, еще можно бывает без битвы увести его все целиком с поля сражения; в таких случаях военно-начальнику все же приходится спрашивать себя, не внесет ли стратегия отступления деморализацию в среду солдат и не подготовит ли он, избегая сегодняшнего поражения, другое, тягчайшее—на завтра. Куропаткин мог бы многое рас-

сказать на эту тему. Но в развертывающейся революции прежде всего немыслимо провести планомерное отступление. Если во время натиска партия ведет массы за собою, то это не значит, что она их может увести среди штурма по собственному произволу. Не только партия ведет массы, но и они несут ее вперед. И это повторится во время всякой революции, как бы ни была сильна ее организация. При таких условиях отступить без боя означает, в известных условиях, для партии оставить массы под неприятельским огнем. Конечно, социал-демократия, как руководящая партия, могла не принять декабрьского вызова реакции и—по счастливому выражению того же Куропаткина—«отступить на заранее подготовленные позиции», т.-е. в свое подполье. Но этим она дала бы только правительству возможность, не встречая общего сопротивления, громить враздробь открытые и полуоткрытые рабочие организации, созданные при ее ближайшем участии. Такой ценою социал-демократия купила бы себе сомнительное преимущество смотреть на революцию со стороны, резонерствовать по поводу ее ошибок и вырабатывать безупречные планы, отличающиеся лишь тем недостатком, что они являются на сцену, когда в них уже нет никакой надобности. Легко себе представить, как это способствовало бы укреплению связей между партией и массой!

Никто не может сказать, что социал-демократия форсировала конфликт. Наоборот, 22 октября, по ее инициативе, Петербургский Совет Депутатов отменил траурную манифестацию, дабы не провоцировать столкновения, не попытавшись предварительно использовать «новый режим» растерянности и колебаний для широкой агитационной и организационной работы среди масс. Когда правительство сделало слишком поспешную попытку атаковать страну и—для опыта—объявило Польшу на военном положении, Совет, придерживаясь чисто оборонительной тактики, не сделал даже попытки довести ноябрьскую стачку до открытой схватки, но превратил ее в манифестацию протеста, удовлетворившись ее огромным моральным воздействием на армию и польских рабочих.

Но если партия уклонялась от сражения в октябре и ноябре, руководясь сознанием необходимости организационной подготовки, то в декабре это соображение совершенно отпадало. Не потому, разумеется, что подготовка была уже на-лицо, а потому,

что правительство, у которого тоже не было выбора, начало борьбу именно с разрушения всех созданных в октябре и ноябре революционных организаций. Если бы при этих условиях партия решила уклониться от сражения, если б она могла даже увести с открытой арены революционные массы, она этим только пошла бы навстречу восстанию при еще менее благоприятных условиях: при полном отсутствии прессы и широких организаций и при неизбежной деморализации, вызванной отступлением.

«...В революции, как и в войне,—говорит Маркс [1]),—безусловно необходимо в решительный момент все ставить на карту, как бы ни складывались шансы борьбы. История не знает ни одной успешной революции, которая не свидетельствовала бы о правильности этого положения... Поражение после упорной борьбы—факт не менее революционного значения, чем легко вырванная победа... Во всякой борьбе совершенно неизбежно, что тот, кто поднимает перчатку, подвергается опасности быть побежденным; но разве это основание для того, чтобы с самого начала объявить себя разбитым и подчиниться, не извлекая меча?

«Всякий, кто в революции командует решительной позицией и сдает ее, вместо того, чтобы заставить врага отважиться на приступ, заслуживает того, чтобы к нему относились как к изменнику» (Карл Маркс, «Революция и контр-революция в Германии»).

В своем известном Введении к Марксовой «Борьбе классов во Франции» Энгельс допустил возможность больших недоразумений, когда противопоставлял военно-техническим трудностям восстания (быстрое передвижение солдат по железным дорогам, разрушительная сила современной артиллерии, широкие улицы нынешних городов) новые возможности победы, вырастающие из эволюции классового состава армии. С одной стороны, Энгельс очень односторонне оценил значение новейшей техники во время революционных восстаний, с другой, он не счел нужным или удобным разъяснять, что эволюция классового состава армии может быть политически учтена только посредством «очной ставки» народа и войска.

[1]) В действительности—Энгельс, написавший эту работу вместо Маркса.

Два слова об обеих сторонах вопроса [1]). Децентрализованный характер революции делает необходимым постоянное передвижение военных сил. Энгельс говорит, что благодаря железным дорогам гарнизоны могут быть более чем удвоены в 24 часа. Но он упускает из вида, что действительно массовое восстание неизбежно предполагает железнодорожную забастовку. Прежде чем правительство получит возможность заняться передвижением военных сил, ему приходится—в жестокой борьбе с бастующим персоналом—овладеть железнодорожной линией, ее подвижным составом, организовать движение, восстановить взорванные мосты и разрушенные рельсовые пути. Для всего этого недостаточно самых лучших винтовок и самых острых штыков; и опыт русской революции говорит, что минимальнейший успех в этом направлении требует несравненно больше, чем 24 часа. Далее. Прежде чем приступить к передвижению военных сил, правительство должно быть осведомлено о положении дел в стране. Телеграф ускоряет правительственную информацию еще в бо̀льшей мере, чем железная дорога—дислокацию. Но, опять-таки, восстание и предполагает почтово-телеграфную забастовку и порождает ее. Если оно неспособно привлечь на свою сторону почтово-телеграфный персонал—факт, свидетельствующий о слабости революционного движения!—у него остается еще возможность повалить столбы и оборвать провода. Хотя при этом оказываются в ущербе обе стороны, но революция, главная сила которой отнюдь не в автоматически действующей организации, теряет несравненно меньше. И телеграф и железная дорога, бесспорно, могущественные орудия современного централистического государства. Но это орудия обоюдоострые. И если существование общества и государства вообще зависит от непрерывности пролетарского труда, то в железнодорожном и почтово-телеграфном деле эта зависимость приобретает наиболее концентрированный характер. Лишь только рельсы и проволока отказываются служить, правительственный аппарат дробится на части, между которыми не оказывается никаких, даже самых примитивных средств сообщения и передви-

[1]) Следует, впрочем, указать со всей определенностью, что Энгельс в своем введении имеет в виду только германские дела, между тем как наши соображения основаны на опыте русской революции. (Это невразумительное примечание было включено в немецкий текст исключительно по цензурным соображениям. *Л. Т.*)

жения. При этих условиях дела могут зайти очень далеко, прежде чем властям удастся «удвоить» местный гарнизон.

На-ряду с передвижением войск восстание ставит перед правительством задачу передвижения военных запасов. Трудности, какие вырастают при этом из всеобщей забастовки, нам уже известны; но к ним присоединяется еще та опасность, что военные запасы могут быть перехвачены восставшими. Эта опасность становится тем реальнее, чем децентрализованнее характер революции, и чем большие массы она вовлекает в свой водоворот. Мы видели, как на московских вокзалах рабочие захватывали оружие, препровождавшееся с театра войны. Подобные факты происходили во многих местах. В Кубанской области восставшие казаки перехватили транспорт винтовок. Революционные солдаты передавали восставшим патроны и т. д.

При всем том не может быть, разумеется, и речи о чисто военной победе восставших над правительственными войсками. Физической силой эти последние несомненно будут богаче, и вопрос всегда сведется к настроению и поведению солдат. Без классового родства между армиями, стоящими по обе стороны баррикады, победа революции, при нынешней военной технике, была бы действительно невозможной. Но, с другой стороны, было бы величайшей иллюзией думать, что «переход армии на сторону народа» может произойти в форме какой-нибудь мирной и единовременной манифестации. Господствующие классы, пред которыми стоит вопрос их жизни и смерти, никогда не сдают добровольно своих позиций под влиянием теоретических соображений о классовом составе армии. Ее политическое настроение, это великое неизвестное всякой революции, может определиться только в процессе столкновений солдат с народом. Переход армии в лагерь революции есть процесс моральный; но одними моральными средствами он не может быть вызван. В армии пересекаются различные течения и настроения: сознательно революционным является меньшинство, большинство колеблется и ждет внешнего толчка. Оно способно сложить оружие или даже направить штыки против реакции только в том случае, если начинает верить в возможность победы народа. Такая вера не создается одной агитацией. Только тогда, когда солдаты убеждаются, что народ вышел на улицы для беспощадной борьбы,—не для манифестации против властей, а для низвержения правительства,—становится психо-

логически возможным «переход солдат на сторону народа». Таким образом восстание есть в сущности своей не столько борьба с армией, сколько борьба *за* армию. Чем упорнее, шире и успешнее восстание, тем вероятнее и неизбежнее перелом в настроении солдат. Партизанская борьба на основе революционной стачки,— то, что мы наблюдали в Москве,—сама по себе не может дать победы. Но она создает возможность прощупать настроение солдат, и после первого крупного успеха, то-есть после присоединения к восстанию части гарнизона, партизанская борьба может превратиться в массовую, где часть войск, при поддержке вооруженного и безоружного населения, будет сражаться с другой частью, окруженной кольцом всеобщей ненависти. Что переход солдат на сторону народа, в силу классовой и морально-политической разнородности армии, означает, в первую очередь, борьбу двух частей войска между собою, это мы видели в черноморском флоте, в Кронштадте, в Сибири, в Кубанской области, впоследствии в Свеаборге и во многих других местах. Во всех этих случаях самые совершенные орудия милитаризма: винтовки, пулеметы, крепостная артиллерия, броненосцы оказывались не только в руках правительства, но и на службе революции.

На основании опыта кровавого петербургского воскресенья 9 января 1905 г. некий английский журналист, г. Arnold White, сделал тот гениальный вывод, что если бы Людовик XVI обладал батареями пушек Максима, французская революция не произошла бы вовсе. Какое жалкое суеверие—думать, будто исторические шансы революций можно измерять калибром ружей или диаметром пушек. Русская революция снова показала, что не ружья, пушки и броненосцы управляют людьми, но в конце концов люди управляют ружьями, пушками и броненосцами.

11 декабря министерство Витте—Дурново, к этому времени ставшее министерством Дурново—Витте, издало избирательный закон. В то время, когда сухопутный адмирал Дубасов восстановлял на Пресне честь андреевского флага, правительство поторопилось открыть легальный путь соглашения имущего общества с монархией и бюрократией. С этого момента революционная по существу своему борьба за власть развивается под конституционной оболочкой.

В первой Думе кадеты выдавали себя за вождей народа. Так как народные массы, за вычетом городского пролетариата,

находились еще в состоянии хаотически-оппозиционного настроения, и так как выборы бойкотировались крайними левыми партиями, то кадеты оказались в Думе господами положения. Они «представляли» всю страну: либеральных помещиков, либеральных купцов, адвокатов, врачей, чиновников, лавочников, приказчиков, отчасти даже крестьян. Хотя руководство партией попрежнему оставалось в руках помещиков, профессоров и адвокатов, однако, под давлением интересов и нужд деревни, оттеснивших на задний план все остальные вопросы, кадетская фракция повернула влево; дело дошло до роспуска Думы и Выборгского манифеста, который впоследствии доставил столько бессонных ночей либеральным болтунам.

Во вторую Думу кадеты вернулись в меньшем количестве, но, по признанию Милюкова, у них было теперь то преимущество, что за ними стоял уже не просто недовольный обыватель, а избиратель, отмежевавшийся слева, т.-е. более сознательно подавший голос за антиреволюционную платформу. Между тем как главная масса помещиков и представителей крупного капитала перешла в лагерь активной реакции, городское мещанство, торговый пролетариат и рядовая интеллигенция голосовали за левые партии. За кадетами пошла часть помещиков и средние слои городского населения. Налево от них стояли представители крестьян и рабочих.

Кадеты голосовали за правительственный проект рекрутского набора и обещали вотировать бюджет. Точно также они голосовали бы за новые займы для покрытия государственного дефицита и, не колеблясь, взяли бы на себя ответственность за старые долги самодержавия. Головин, эта жалкая фигура, воплотившая за председательским столом все ничтожество и бессилие либерализма, высказал после роспуска Думы ту мысль, что в поведении кадетов правительство, в сущности, должно было бы усмотреть свою победу над оппозицией. Это совершенно верно. При таких обстоятельствах, казалось бы, не было никаких оснований для роспуска Думы. И все-таки она была распущена. Это доказывает, что есть сила более могущественная, чем политические аргументы либерализма. Эта сила — внутренняя логика революции.

В борьбе с руководимой кадетами Думой министерство все больше проникалось сознанием своего могущества. На лжепар-

ламентской трибуне оно увидело перед собой не исторические задачи, которые требовали решения, а политических противников, которых нужно было обезвредить. В качестве соперников правительства и претендентов на власть фигурировала кучка адвокатов, для которых политика была чем-то вроде судоговорения высшей инстанции. Их политическое красноречие колебалось между юридическим силлогизмом и ложно-классической фразой. В прениях по поводу военно-полевых судов обе партии столкнулись лицом к лицу. Московский адвокат Маклаков, в котором либералы видели человека будущего, подверг военно-полевую юстицию и вместе с ней всю политику правительства уничтожающей юридической критике.

«Но ведь военно-полевые суды не юридический институт,—ответил ему Столыпин.—Они—орудие борьбы. Вы доказываете, что это орудие не законосообразно? Зато оно целесообразно. Право не является самоцелью. Когда существованию государства угрожает опасность, правительство не только имеет право, но обязано, минуя право, опереться на материальные орудия своей власти!»

Этот ответ, в котором содержится не только философия государственного переворота, но и философия народного восстания, поверг либерализм в крайнее смущение. Это неслыханное признание!—кричали либеральные публицисты и клялись в тысяча первый раз, что право выше силы.

Но вся их политика убеждала министерство в противном. Они отступали шаг за шагом. Чтобы спасти Думу от роспуска, они отказывались от всех своих прав и тем неопровержимо доказывали, что сила выше права. При таких условиях у правительства неизбежно должно было возникнуть искушение использовать свою силу до конца.

Вторая Дума разогнана,—и в качестве преемника революции выступает уже консервативный национал-либерализм, в лице Союза 17 октября. Если кадеты казались себе наследниками задач революции, то октябристы на деле оказались наследниками кадетской тактики соглашения. Кадеты могут строить какие угодно презрительные рожи за спиною октябристов, но эти последние только делают выводы из кадетских посылок: раз нельзя опереться на революцию, остается опереться на конституционализм Столыпина.

Третья Дума дала царскому правительству 456.535 новобранцев, хотя до сих пор вся реформа в ведомстве Куропаткина и Стесселя ограничилась новыми погонами, нашивками и киверами. Она вотировала бюджет министерства внутренних дел, которое 70% территории страны отдало в распоряжение сатрапов, вооруженных удавной петлей исключительных законов, чтобы на пространстве остальных 30% душить и вешать на основании законов нормального времени. Она приняла все основные положения знаменитого указа 9 ноября 1906 года, проведенного правительством на основании § 87 и имеющего своей задачей высвободить из крестьянства слой крепких собственников, а остальную массу предоставить действию естественного отбора—в биологическом смысле этого слова. Экспроприации помещичьих земель в пользу крестьянства реакция противопоставила экспроприацию общинных крестьянских земель в пользу кулаков. «Закон 9 ноября,—сказал один из крайних реакционеров III Думы,—содержит в себе достаточно гремучего газа для того, чтобы взорвать всю Россию».

Загнанные в исторический тупик непримиримостью дворянства и бюрократии, которые снова оказались неограниченными господами положения, буржуазные партии ищут выхода из экономических и политических противоречий своего положения—в империализме. За поражения во внутренней политике они ищут компенсаций во внешней: на Дальнем Востоке (Амурская дорога), в Персии или на Балканах. Так называемая «аннексия» Боснии и Герцеговины вызвала в Петербурге и Москве оглушительный звон всех медных тарелок патриотизма. При этом та из буржуазных партий, которая развила наибольшую оппозицию старому порядку,—кадетская,—идет теперь во главе воинствующего «неославизма»: в капиталистическом империализме кадеты ищут разрешения тех задач, которых не разрешила революция. Приведенные ходом ее к фактическому отказу от идеи отчуждения помещичьих земель и демократизации всего социального строя, а значит и к отказу от надежды создать для капиталистического развития устойчивый внутренний рынок, в виде крестьян-фермеров, кадеты переносят свои надежды на внешние рынки. Для успехов в этом направлении нужна сильная государственная власть,—и либералы видят себя вынужденными активно поддерживать царизм, как ее реального носителя. Оп-

позиционно подкрашенный империализм Милюковых как бы наводит некоторый идеологический грим на отвратительную комбинацию из самодержавного бюрократа, дикого помещика и паразитического капиталиста, лежащую в основе третьей Думы.

Создавшееся таким путем положение чревато самыми неожиданными последствиями. Правительство, которое похоронило репутацию своей силы в водах Цусимы и на полях Мукдена; правительство, на голову которого обрушились страшные последствия его политики авантюр, теперь неожиданно оказывается в фокусе патриотического доверия представителей «нации». Оно не только получает без возражения полмиллиона новых солдат и полмиллиарда на текущие военные расходы, но и находит поддержку Думы в своих новых экспериментах на Дальнем Востоке. Мало того. Справа и слева, от черносотенцев и от кадет, оно слышит упреки в недостаточной активности своей внешней политики. Таким образом царское правительство всей логикой вещей толкается на рискованный путь борьбы за восстановление своего мирового положения. И кто знает? Может быть, прежде чем участь самодержавия окончательно и бесповоротно решится на улицах Петербурга и Варшавы, она подвергнется повторительному испытанию на полях Амура или на побережьи Черного моря.

# ПРИЛОЖЕНИЯ

# Партия пролетариата и буржуазные партии в революции.

(Из речи на Лондонском съезде Российской С.-Д. Р. Партии 12/25 мая 1907 г.)

Товарищи знают, что я коренным образом расхожусь с тем воззрением на нашу революцию и роль в ней буржуазных партий, которое было официальной философией партии за истекший период.

Товарищам меньшевикам их собственные взгляды кажутся необыкновенно сложными. Я не раз слышал с их стороны обвинения в упрощенном представлении о ходе русской революции. А между тем, несмотря на крайнюю неоформленность, являющую вид сложности,—а может быть, именно благодаря этой неоформленности,—взгляды меньшевиков вырождаются в весьма простую схему, доступную пониманию даже г. Милюкова. В послесловии к недавно вышедшей книжке: «Как прошли выборы во II-ю Государственную Думу» идейный вождь кадетской партии пишет: «Что касается левых групп в тесном смысле, т.-е. социалистических и революционных, с ними сойтись будет труднее. Но и тут опять, если нет определенных положительных причин, зато есть очень сильные отрицательные причины, которые до известной степени помогут нам сблизиться. Их цель — нас критиковать и дискредитировать; уже для этого необходимо, чтобы мы были налицо и действовали. Мы знаем, что для социалистов, не только русских, но и всего мира, совершающийся теперь переворот есть переворот буржуазный, а не социалистический: переворот, который должна совершить буржуазная демократия. К тому, чтобы занять место этой демократии... никакие социалисты в мире не готовились, и если страна их послала в Думу в таком большом количестве, то, конечно, не для того, чтобы осу-

ществлять теперь социализм или чтобы своими руками проводить подготовительные «буржуазные» реформы... Таким образом им будет гораздо выгоднее предоставить нам роль парламентариев, чем компрометировать этой ролью самих себя».

Милюков, как видите, сразу вводит нас в самую сердцевину вопроса. В приведенной цитате имеются все основные элементы меньшевистских взглядов на революцию и соотношение буржуазной и социальной демократии. «Совершающийся переворот есть переворот буржуазный, а не социалистический». Это—во-первых. Буржуазный переворот «должна совершить буржуазная демократия». Это—во-вторых. Социальная демократия не может своими руками проводить буржуазные реформы; ее роль чисто оппозиционная: «критиковать и дискредитировать». Наконец, в-четвертых, чтобы социалисты имели возможность оставаться в оппозиции, «необходимо, чтобы мы (т.-е. буржуазная демократия) были налицо и действовали».

А если «нас» нет? А если отсутствует буржуазная демократия, способная итти во главе буржуазной революции? Тогда остается ее выдумать. К этому именно и приходит меньшевизм. Он строит буржуазную демократию, ее свойства и ее историю на средства собственного воображения.

Как материалисты мы прежде всего должны поставить перед собой вопрос о социальных основах буржуазной демократии: на какие слои или классы она может опереться?

О крупной буржуазии—с этим мы согласны все—не приходится говорить, как о революционной силе. Какие-нибудь лионские промышленники играли контр-революционную роль даже во время великой французской революции, которая была национальной революцией в самом широком смысле этого слова. Но нам говорят о средней и, главным образом, о мелкой буржуазии, как руководящей силе буржуазного переворота. Но что такое представляет из себя эта мелкая буржуазия?

Якобинцы опирались на городскую демократию, выросшую из ремесленных цехов. Мелкие мастера, подмастерья и, тесно связанный с ними, мелкий городской люд составляли армию революционных санкюлотов, опору руководящей партии монтаньяров. Именно эта компактная масса городского населения, прошедшая долгую историческую школу цехового ремесла, вынесла на себе всю тяжесть революционного переворота. Объективным

результатом революции было создание «нормальных» условий капиталистической эксплоатации. Но социальная механика исторического процесса привела к тому, что условия господства буржуазии создавались чернью, уличной демократией, санкюлотами. Их террористическая диктатура очистила буржуазное общество от старого хлама, а затем буржуазия пришла к господству, низвергнув диктатуру мелко-буржуазной демократии.

Я спрашиваю—увы, не в первый раз: какой общественный класс поднимет на себе у нас революционную буржуазную демократию, поставит ее у власти и даст ей возможность совершить огромную работу, имея пролетариат в оппозиции? Это центральный вопрос,—и я снова ставлю его меньшевикам.

Правда, у нас имеются огромные массы революционного крестьянства. Но товарищи из меньшинства не хуже моего знают, что крестьянство, как бы революционно оно ни было, не способно играть самостоятельную, а тем более руководящую политическую роль. Крестьянство может, бесспорно, оказаться огромной силой на службе революции; но было бы недостойно марксиста думать, что мужицкая партия способна стать во главе буржуазного переворота и собственной инициативой освободить производительные силы нации от архаических оков. Город—гегемон современного общества, и только он способен на роль гегемона буржуазной революции. Где же у нас та городская демократия, которая была бы способна повести за собой нацию?

Т. Мартынов уже неоднократно искал ее с лупой в руках. Он находил саратовских учителей, петербургских адвокатов и московских статистиков! Он, как и все его единомышленники, не хотел лишь заметить, что в российской революции индустриальный пролетариат завладел той самой почвой, на которой в конце XVIII века стояла ремесленная полупролетарская демократия санкюлотов. Я обращаю, товарищи, ваше внимание на этот коренной факт.

Наша крупная индустрия не выросла естественно из ремесла. Экономическая история наших городов совершенно не знает периода цехов. Капиталистическая промышленность возникла у нас под прямым и непосредственным давлением европейского капитала. Она завладевала, в сущности, девственной, примитивной почвой, не встречая сопротивления ремесленной культуры. Чужеземный капитал притекал к нам по каналу государственных

займов и по трубам частной инициативы. Он собирал вокруг себя армию промышленного пролетариата, не давая возникнуть и развиться ремеслу. В результате этого процесса у нас к моменту буржуазной революции главной силой городов оказался индустриальный пролетариат крайне высокого социального типа. Это—факт, которого нельзя опровергнуть и который необходимо положить в основу всех наших революционно-тактических выводов.

Если товарищи из меньшинства верят в победу революции или хотя бы только признают возможность такой победы, они не смогут оспорить, что помимо пролетариата у нас нет исторического претендента на революционную власть. Как мелко-буржуазная городская демократия французской революции встала во главе революционной нации, так пролетариат, эта единственная революционная демократия наших городов, должен найти опору в крестьянских массах и стать у власти,—если только революции предстоит победа. Правительство, опирающееся непосредственно на пролетариат и, через него, на революционное крестьянство, еще не означает социалистической диктатуры. Я сейчас не касаюсь дальнейших перспектив пролетарского правительства. Может быть, пролетариату суждено пасть, как пала якобинская демократия, чтобы очистить место господству буржуазии. Я хочу лишь установить одно: если революционное движение восторжествовало у нас, согласно предсказанию Плеханова, как рабочее движение, то победа революции возможна у нас лишь, как революционная победа пролетариата,—или невозможна вовсе.

На этом выводе я настаиваю со всей решительностью. Если признать, что социальные противоречия между пролетариатом и крестьянскими массами не позволят пролетариату стать во главе этих последних, что сам пролетариат недостаточно силен для победы,—тогда необходимо притти к выводу, что нашей революции вообще не суждена победа. При таких условиях естественным финалом революции должно явиться соглашение либеральной буржуазии со старой властью. Это—исход, возможности которого отнюдь нельзя отрицать. Но ясно, что он лежит на пути поражения революции, обусловленного ее внутренней слабостью.

В сущности, весь анализ меньшевиков—прежде всего их оценка пролетариата и его возможных отношений к крестьянству—неумолимо ведет их на путь революционного пессимизма. Но они

упорно сворачивают с этого пути и развивают революционный оптимизм за счет... буржуазной демократии. Отсюда вытекает их отношение к кадетам. Кадеты для них—символ буржуазной демократии, а буржуазная демократия—естественный претендент на революционную власть. Т. Мартынов построил под этим углом зрения целую философию истории конституционно-демократической партии. Кадеты, видите ли, отклоняются направо в периоды революционного затишья и передвигаются влево, когда революция идет к подъему. Следовательно, за ними сохраняется право на революционную будущность. Я должен, однако, установить, что история кадетов в изображении Мартынова представляется тенденциозной, подогнанной под определенную мораль. Мартынов напомнил нам, что в октябре 1905 года кадеты расписались в сочувствии к забастовщикам. Это неоспоримый факт. Но что скрывалось за этим платоническим сочувствием? Самый вульгарный буржуазный страх перед террором улицы. Как только революционное движение разраслось, кадеты совершенно устранились с политической арены. Причины этого устранения с полной откровенностью объясняет Милюков в брошюре, которую я уже цитировал: «Когда после 17 октября в России впервые появились свободные политические собрания, настроение их было безусловно левое... Выступление даже такой партии, как конституционно-демократическая, переживавшая тогда первые месяцы своего существования и готовившаяся к парламентской борьбе, было абсолютно невозможно в последние месяцы 1905 года. Те, кто упрекают теперь партию, что она не протестовала т о г д а же, путем устройства митингов, против «революционных иллюзий» троцкизма и против рецидива «бланкизма», просто не понимают или не помнят тогдашнего настроения собиравшейся на митинги демократической публики» («Как прошли выборы...», стр. 91 и 92). Г. Милюков, как видите, делает мне слишком много чести, связывая с моим именем период высшего подъема революции. Но интерес цитаты не в том. Для нас важно установить, что в октябре и ноябре единственная возможная для кадетов работа состояла в борьбе с революционными «иллюзиями», т.-е., по существу, с революционным движением масс,—и если они этой работы не выполняли, то только потому, что боялись демократической публики народных собраний. И это в медовый месяц своего существования! И это в момент апогея нашей революции!

Т. Мартынов вспомнил о платоническом кадетском приветствии по адресу забастовщиков. Но, как тенденциозный историк, он забыл упомянуть о ноябрьском земском съезде, во главе которого стояли кадеты. Обсуждал ли этот съезд вопрос о своем участии в народном движении? Нет, он столковывался насчет соглашения с министерством Витте. Когда пришло известие о севастопольском восстании, съезд сразу и решительно отклонился вправо—вправо, а не влево. И только речь г. Милюкова, сводившаяся к тому, что восстание уже, слава богу, подавлено, только эта речь снова поставила кадетских земцев на конституционные рельсы. Вы видите, что общий тезис Мартынова требует великих ограничений.

Следующий момент—кадеты в первой Думе. Это бесспорно самая «блестящая» страница в истории либеральной партии. Но чем объясняется этот кадетский подъем? Мы можем разно оценивать тактику бойкота. Но для всех нас должно быть несомненно, что именно эта тактика искусственно и потому лишь временно толкнула в сторону кадетов широкие слои демократии, вдвинула в рамки кадетского представительства многих радикалов и тем превратила кадетов в орган «национальной» оппозиции: это исключительное положение довело кадетов до Выборгского воззвания, на которое ссылался тот же Мартынов. Но уже выборы во вторую Думу заставили кадетов занять свойственную им позицию борьбы с «революционными иллюзиями». Г. Алексей Смирнов, историограф кадетской партии, так характеризует избирательную кампанию в городах, где кадеты имеют наибольшее влияние: «Сторонников правительства среди городских избирателей не оказывалось... Центр борьбы на собраниях поэтому перенесся на другую сторону—на спор между партией Народной Свободы и левыми социалистическими партиями» («Как прошли выборы...», стр. 90).

Оппозиционный хаос первых выборов уступил на вторых выборах место дифференциации по революционно-демократической линии. Кадеты мобилизовали своих избирателей против лозунгов демократии, революции, пролетариата. Это кардинальный факт. Социальный базис кадетов стал более узким и менее демократическим. И это уж не случайное, не временное, не переходящее обстоятельство. Оно знаменует действительно серьезный раскол между либерализмом и революционной демократией. Милюков

отдал себе очень ясный отчет в этом результате вторых выборов. Указав на то, что в первой Думе кадеты имели большинство—«может быть, потому, что не имели конкурентов»,—что на вторых выборах они это большинство растеряли, лидер кадетской партии заявляет: «Но зато теперь мы имеем за собой и значительную часть страны, высказавшуюся за нашу тактику против тактики революционной» (там же, стр. 286).

Этой ясности и отчетливости в оценке происходящего нельзя не пожелать т-щам из меньшинства. Думаете ли вы, что дальше дело пойдет иначе? Что кадеты снова соберут под свое знамя демократию и станут революционнее? Не думаете ли вы, наоборот, что дальнейшее развитие революции окончательно оторвет демократию от либералов и отбросит последних в лагерь реакции? Разве не ведет к этому вся тактика кадетов во второй Думе? Разве не ведет к этому ваша собственная тактика? ваши выступления в Думе? ваши обличения в прессе и на собраниях? На чем же основана ваша вера в то, что кадет еще поднимется и выпрямится? На фактах политического развития? Нет, на вашей схеме! Для «доведения революции до конца» вам нужна городская буржуазная демократия. Вы ее жадно ищете и не находите ничего, кроме кадетов. И вы развиваете за их счет удивительный оптимизм, вы переряжаете их, вы хотите заставить их играть историческую роль, которую они играть не хотят, не могут и не будут.

На свой коренной вопрос—я его задавал много раз—я не услышал ответа. У вас нет прогноза революции. Ваша политика лишена великих перспектив.

И в связи с этим ваше отношение к буржуазным партиям формулируется словами, которые должны быть удержаны памятью съезда: от случая к случаю. Пролетариат не ведет систематической борьбы за влияние на народные массы, он не контролирует своих тактических шагов под углом зрения одной руководящей идеи: объединить вокруг себя труждающихся и обремененных и стать их герольдом и вождем,—он ведет политику от случая к случаю. Он в принципе лишается возможности пренебрегать преходящими выгодами ради глубоких завоеваний,—он эмпирически взвешивает и отмеривает, он совершает свои торгово-политические комбинации от случая к случаю. «Почему я должен предпочитать блондинок брюнеткам?» спрашивает т. Плеханов. И я должен признать, что, поскольку речь идет о блондинках и брюнет-

ках, это бесспорно составляет ту область, которую немцы называют Privatsache, область свободного личного усмотрения. Я думаю, что даже Алексинский, известный своей принципиальной беспощадностью, не потребует, чтобы съезд установил в этой сфере «единство идей», как предпосылку единства действий. (Аплодисменты) [1]).

---

[1]) «Лондонский съезд Р. С.-Д. Р. П.» Полный текст протоколов. Изд. Ц. К. 1909 г., стр. 295.

# Пролетариат и русская революция.

(О меньшевистской теории русской революции.)

(A. Tscherewanin. Das Proletariat und die russische Revolution. Stuttgart, 1908. Verlag Dietz.)

Россию каждый добрый европеец—и не в последнем счете европейский социалист—считает страной неожиданностей по той простой причине, по которой результаты всегда кажутся неожиданными, когда не знаешь причин. Французские путешественники XVIII века рассказывали, что в России улицы отапливаются кострами. Европейские социалисты XX века этому, разумеется, не верили, но все же считали климат России слишком суровым, чтобы допустить возможность развития в нем социал-демократии. И наоборот. Один из французских романистов, не то Eugène Sue, не то Dumas-père, заставляет своего героя пить в России чай sous l'ombre d'une kljukwa (под тенью клюквы). Конечно, образованный европеец теперь знает, что поместиться с самоваром под клюквой почти так же трудно, как верблюду пролезть сквозь ушко иголки. Но колоссальные события русской революции своей полной неожиданностью заставили многих социалистов Запада мгновенно уверовать, что климат России, еще недавно требовавший уличного отопления, получил способность превращать полярные растеньица в исполинские баобабы. И потому, когда первый могучий натиск революции оказался раздавлен военными силами царизма, многие поторопились из-под тени клюквы перейти под тень разочарования.

К счастью, русская революция породила на социалистическом Западе искренное желание разобраться в русских отношениях. И я бы затруднился решить, что более ценно: этот идейный интерес или третья Государственная Дума, которая ведь тоже есть дар революции, по крайней мере в том же смысле, в каком труп собаки, покинутый на песчаной отмели отливом, есть «дар» океана.

Несомненной признательности заслуживает штуттгартское издательство Dietz, которое пошло навстречу пробужденным революцией запросам своими последними тремя изданиями [1]). Нужно, однако, сказать, что они далеко не равноценны. Книга Маслова представляет капитальное исследование русских аграрных отношений. И научная ценность этой работы так значительна, что автору можно простить не только крайнее несовершенство ее формы, но даже и его совершенно несостоятельную переработку марксовой теории земельной ренты. Книжка Пажитнова, не являясь ни в каком отношении самостоятельным исследованием, дает довольно много материала для характеристики положения русского рабочего—на фабрике, в шахте, в квартире, в больнице, отчасти в профессиональном союзе, но не в социальном организме страны. Автор и не ставит себе этой последней задачи. Поэтому его работа способна лишь очень мало дать для понимания революционной роли русского пролетариата.

Этот большой вопрос хочет осветить недавно появившаяся в немецком переводе брошюра Череванина. На ней мы сейчас и остановимся.

## I.

Череванин исходит из выяснения общих причин революции. Он видит в ней продукт столкновения между неотразимыми потребностями капиталистического развития страны и крепостническими формами государства и права. «Неумолимая логика экономического развития,—пишет он,—привела к тому, что в конце концов все слои населения, за исключением феодального дворянства, вынуждены были занять враждебную позицию по отношению к правительству» (стр. 10).

В этой группировке оппозиционных и революционных сил «пролетариат сыграл несомненно центральную роль» (ibid.). Но сам он имел значение лишь как часть оппозиционного целого. В исторических рамках общей борьбы за раскрепощение нового буржуазного общества он мог иметь успех постольку, поскольку его поддерживала буржуазная оппозиция, или, вернее,

---

[1]) Peter Maslow. Die Agrarfrage in Russland. Paschitnow. Lage der arbeitenden Klasse in Russland. A. Tscherewanin. Das Proletariat und die russische Revolution.

поскольку он сам своими революционными действиями лишь поддерживал эту последнюю. И наоборот. Всякий раз, когда пролетариат неумеренностью (или, если угодно, исторической преждевременностью) своих выступлений изолировал себя от буржуазной демократии, он терпел поражения и тормозил развитие революции. Вот сущность исторической концепции Череванина [1]. На протяжении всей своей брошюры он неутомимо борется с преувеличением революционной силы и переоценкой политической роли русского пролетариата.

Он анализирует великую драму 9-го января 1905 года, чтобы притти к выводу: «Не прав Троцкий, когда он пишет: рабочие направились 9-го января к Зимнему дворцу не с просьбами, а с требованием» (стр. 27). Он обвиняет партийную организацию в переоценке той зрелости, какую проявил петербургский пролетариат в феврале 1905 года в деле с комиссией сенатора Шидловского, когда выборные, представители массы, потребовали для себя публично-правовых гарантий и, не получив их, ушли; и когда на аресты своих уполномоченных рабочие ответили стачкой. Он дает беглый очерк великой октябрьской стачки и при этом следующим образом формулирует свои выводы: «Мы выяснили, из каких элементов сложилась октябрьская стачка, какую роль играли при этом буржуазия и интеллигенция. Мы вполне определенно установили, что пролетариат не один и не одними своими силами нанес этот серьезный, может быть, смертельный удар абсолютическому режиму» (стр. 56). После издания манифеста 17 октября все буржуазное общество жаждало успокоения. Поэтому «безумием» со стороны пролетариата было становиться на путь революционного восстания. Энергию пролетариата нужно было направить на выборы в Думу. Череванин нападает на тех, кто указывал, что Дума пока еще только обещана, что неизвестно, как и когда произойдут выборы и произойдут ли вообще. Цитируя написанную мною в день издания манифеста статью, он говорит: «Совершенно неправильно умалялась только что одержанная победа в «Известиях Совета Рабочих Депутатов», когда вскоре после манифеста они писали: «Дана конституция, но оставлено самодержавие. Все дано и не дано ничего».

[1]) Ту же точку зрения проводит Ф. Дан в своей недавней статье в № 2 «Neue Zeit». Но он уступает Череванину в смелости выводов, по крайней мере по отношению к прошлому.

Дальше шло все хуже и хуже. Вместо того, чтобы поддержать земский съезд, выставивший требования всеобщего избирательного права при выборах в Думу, пролетариат круто порывал с либерализмом и буржуазной демократией, идя навстречу новым «сомнительным союзникам»: крестьянству и армии. Революционное введение восьмичасового рабочего дня, ноябрьская стачка, как ответ на введение военного положения в Польше,— ошибка громоздится на ошибку, и путь этот приводит к роковому разгрому в декабре. А этот разгром, вместе с дальнейшими ошибками социал-демократии, подготовляет крах первой Думы и дальнейшее торжество контр-революции.

Такова историческая концепция Череванина. Немецкий переводчик сделал все, что мог, чтобы ослабить энергию череванинских обвинений и обличений, но и в этом смягченном виде работа Череванина гораздо больше походит на обвинительный акт по делу о революционных преступлениях пролетариата против «истинной реалистической тактики», чем на действительное изображение революционной роли пролетариата.

Материалистический анализ социальных отношений Череванин заменяет формалистической дедукцией: наша революция есть буржуазная революция; победоносная буржуазная революция должна передать власть буржуазии; пролетариат должен содействовать буржуазной революции; следовательно, он должен содействовать переходу власти в руки буржуазии; идея завоевания власти пролетариатом несовместима поэтому с тактикой пролетариата в эпоху буржуазной революции; действительная тактика пролетариата, естественно, вела его к борьбе за государственную власть и потому была ошибочной.

Эта красивая логическая конструкция, которая у схоластов называлась, кажется, сорит, оставляет, однако, в стороне главный вопрос о внутренних силах буржуазной революции, об ее классовой механике. Мы знаем классический пример революции, в которой условия господства капиталистической буржуазии были подготовлены террористической диктатурой победоносных санкюлотов. Это было в эпоху, когда главную массу городского населения составляло ремесленно-торговое мещанство. Якобинцы вели его за собой. Главную массу населения городов России составляет в настоящее время индустриальный пролетариат. Уже одна эта аналогия подсказывает мысль о возможности такой

исторической ситуации, когда победа «буржуазной» революции оказывается возможной только через завоевания революционной власти пролетариата. Перестает ли от этого революция быть буржуазной? И да, и нет. Это зависит не от формального определения, а от дальнейшего развития событий. Если пролетариат сброшен коалицией буржуазных классов, в том числе и освобожденного им крестьянства, революция сохранит свой ограниченный буржуазный характер. Если же пролетариат сможет и сумеет все средства своего политического господства привести в движение для того, чтобы разбить национальные рамки русской революции, эта последняя может стать прологом мирового социалистического катаклизма. Вопрос в том, до какого э т а п а дойдет русская революция, допускает, разумеется, только условное решение. Но одно несомненно и безусловно: голое определение русской революции, как б у р ж у а з н о й, ровно ничего не говорит о типе ее внутреннего развития и ни в каком случае не означает, что пролетариат должен приспособлять свою тактику к поведению буржуазной демократии, как единственного законного претендента на государственную власть.

## II.

Прежде всего: что это за политическое тело, эта «буржуазная демократия»? Когда произносят это имя, то мысленно ассимилируют либералов в процессе революции с народными массами, т.-е. прежде всего с крестьянством. Но в действительности— и в этом корень дела—эта ассимиляция не произошла и не может произойти.

Кадеты—партия, задававшая тон в либеральных кругах в течение последних двух лет—образовались в 1905 году путем объединения союза земских конституционалистов с «Союзом Освобождения». В либеральной фронде земцев находило свое выражение, с одной стороны, завистливое недовольство аграриев чудовищным индустриальным протекционизмом правительственной политики, с другой—оппозиция более прогрессивных землевладельцев, которым варварство русских аграрных отношений препятствовало поставить свое хозяйство на капиталистическую ногу. «Союз Освобождения» объединял под своим знаменем те элементы интеллигенции, которым «приличное» общественное положение и связанная с ним сытость мешали стать на рево-

люционный путь. Многие из этих господ прошли предварительную школу легального марксизма. На земской оппозиции всегда стояла печать трусливой немощности, и августейший недоросль сказал только горькую правду, когда назвал в 1894 году ее политические пожелания «бессмысленными мечтаниями». С другой стороны, и привилегированная интеллигенция, лишенная самостоятельного социального веса, стоящая в прямой или косвенной материальной зависимости от государства, протежируемого им крупного капитала или либерально-цензового землевладения, не способна была развить сколько-нибудь внушительную политическую оппозицию. Таким путем кадетская партия являлась, следовательно, соединением оппозиционного бессилия земцев со всесторонним бессилием дипломированной интеллигенции. Поверхностность земского либерализма обнаружилась с полной наглядностью уже в конце 1905 года в резком повороте помещиков—под влиянием аграрных беспорядков—на сторону старой власти. Либеральной интеллигенции пришлось со слезами на глазах покинуть помещичью усадьбу, где она была, в сущности, только приемышем, и искать признания на своей исторической родине, в городах. Если подвести итоги трем выборным кампаниям, то Петербург и Москва, с их цензовыми элементами населения, явились цитаделью кадетов. Тем не менее русскому либерализму, как видно из всего его жалкого поведения, так и не удалось вырваться из состояния ничтожества. Почему? Объяснение этому заключается не в революционных эксцессах пролетариата, а в гораздо более глубоких исторических причинах.

Социальной основой буржуазной демократии и движущей силой европейской революции было третье сословие, ядром которого явилась мелкая буржуазия городов—ремесленники, купцы и интеллигенция. Вторая половина XIX столетия была временем ее полного упадка. Капиталистическое развитие не только раздавило ремесленную демократию на Западе, но и не дало ей сложиться на Востоке.

Европейский капитал застал в России деревенского кустаря и, не дав ему отделиться от крестьянина и превратиться в ремесленника, придавил его сразу фабрикой. При этом он превратил наши старые архаические города—в том числе Москву, «большую деревню»—в средоточия новейшей индустрии. Пролетариат, без ремесленного прошлого, без цеховых традиций и предрассуд-

ков, сразу оказался сосредоточенным в огромных массах. Во всех главных отраслях промышленности крупный и крупнейший капитал вырвал почву из-под ног мелкого и среднего без всякого боя. Нет возможности сравнивать Петербург или Москву с Берлином или Веной 1848 года, а тем более с Парижем 1789 года, который не мечтал еще ни о железной дороге, ни о телеграфе и считал мануфактуру в 300 рабочих крупнейшим предприятием. Но в высокой степени замечательно, что русская индустрия по степени своей концентрированности не только в состоянии выдержать сравнение с европейскими государствами, но и далеко их все оставляет за собой. Вот небольшая таблица, которая может служить иллюстрацией этому:

| | Германская [1]) империя переп. 1895 г. | | Австрия [2]) переп. 1902 г. | | Россия [3]) переп. 1902 г. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Число предприятий. | Число рабочих. | Число предприятий. | Число рабочих. | Число предприятий. | Число рабочих. |
| Предприятия от 51—1.000 рабочих | 18.698 | 2.595.536 | 6.334 | 993.000 | 6.334 | 1.202.800 |
| Предприятия свыше 1.000 рабочих | 255 | 448.731 | 115 | 179.876 | 458 | 1.155.000 |

Мы устранили из сравнения предприятия, занимающие менее 50 рабочих, так как учет их в России крайне несовершенен. Но и эти две цифровые строки показывают колоссальный перевес русской индустрии над австрийской с точки зрения концентрации производства. В то время, как общее число средних и крупных предприятий (51—1.000 раб.) совершенно случайно совпадает в точности (6.334), число гигантских предприятий (свыше 1.000 рабочих) в России в четыре раза больше, чем в Австрии. Однородный результат получится, если мы привлечем для

[1]) Ремесло и торговля в Германской империи, стр. 42.

[2]) Справочник по статистике Австрии, Вена, 1907, стр. 229.

[3]) А. В. Полежаев. Учет численности и состава рабочих в России, СПБ., стр. 46 и сл.

сравнения не только отсталую Австрию, но и такие капиталистические передовые страны, как Германия и Бельгия. В Германии 255 гигантских предприятий с количеством рабочих немного менее, чем в полмиллиона человек; в России—458, с числом рабочих более, чем в миллион. На тот же вопрос бросает яркий свет сравнение прибылей, приносимых разными категориями торгово-промышленных заведений России.

| | Число предприятий. | Сумма прибыли в милл. руб. |
|---|---|---|
| С прибылью от 1.000 до 2.000 руб. | 37.000—44,5% | 56— 8,6% |
| » выше 50.000 руб. | 1.400— 1,7% | 291—45,0% |

Другими словами, около половины всех предприятий получают менее одной десятой доли общей прибыли, в то время как на долю одной шестидесятой части предприятий выпадает почти половина всей прибавочной стоимости.

Эти немногие цифры достаточно красноречиво свидетельствуют о том, что запоздалый характер русского капитализма до крайности обострил противоречия между полюсами буржуазного общества, капиталистами и рабочими. Эти последние занимают не только в общественной экономике, не только в составе городского населения, но и в экономике революционной борьбы то место, которое в Западной Европе занимала в соответственную эпоху ремесленно-торговая демократия, вышедшая из цехов и гильдий. У нас нет и в помине того коренастого мещанства, которое рука об руку с молодым, еще не сложившимся в класс, пролетариатом брало приступом бастилии феодализма.

Правда, мелкая буржуазия политически всегда и везде была достаточно бесформенным телом, но в свои лучшие исторические дни ей удавалось развить огромную политическую активность. Когда же, как в России, безнадежно-запоздалая буржуазно-демократическая интеллигенция висит над бездной классовых противоречий, опутанная помещичьими традициями и профессорскими предрассудками, рожденная под звуки социалистических проклятий, не смеющая думать о влиянии на рабочих и бессильная овладеть чрез голову пролетариата и в борьбе с помещичьими интересами—крестьянством,—тогда эта несчастная, лишенная позвоночного столба демократия превращается в кадетскую партию. Даже, не увлекаясь чувством национальной гордости, можно утверждать, что короткая судьба русского

либерализма является беспримерной в истории буржуазных стран по обнаруженной им внутренней дрянности и концентрированному тупоумию. С другой стороны, несомненно, что ни одна из старых революций не поглотила такой массы народной энергии и не дала таких ничтожных объективных результатов. Под каким бы углом зрения мы ни смотрели на события, внутренняя связь между ничтожеством буржуазной демократии и «безрезультатностью» революции выступает сама собой. Эта связь несомненна, но она отнюдь не располагает нас к пессимистическим выводам. «Безрезультатность» русской революции есть лишь оборотная сторона ее глубокого затяжного характера. Буржуазная по непосредственным, ее породившим, задачам, наша революция, в силу крайней классовой дифференциации торгово-промышленного населения, не знает такого буржуазного класса, который мог бы стать во главе народных масс, соединяя свой социальный вес и политический опыт с их революционной энергией. Предоставленные самим себе угнетенные рабочие и крестьянские массы должны в суровой школе беспощадных столкновений и жестоких поражений вырабатывать необходимые политические и организационные предпосылки своей победы. Иного пути у них нет.

## III.

Вместе с промышленными функциями ремесленной демократии российский пролетариат перенял и ее задачи, в том числе и политическую гегемонию над крестьянством. Ее задачи, но не ее методы и средства.

На службе буржуазной демократии стоял весь штат официальных общественных организаций: школа, университет, муниципалитет, пресса, театр. Какое это огромное преимущество, показал тот факт, что даже наш рахитический либерализм оказался автоматически организованным и имел в руках готовый аппарат, когда пришло время тех действий, на которые он оказался способен: резолюция, петиция и избирательная конкуренция. Пролетариат не получил от буржуазного общества никакого культурно-политического наследства, кроме той связи, которая ему дается самим процессом производства. Политическую организацию ему пришлось на этой основе создавать в пороховом дыму революционных сражений. С этим затруднением он

справился блестяще: период высшего напряжения его революционной энергии, конец 1905 года, был вместе с тем эпохой создания превосходной классовой организации, в виде Совета Рабочих Депутатов. Эта была, однако, лишь меньшая часть задачи: рабочие должны были победить не только силу своей дезорганизованности, но и организованную силу своего врага.

Методом революционной борьбы, свойственным пролетариату, оказалась всеобщая стачка. Несмотря на свою относительную малочисленность, русский пролетариат держит в зависимости от себя централизованную машину государственной власти и огромную массу концентрированных производительных сил страны. Это придает его стачке ту силу, пред которой абсолютизму в октябре 1905 года пришлось взять под козырек. Но вскоре выяснилось, что всеобщая стачка только ставит проблему революции, не разрешая ее.

Революция есть прежде всего борьба за государственную власть. Стачка же, как подсказывает анализ и как показали события, есть революционное средство давления на существующую власть. Кадетский либерализм, никогда не шедший дальше октроированной конституции, именно поэтому между прочим и санкционировал—правда, лишь на один момент—всеобщую стачку, как средство борьбы,—и притом задним числом, именно тогда, когда пролетариат сознал ее ограниченность и сказал себе, что неизбежно и необходимо выйти за ее пределы.

Гегемония города над деревней, промышленности над земледелием и в то же время новейший тип русской индустрии, отсутствие той сильной и крепкой мелкой буржуазии, по отношению к которой рабочие были только вспомогательным отрядом,—превратили пролетариат в главную силу революции и поставили его лицом к лицу с проблемой завоевания государственной власти. Схоласты, которые считают себя марксистами только потому, что смотрят на мир сквозь ту бумагу, на которой напечатаны книги Маркса, могли приводить сколько угодно «текстов» в доказательство «несвоевременности» политического господства пролетариата,—реальный рабочий класс России, тот, который под руководством чисто классовой организации вступил в конце 1905 года в единоборство с абсолютизмом, при чем крупный капитал и интеллигенция играли роль секундантов с той и другой стороны,—этот пролетариат всем своим революционным разви-

тием уперся в проблему завоевания государственной власти. Очная ставка пролетариата и армии стала неизбежной. Исход ставки зависел от поведения армии, а поведение армии от ее состава.

Политическая роль рабочих в стране несравненно выше их численности. Это показали события, это обнаружили впоследствии выборы во вторую Думу. Свои классовые преимущества — техническую выучку, интеллигентность, способность к сплоченным действиям—рабочие переносят и в казарму.

Во всех революционных движениях армии главную роль играл квалифицированный солдат инженерных войск или артиллерист, родиной которого является город, фабричный квартал. В восстаниях флота первое место занимала машинная команда: пролетарии, даже составляя меньшинство экипажа, владели им, владея машиной, сердцем броненосца. Но в армии, построенной на всеобщей повинности, находит свое естественное выражение колоссальный численный перевес крестьянства. Армия механически преодолевает производственную разрозненность мужика, а его главный порок, политическую пассивность, превращает в свое главное преимущество. В ряде своих выступлений в 1905 году пролетариат действовал, то игнорируя пассивность деревни, то опираясь на ее стихийное недовольство. Но когда во всей своей реальности стала на очередь борьба за государственную власть, решение вопроса оказалось в руках вооруженного мужика, того, который образовывал ядро русской пехоты. В декабре 1905 года русский пролетариат разбился не о свои ошибки, а о более реальную величину: о штыки крестьянской армии.

## IV.

Этот краткий анализ в значительной мере избавляет нас от необходимости останавливаться на отдельных пунктах обвинительного акта Череванина. Из-за отдельных шагов, заявлений и тактических «ошибок» Череванин не видит самого пролетариата в его социальных связях и в его революционном росте. Если он отвергает ту несомненную мысль, что 9-го января рабочие вышли не просить, а требовать, так это потому, что внешняя форма события скрывает от него существо. Если он так тщательно подчеркивает крупную роль интеллигенции в

октябрьской стачке, то этим он нисколько не умаляет значения того факта, что только революционное выступление пролетариата превратило левых демократов из хвоста земцев во временный вспомогательный отряд революции, навязало им чисто пролетарский метод борьбы, всеобщую стачку, и поставило их в зависимость от чисто пролетарской организации,—Совета Депутатов.

Пролетариат должен был, по Череванину, после манифеста сосредоточить свои силы вокруг выборов в Думу. Но ведь никаких выборов тогда не было. Срок и характер их еще никому не были известны. И не было никаких гарантий, что выборы вообще произойдут.

На-ряду с манифестом мы имели в октябре всероссийский погром. Откуда же могла взяться уверенность, что вместо Думы не будет второго погрома? Что оставалось делать при таких условиях пролетариату, натиском своим прорвавшему старые полицейские запруды? Лишь то, что он в действительности делал. Он, естественно, захватывал новые позиции и стремился в них окопаться: разрушал цензуру, создавал революционную прессу, захватывал свободу собраний, защищал население от мундирных и лохмотных хулиганов, строил боевые профессиональные союзы, объединялся вокруг своего классового представительства, завязывал связи с революционным крестьянством и с армией. В то время, как либеральное общество бормотало, что армия должна оставаться «вне политики», социал-демократия вела неутомимую агитацию в казарме. Права она была или нет?

В то время, как ноябрьский земский съезд, поддержку которого рекомендует задним числом Череванин, шарахнулся вправо при первых слухах о восстании флота в Севастополе и обрел снова душевное равновесие только после получения сведений, что восстание уже подавлено, Совет Депутатов, наоборот, восторженно приветствовал повстанцев. Прав он был или нет? На каком пути и в чем именно нужно было искать гарантий победы: в душевном спокойствии земских либералов или в братании революционного пролетариата с армией?

Разумеется, программа конфискации земель, развернутая рабочими, отталкивала помещиков вправо. Но зато она толкала крестьян влево. Разумеется, энергичная экономическая борьба отбрасывала капиталистов в лагерь порядка. Но зато она пробуждала к политическому бытию самых забитых и темных рабо-

чих. Разумеется, агитация в армии ускоряла неизбежный конфликт с правительством. Но что же было делать: оставить в неограниченном распоряжении Трепова солдат, которые уже в медовые дни свобод содействовали погромщикам и расстреливали рабочих милиционеров? Череванин сам чувствует, что ничего другого и нельзя было делать, кроме того, что делалось.

«Тактика была неправильна в своей основе»,—говорит он в заключение своего анализа и тут же прибавляет:—«Допустим даже, что она была неизбежна и что никакая другая тактика не была возможна в данный момент. Но это совершенно не относится к делу—и ничего не меняет в конечном объективном выводе, что тактика социал-демократии была неправильна в своем основании» (стр. 92). Череванин строит свою тактику, как Спиноза—этику: геометрическим методом. При этом он сам допускает, что для применения его тактики не было места в реальных условиях, чем, конечно, и объясняется тот факт, что люди его образа мыслей не играли никакой роли в революции. Но что сказать о той «реалистической» тактике, недостаток которой состоит лишь в том, что она не может быть применена? О ней скажем словами Лютера: «Богословие—жизненное дело и не должно состоять в одном размышлении и обдумывании дел божиих по законам разума...

«Всякое искусство, для домашнего ли обихода или же для мирского дела, ежели оно превращается в спекуляцию и не может быть применено на практике, тем самым обнаруживает свою гиблость и никчемность (ist verloren und taugt nichts)».

## Наши разногласия [1]).

### 1905-й год, реакция и перспективы революции.

«Что современную апатию нельзя преодолеть теоретическим путем, — писал в 1854 г., в эпоху жестокой мировой реакции, Лассаль Марксу, — в этом ты совершенно прав. Я обобщаю эту мысль даже до того, что еще **н и к о г д а** апатию не побеждали чисто-теоретическим путем, т.-е. теоретическое преодоление такой апатии рождало учеников и секты или **н е у д а ч н ы е** практические движения, но никогда еще не вызывало ни реального мирового движения, ни общего массового движения умов. Массы вовлекаются в поток движения не только практически, но и духовно только кипучей силой действительных событий».

Оппортунизм этого не понимает. Может показаться парадоксом, если сказать, что главной психологической чертой оппортунизма является его **н е у м е н и е ж д а т ь**. Но это несо-

---

[1]) Эта статья была напечатана в польском журнале «Przegląd social-demokratyczny» в период глубочайшей реакции в России, почти мертвого затишья в рабочем движении и ренегатского отречения меньшевиков от революции и ее методов.

Статья подвергает также критике тогдашнюю официальную позицию большевизма в вопросе о характере революции и о задачах пролетариата в ней.

Критика меньшевизма сохраняет и по сей день свое значение: русский меньшевизм пожинает плоды своих роковых ошибок в эпоху 1903—1905 г.г., когда он практически складывался; мировой меньшевизм повторяет ныне основные ошибки русского.

Критика тогдашней большевистской позиции (демократическая диктатура пролетариата и крестьянства) сохраняет ныне только исторический интерес. Былые разногласия давно устранены.

В первом издании настоящей книги эта глава была напечатана с пробелами, так как под руками у нас не было ни полной русской рукописи, ни польского журнала, в котором статья была напечатана. В настоящем издании пробелы заполнены по польскому тексту.

*Л. Т.*



БОГДАН КНУНИАНЦ РАДИН,

ЧЛЕН ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ПЕТЕРБУРГСКОГО СОВЕТА,
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПАРТИИ БОЛЬШЕВИКОВ. УМЕР В 1911 ГОДУ.

именно так. В периоды, когда союзные и враждебные социальные силы своим антагонизмом, как и своим взаимодействием, создают в политике состояние мертвого покоя; когда молекулярная работа экономического развития, усиливая противоречия, не только не нарушает политического равновесия, но, наоборот, временно укрепляет и как бы увековечивает его,—снедаемый нетерпением оппортунизм ищет вокруг себя «новых» путей и средств, чтобы немедленно реализовать то, чему история еще отказывает в реализации. Он изнывает от жалоб на недостаток и ненадежность собственных сил и пускается на поиски «союзников». С жадностью набрасывается он на навозную кучу либерализма. Он заклинает ее. Он призывает ее. Он изобретает для нее специальные формулы действия. В ответ она только обдает его запахом политического разложения. Тогда он начинает выклевывать из нее отдельные жемчужные зерна демократии. Ему нужны союзники. Он мечется и за фалды ловит их на перекрестках улиц. Он обращается к «своим» и внушает им величайшую предупредительность по отношению к возможным союзникам. «Такта, побольше такта, как можно больше такта!» Им овладевает особая болезнь, мания осторожности по отношению к либерализму, б е ш е н с т в о т а к т а,—и в исступлении он наносит пощечины и раны собственной партии.

Оппортунизм хочет учесть отношения, которые еще не созрели. Он хочет немедленного «успеха». Когда оппозиционные союзники не помогают, он бросается к правительству: убеждает, просит, грозит... Наконец, он сам находит себе место в правительстве (министериализм), но только для того, чтобы доказать, что историю нельзя обогнать не только «теоретическим путем», но и административным.

Оппортунизм не умеет ждать. И именно поэтому большие события для него всегда неожиданны. Они застигают его врасплох, сбивают с ног, вертят, как щепку в своем водовороте и уносят вперед, ударяя головой то в один берег, то в другой... Он пытается сопротивляться, но тщетно. Тогда он покоряется судьбе, притворяется довольным, машет руками, чтоб показать, что плавает,—и кричит громче всех... А когда ураган проносится, он выползает на берег, брезгливо отряхивается, жалуется на головную боль и ломоту в костях и в состоянии мучительного похмелья не щадит жестких слов по адресу революционных «фантастов»...

I.

В недавно вышедшей книге: «Современное положение и возможное будущее» небезызвестный московский меньшевик Череванин пишет: «В ноябре и в декабре (1905 г.) торжествовала даже не большевистская тактика, а тактика Парвуса и Троцкого» (стр. 200). Официозный философ меньшевистской тактики Мартынов, с своей стороны, упоминает в последнем номере «Голоса Социал-Демократа» о «фантастической теории Парвуса и Троцкого..., которая пользовалась у нас мимолетным успехом в октябрьские дни, в период Советов Рабочих Депутатов» (№ 4—5, стр. 17). Разноречие в месяцах объясняется просто тем, что Мартынов путается в календаре и подъ «октябрьскими днями» Совета понимает дни октябрьские, ноябрьские и декабрьские: философы, оперирующие с большими историческими эпохами, как известно, легко сбиваются в месяцах. Что же, однако, лежало в основе «фантастической теории»? Череванин отвечает: «явно безрассудная точка зрения Парвуса и Троцкого, рассчитывавших перевести Россию из полудикого состояния прямо в социализм» (стр. 177). Безрассудство этого расчета Череванин без труда обнаруживает на нескольких страницах. Что такое русский пролетариат? По самому великодушному расчету это—27,6°/$_0$ населения. Но с революционных счетов нужно скинуть сельско-хозяйственных рабочих, ввиду их темноты и отсталости, прислугу и поденщиков, ввиду их разрозненности,—и тогда останется 3,2 миллиона душ торгово-промышленного пролетариата. «Итак, 5—11°/$_0$ всего населения—вот та основа, на которой Парвус и Троцкий хотели воздвигать социалистический строй! И они наивно думали при этом, что они применяют к действительности марксизм» (стр. 179). Победа Череванина несомненна. Скверно лишь то, что своих противников он скопировал у тех газетных проходимцев, преимущественно из ренегатов марксизма, которые как можно аляповатее и наглее малюют чорта перманентной революции.

Вопрос никогда не шел для нас о том, можно ли Россию «перевести прямо в социализм». Такая постановка вопроса требует совершенно особого устройства головы.

Мы спрашивали о *классовой динамике* русской революции—не «перманентной революции», не «социалистической революции», а той, которая происходит в России.

Этих справок совершенно достаточно для того, чтобы показать, как пишут историю оппортунисты в состоянии революционного похмелья. Но, может быть, еще интереснее вопрос, как они делают историю. О Череванине мы, к сожалению, на этот счет ничего не можем сказать, так как об его роли в событиях революции не имеем ни малейшего представления. Но о взглядах (если не о деятельности) некоторых его единомышленников у нас имеются под руками документальные свидетельства. «Вы спрашиваете,—пишет один из них,—чего мы будем требовать в Учредительном Собрании? Мы отвечаем ясно и категорически: мы будем требовать не «социализации», а социализма, не уравнительного пользования землей, а обобществления всех (курсив подлинника) средств производства». Правда, «вульгарно понимающие марксизм» возражают, что у нас «технически невозможна в близком будущем социалистическая революция». Автор, однако, победоносно разрушает их возражения и заключает: «одна лишь социал-демократия... в настоящее время смело выставляет лозунг—непрерывная революция, она одна приведет массы к последней и решительной победе». Кто это пишет? Видный меньшевик. Правда, от Мартынова мы слышали, что в «октябрьские дни» взгляды Парвуса и Троцкого пользовались мимолетным успехом. Но зато он же рассказывает нам о «предостерегающем голосе меньшевиков, у которых не так скоро (?) вскружилась голова и которые продолжали упорно (упорно!) хранить, подчас наперекор стихии, заветы русской социал-демократии» («Голос Социал-Демократа», № 4—5, стр. 16). Нет спора, такое мужество выше всякой похвалы. Однакоже... однакоже цитированная статья, вульгаризирующая идею перманентной революции, написана все-таки меньшевиком (См. «Начало», №№ 7 и 11, передовые статьи). Может быть, этот меньшевик, подвергшийся такому жестокому припадку революционного головокружения, «не надежный», «не настоящий» меньшевик? О, нет! Эго был Петр меньшевизма, его краеугольный камень. Это был—товарищ Мартынов.

Такова страничка из политической физиологии оппортунизма. Мудрено ли, если люди, до такой степени растерявшие свои предпосылки в самый важный и ответственный момент нашей истории, теперь злобствуют против «безрассудства» нераскаянных и против... безумия самой революции?

## II.

Социал-демократия родилась из революции и идет к революции. Вся ее тактика в эпохи так называемого мирового развития сводится в конце концов к накоплению сил, которые во всем своем объеме реализуются лишь в период открытых революционных столкновений. «Нормальные», «мирные» эпохи—это те, когда господствующие классы навязывают пролетариату свое право и свои формы политического сопротивления (суд, поднадзорные политические собрания, парламентаризм). Революционные эпохи—это те, когда пролетариат для своего политического возмущения находит те формы, в которых его революционная природа получает наиболее полное выражение (свободные собрания, свободная пресса, всеобщие стачки, восстание...). «Но в революционном угаре (!), когда революционные цели кажутся такими близкими к своему осуществлению, трудно пробить дорогу разумной меньшевистской тактике!..» (Череванин, стр. 209). Социал-демократическая тактика, применению которой мешает «революционный угар». Революционный угар,—какая терминология! И все дело оказывается в том, что «разумная меньшевистская тактика» требовала «временного объединения усилий» с кадетской партией,—а этому спасительному акту мешало безумие революции...!

Когда перечитываешь переписку наших прекрасных классиков, которые зорко стояли на своих сторожевых вышках—один младший, в Берлине, два сильнейших—в центре мирового капитализма, в Лондоне—и напряженно обозревали политический горизонт, отмечая каждое явление, которое могло свидетельствовать о надвигающейся революции; когда перечитываешь эти письма, в которых слышится живое клокотание революционной лавы, ищущей выхода наружу; когда дышишь этой атмосферой нетерпеливого и в то же время неутомимого ожидания революции,—испытываешь ненависть к жестокой исторической диалектике, которая для своих мимолетных целей приобщает к марксизму теоретически и психологически бездарных резонеров, противопоставляющих свой тактический «разум»—революционному угару!

«... инстинкт масс в революциях,—писал в 1859 г. Лассаль Марксу,—обыкновенно гораздо вернее, чем благоразумие интел-

лигентов... Именно недостаток в образовании, присущий массам, предохраняет их от подводных камней благоразумного образа действий... Революцию, — продолжает Лассаль,—в конце концов можно делать только при помощи масс и их страстного самопожертвования. Но массы, именно вследствие того, что они «серы», вследствие их недостатка в образовании, совсем не понимают поссибилизма, и — так как всякий неразвитой ум признает только крайности, знает лишь да и нет и никакой середины между ними — они интересуются только крайностями, цельным, непосредственным. Это должно в конце концов привести к тому, что такие (благоразумно-умные) учетчики революции, вместо того, чтобы не иметь перед собой своих обманутых врагов и иметь за собой своих друзей, в конце концов, наоборот, имеют врагов перед собою и не имеют вовсе приверженцев своих принципов. Таким образом кажущийся высший рассудок на деле оказывается высшим неразумием».

Лассаль с полным правом противопоставляет революционный инстинкт необразованных масс «благоразумно-умной» тактике учетчиков революции. Но сырой инстинкт для него, разумеется, не последний критерий. Есть высший: это—«законченное познание законов истории и движения народов». «Только реалистическая мудрость, — заключает он,—может естественно превзойти реалистическое благоразумие и подняться над ним». Реалистическая мудрость, которая у Лассаля еще покрыта пленкой идеализма, у Маркса выступает, как материалистическая диалектика. Вся ее сила состоит в том, что она не противопоставляет своей «разумной тактики» реальному движению масс, а только оформляет, очищает и обобщает это последнее. И именно потому, что революция срывает покровы мистики с основных социальных граней и сталкивает классы с классами на широкой государственной арене, политик-марксист чувствует себя в революции, как в родной стихии. Что же это за «разумная меньшевистская тактика», которая не может быть осуществлена, или—что еще хуже—которая сама видит причину своей неудачи в «революционном угаре» и сознательно дожидается, пока он пройдет, то-есть пока истощится или будет механически подавлена революционная энергия масс?

## III.

Плеханов первый имел печальное мужество взглянуть на события революции, как на ряд ошибок. Он дал нам поразительный по яркости пример того, как можно в течение двадцати лет неутомимо защищать материалистическую диалектику против всяких форм резонерского догматизма и рационалистического утопизма, чтобы затем в реальной революционной политике оказаться догматиком-утопистом чистейшей воды. Во всех его писаниях эпохи революции тщетно будете искать самого главного: имманентной механики классовых отношений, внутренней логики революционного развития масс; взамен этого Плеханов дает бесконечный ряд вариаций на тему пустопорожнего силлогизма, в котором большой посылкой служит: наша революция буржуазна, а вывод гласит: по отношению к кадетам нужен такт. Ни теоретического анализа, ни революционной политики, а назойливые резонерские примечания на полях великой книги событий. Высшим завоеванием этой критики является педагогическая мораль: если бы русские социал-демократы были марксистами, а не метафизиками, то наша тактика в конце 1905 г. была бы совсем другой. И, удивительнейшим образом, Плеханов совершенно не задает себе вопроса, как это могло случиться, что он в течение четверти века проповедывал чистейший марксизм—и способствовал лишь созданию партии революционных «метафизиков»; и—что еще важнее—как этим «метафизикам» удалось увлечь на ложный путь рабочие массы и поставить «истинных» марксистов в положение одиноких резонеров? Одно из двух: либо Плеханов не владеет тайной перехода от марксизма, как доктрины, к революционному действию, либо «метафизики» имеют в условиях революции какие-то неоспоримые преимущества пред «истинными» марксистами. Но в таком случае дело нисколько не улучшилось бы, если бы все русские социал-демократы проводили тактику Плеханова: они были бы все равно оттерты «метафизиками» немарксистского происхождения. Плеханов осторожно обходит эту фатальную дилемму. Но Череванин, этот честный Санхо-Пансо плехановского резонерства, берет быка за рога — или, чтобы держаться ближе к Сервантесу, берет осла за уши — и мужественно провозглашает: в условиях революционного угара для истинной марксистской тактики нет места!

Череванин вынужден был притти к тому выводу, так как он поставил пред собою задачу, которой его учитель тщательно избегал: дать общую картину хода революции и роли в ней пролетариата. В то время, как Плеханов благоразумно ограничивался партизанской критикой отдельных шагов и отдельных заявлений, совершенно игнорируя внутреннее развитие событий, Череванин спросил себя: как выглядела бы история, если бы она развивалась по маршруту «истинной меньшевистской тактики»? Он ответил на это брошюрой «Пролетариат в революции» (Москва, 1907), которая является редким документом мужества, на которое способна ограниченность. Но когда он исправил все ошибки и расставил в «меньшевистском» порядке все события, так что в своей последовательности они вели революцию к победе, он спросил себя: но почему же все-таки история свихнулась на ложную дорогу? И он ответил на это книжкой: «Современное положение и возможное будущее»,—опять-таки ценным свидетельством того, что неутомимое мужество ограниченности способно бывает даже приоткрыть истину—хотя и не всегда—с головной части.

«Поражение революции настолько глубоко,—говорит Череванин,—что свести причины этого к каким-нибудь ошибкам пролетариата было бы совершенно невозможно. Дело тут, очевидно, не в ошибках,—соображает он,—а в каких-то более глубоких причинах» (стр. 174). Роковую роль в судьбе революции сыграло возвращение крупной буржуазии к союзу с царизмом и дворянством. В процессе объединения этих сил в одно контр-революционное целое «крупную, определяющую роль играл пролетариат. И, оглядываясь назад, можно теперь сказать, что это была его неизбежная роль» (стр. 175, курсив везде мой). В первой брошюре он вслед за Плехановым все злоключения выводил из бланкизма социал-демократии. Теперь его честная ограниченность возмутилась против этого, и он говорит: «Представим себе, что пролетариат все время находился (бы) под руководством настоящих меньшевиков и поступал (бы) по-меньшевистски [1]). Тактика пролетариата тогда

[1]) Заметьте, пожалуйста, этот образ мысли: не меньшевики выражают классовую борьбу пролетариата; а пролетариат поступает по-меньшевистски. Еще лучше было бы сказать: допустим, что история поступает по-черевански...

улучшилась бы, но его основные стремления не могли бы измениться, и они неизбежно привели бы его к поражению» (176). Другими словами, пролетариат, как класс, не способен был бы наложить на себя меньшевистское самоограничение. Разворачивая свою классовую борьбу, он неизбежно толкал буржуазию в лагерь реакции. Тактические ошибки лишь «усиливали печальную (!) роль пролетариата в революции, но не играли определяющей роли». Таким образом, «печальная роль пролетариата» определялась существом его классовых интересов. Вывод позорный, означающий полнейшую капитуляцию перед всеми обвинениями либерального кретинизма по адресу классовой партии пролетариата. И тем не менее в этом позорном политическом выводе сказывается частица исторической истины: сотрудничество пролетариата и буржуазии оказалось невозможным не вследствие дефектов социал-демократической мысли, а вследствие глубокого расчленения буржуазной «нации». Российский пролетариат при его резко очерченном социальном типе и при его уровне сознательности мог развернуть свою революционную энергию только под знаменем своих собственных интересов. Но радикализм его интересов, даже ближайших, неизбежно толкал буржуазию вправо.

Череванин понял это. Но,—говорит он,—в этом-то и была причина поражения. Хорошо. Но какой отсюда вывод? Что оставалось делать социал-демократии? Попытаться алгебраическими формулами à la Плеханов обмануть буржуазию? Сложить на груди руки, предоставив пролетариат его неизбежному поражению? Или, наоборот, признав тщетность надежд на длительное сотрудничество с буржуазией, построить свою тактику на том, чтобы вскрыть свою классовую силу пролетариата, пробудить глубочайшие социальные интересы крестьянских масс, апеллировать к пролетарской и крестьянской армии—и на этом пути искать победы? Возможна ли была победа или нет, этого, во-первых, нельзя было заранее предсказать; а во-вторых, независимо от большей или меньшей вероятности победы, это был во всяком случае единственный путь, на который могла вступить партия революции, если она не предпочитала немедленное самоубийство одной возможности поражения.

Та внутренняя логика революции, которую Череванин начинает нащупывать только теперь, «оглядываясь назад», была

еще до начала решительных революционных событий ясна тем, которых он обвиняет в «безрассудстве».

«Ожидать т е п е р ь,—писали мы в июле 1905 года,—инициативы и решительности от буржуазии можно еще меньше, чем в 1848 г. С одной стороны, препятствия гораздо более колоссальны, с другой стороны, социальное и политическое расчленение нации зашло неизмеримо дальше. Молчаливый заговор буржуазии, национальной и мировой, ставит страшные препятствия суровому процессу раскрепощения, стремясь не дать ему зайти дальше соглашения имущих классов с представителями старого порядка—для подавления народных масс. Действительно, демократическая тактика может при таких условиях быть развита только в борьбе с либеральной буржуазией. В этом себе нужно отдать вполне ясный отчет. Не фиктивное «единство» нации против ее врагов (царизма), но глубокое развитие классовой борьбы внутри нации,—таков путь... Бесспорно, классовая борьба пролетариата может толкнуть вперед и буржуазию, но это может сделать т о л ь к о классовая борьба. И, с другой стороны, бесспорно, что пролетариат, преодолевший своим давлением косность буржуазии, все же столкнется с ней в известный момент, при самом планомерном развязывании событий, как с непосредственным препятствием. Класс, который сможет победить это препятствие, должен будет это сделать, и тем самым должен будет взять на себя роль гегемона,—если вообще стране суждено радикальное демократическое возрождение. При таких условиях мы имеем господство «четвертого сословия». Само собою разумеется, что пролетариат выполняет свою миссию, опираясь, как в свое время буржуазия, на крестьянство и на мещанство. Он руководит деревней, вовлекает ее в движение, заинтересовывает ее в успехе своих планов. Но вождем остается неизбежно он сам. Это — не «диктатура крестьянства и пролетариата», это—диктатура пролетариата, опирающегося на крестьянство. Его работа не ограничится, конечно, рамками государства. Логикой своего положения он будет немедленно выброшен на международную арену» [1]).

[1]) Предисловие к «Речи пред судом присяжных» Лассаля. Изд. «Молот». Некоторая умышленная неопределенность выражений объясняется тем, что статья писалась для легального издания «до-конституционной» эры, именно в июле 1905 г.

## IV.

Во всех своих разногласиях различные течения партии сходились в том, что рассчитывали на полную победу, т.-е. на завоевание революцией государственной власти. Череванин прикидывает теперь на счетах силы революции и силы реакции и, подведя итог, приходит к выводу, что «всякие успехи революции должны были содержать в зародыше неизбежное грядущее поражение» (стр. 198). Что служит ему материалом для его вычислений? Распространенность стачек, характер и формы крестьянских волнений, цифры выборов в три Думы. Таким образом ход и исход борьбы он выводит не из экономических отношений непосредственно, а из форм и эпизодов революционной борьбы. Не экономическая характеристика и не статистика классов привели его к выводу о предопределенной безнадежности русской революции, а исследование живой борьбы этих классов, их столкновений, открытого соразмерения их сил. Конечно, «исследование» Череванина безграмотно. Но даже для того, чтобы Череванин мог приступить к своему безграмотному исследованию, необходимо было, чтобы стачка охватила страну, чтобы вспыхнуло восстание, чтобы мужик разгромил несколько губерний, наконец, чтобы были произведены выборы в Государственную Думу. Да и как иначе? Никакой, к примеру, персидский Череванин не мог предсказать своим соотечественникам той фатальной роли, какую будет иметь для революции в Персии союз окрепшего царизма с либеральным правительством Англии. И если б такой прорицатель даже нашелся и попытался на основании своих расчетов удержать народные массы от ряда восстаний, приведших их в конце концов к поражению, персидские революционеры хорошо поступили бы, если бы посоветовали мудрецу поселиться на время в сумасшедшем доме.

Революция в России развернулась, прежде чем Череванин подсчитал ее дебет и кредит. Революция была для нас готовой ареной, на которой нам приходилось действовать. Событий мы не создавали, но мы должны были к ним приспособлять свою тактику. Раз мы участвовали в борьбе, значит мы должны были рассчитывать на победу. Но революция есть борьба за государственную власть. Как партия революции, мы имеем пред собой задачу: вскрывать пред массами необходимость завоевания государственной власти.

## V

Точка зрения «меньшевиков» на русскую революцию в целом никогда не отличалась ясностью. Вместе с большевиками они говорили о «доведении революции до конца», при чем обе стороны понимали это чисто формалистически, в смысле осуществления нашей «программы-minimum», после чего должна открыться эпоха «нормальной» капиталистической эксплоатации в демократической обстановке. «Доведение революции до конца» предполагало, однако, низвержение царизма и переход государственной власти в руки революционной общественной силы. Какой? Меньшевики отвечали: буржуазной демократии. Большевики отвечали: пролетариата и крестьянства.

Но что такое «буржуазная демократия» меньшевиков? Это не наименование определенной реально-существующей и осязаемой социальной силы, это—созданная журналистами, путем дедукции и аналогии, внеисторическая категория. Так как революция должна быть доведена «до конца», так как это—буржуазная революция, так как во Франции революцию доводили до конца демократические революционеры—якобинцы, следовательно, русская революция может передать власть только в руки революционно-буржуазной демократии.

Установив незыблемо алгебраическую формулу революции, они потом стараются подобрать для нее такие арифметические значения, которых не существует в природе. Упрекая других в преувеличении сил пролетариата, сами они возлагали безграничные надежды на «Союз союзов» и на кадетскую партию... Мартов с великими надеждами приветствовал группу «народных социалистов», а Мартынов ловил за ноги курских народных учителей. Меньшевики понимали, что в капиталистической стране, в которой богатства, население, энергия, знания, общественная жизнь и политический опыт все более сосредоточиваются в городах,— крестьянство неспособно играть руководящую революционную роль. История не может вверить мужику задачу раскрепощения буржуазной нации. Вследствие своей разбросанности, политической отсталости и в особенности вследствие расчленяющих крестьянство глубоких внутренних противоречий, из которых нет выхода в рамках капиталистического строя, крестьянство способно только нанести старому порядку несколько сильных уда-

ров с тыла: с одной стороны—стихийными восстаниями деревни, вызывающими замешательство и панику, с другой—внесением недовольства в армию. Но в капиталистических городах, в очагах новой истории, должна существовать решительная партия, опирающаяся на городские революционные массы и способная использовать крестьянские восстания и недовольство войск для того, чтобы беспощадным ударом вытеснить врага со всех позиций и захватить государственную власть. Такой партии меньшевики не могли найти. Вот почему их абстрактное «довести революцию до конца» превратилось на практике в поддержку кадетов quand même, а наиболее последовательные из них, как мы уже видели, пришли к заключению, что климат революции вообще чересчур резок для экзотической тактики меньшевизма.

Противоречия меньшевизма являются карикатурным отражением противоречий самой истории, которая поставила страну перед громадной революционной задачей, удалив предварительно по всему миру железной метлой крупной промышленности буржуазную демократию, как экономическую и политическую силу.

В противовес «народникам» марксисты так долго не признавали нашей «самобытности», что дошли до принципиального отожествления экономического и политического развития России и Европы. От этого только шаг до самых нелепых заключений.

Когда Дан, по примеру Мартынова, жалуется, что слабость городской буржуазной демократии является «нашим величайшим несчастьем», мы можем только сочувственно пожать плечами. Понимают ли на самом деле эти люди, о чем они горюют? Постараемся им это пояснить: их огорчает то, что полем международного хозяйства завладел крупный капитал; что он не позволил в России сформироваться сильной, ремесленной и торговой мелкой буржуазии; что выдающаяся роль мелкой буржуазии в хозяйстве и политике перешла к современному пролетариату. Меньшевики не понимают, что социальные причины слабости буржуазной демократии являются в то же время источником силы и влияния социал-демократии. Они считают, наоборот, что это основная причина слабости революции. Мы уж не говорим, насколько жалка эта мысль под углом зрения интернациональной социал-демократии, как партии мирового социалистического переворота.

Для нас достаточно того, что условия нашей революции таковы, каковы они суть. Причитаниями третьего сословия не воскресишь. Остается сделать вывод, что только классовая борьба пролетариата, подчиняющая его революционному руководству крестьянские массы, способна «довести революцию до конца».

## VI.

Совершенно верно!—говорят большевики. Для победы в нашей революции необходима совместная борьба пролетариата и крестьянства. Но «коалиция пролетариата и крестьянства, одерживающая победу в буржуазной революции,—говорит Ленин в №2 «Przeglą̨d'a»,—и есть не что иное, как революционно-демократическая диктатура пролетариата и крестьянства». Содержанием ее деятельности явится демократизация экономических и политических отношений в пределах частной собственности на средства производства. Ленин устанавливает принципиальное различие между социалистической диктатурой пролетариата и демократической (т.-е. буржуазно-демократической) диктатурой пролетариата и крестьянства. Эта логическая, чисто формальная операция вполне спасает, как ему кажется, от материального противоречия между низким уровнем производительных сил и господством рабочего класса. Если бы мы думали,—говорит он,—что можем совершить социалистический переворот, мы шли бы навстречу политическому краху. Но раз пролетариат, став вместе с крестьянством у власти, твердо сознает, что его диктатура имеет только «демократический характер», тогда все спасено. Эту мысль Ленин неутомимо повторяет, начиная с 1904 г. Но от этого она не становится правильнее.

Так как социальные условия России не созрели для социалистического переворота, то политическая власть была бы для пролетариата величайшим несчастьем. Так говорят меньшевики. Это было бы верно,—отвечает Ленин,—если б пролетариат не сознавал, что дело идет только о демократической революции. Другими словами, выход из противоречия между классовыми интересами пролетариата и объективными условиями Ленин видит в политическом самоограничении пролетариата, при чем это самоограничение должно явиться в результате теоретического сознания, что переворот, в котором рабочий класс играет руково-

дящую роль, есть переворот буржуазный. Объективное противоречие Ленин переносит в сознание пролетариата и разрешает путем классового аскетизма, имеющего своим корнем не религиозную веру, а «научную» схему. Достаточно лишь ясно представить себе эту конструкцию, чтобы понять ее безнадежно-идеалистический характер.

В другом месте я обстоятельно показал[1]), что уже на второй день «демократической диктатуры» вся эта идиллия quasi - марксистского аскетизма разлетится прахом. Под каким бы теоретическим знаком пролетариат ни стал у власти, он не сможет сейчас же, в первый же день, не столкнуться лицом к лицу с проблемой безработицы. Вряд ли ему в этом деле сильно поможет разъяснение разницы между социалистической и демократической диктатурой. Пролетариат у власти должен будет в той или другой форме (общественные работы и проч.) взять немедленно обеспечение безработных на государственный счет. Это, в свою очередь, немедленно же вызовет могучий подъем экономической борьбы и целую эпопею стачек: все это мы в малом размере видели в конце 1905 г. И капиталисты ответят тем, чем они ответили тогда на требование 8-часового рабочего дня: закрытием фабрик и заводов. Они повесят на воротах большие замки и при этом скажут себе: «Нашей собственности не грозит опасность, так как установлено, что пролетариат сейчас занят не социалистической, а демократической диктатурой». Что сможет делать рабочее правительство пред лицом закрытых фабрик и заводов? Оно должно будет открыть их и возобновить производство за государственный счет. Но ведь это же путь к социализму? Конечно! Какой, однако, другой путь вы сможете предложить?

Могут возразить: вы рисуете картину неограниченной диктатуры рабочих. Но ведь речь идет о коалиционной диктатуре пролетариата и крестьянства.—Хорошо. Учтем и это возражение. Мы только что видели, как пролетариат, вопреки лучшим намерениям своих теоретиков, стер на практике логическую черту, которая должна была ограничивать его демократическую диктатуру. Теперь политическое самоограничение пролетариата предлагают дополнить объективной анти-социалистической «гарантией», в виде сотрудника-мужика. Если этим хотят сказать, что стоящая

---

[1]) «Наша революция», стр. 249—259.

у власти, рядом с социал-демократией, крестьянская партия не позволит взять безработных и стачечников на государственный счет и отпереть закрытые капиталистами заводы и фабрики для государственного производства, то это значит, что мы в первый же день, т.-е. еще задолго до выполнения задач «коалиции», будем иметь конфликт пролетариата с революционным правительством. Конфликт этот может закончиться либо усмирением рабочих со стороны крестьянской партии, либо устранением этой последней от власти. И то и другое очень мало похоже на коалиционную «демократическую» диктатуру. Вся беда в том, что большевики классовую борьбу пролетариата доводят только до момента победы революции; после этого она временно растворяется в «демократическом» сотрудничестве. И лишь после окончательного республиканского устроения классовая борьба пролетариата снова выступает в чистом виде—на этот раз в форме непосредственной борьбы за социализм. Если меньшевики, исходя из абстракции: «н а ш а р е в о л ю ц и я б у р ж у а з н а», приходят к идее приспособления всей тактики пролетариата к поведению либеральной буржуазии вплоть до завоевания ею государственной власти, то большевики, исходя из такой же голой абстракции: «д е м о к р а т и ч е с к а я, а н е с о ц и а л и с т и ч е с к а я д и к т а т у р а», приходят к идее буржуазно-демократического самоограничения пролетариата, в руках которого находится государственная власть. Правда, разница между ними в этом вопросе весьма значительна: в то время как анти-революционные стороны меньшевизма сказываются во всей силе уже теперь, анти-революционные черты большевизма грозят огромной опасностью только в случае революционной победы [1]. Конечно, тот факт, что меньшевики, как и большевики, всегда говорят о «самостоятельной» политике пролетариата (первые—по отношению к либеральной буржуазии, вторые—по отношению к крестьянству), ничего не изменяет в том факте, что как те, так и другие—только на разных ступенях развития событий—пугаются последствий классовой борьбы и хотят дисциплинировать ее своими метафизическими конструкциями.

[1]) *Примечание к нынешнему изданию.* Этого, как известно, не случилось, так как, под руководством т. Ленина, большевизм совершил (не без внутренней борьбы) свое идейное перевооружение в этом важнейшем вопросе весною 1917 г., т.-е. до завоевания власти.

## VII.

Победа революции может передать власть только в руки той партии, которая сможет опереться на вооруженный народ городов, т.-е. на пролетарскую милицию. Став у власти, социал-демократия окажется перед глубочайшим противоречием, которого нельзя устранить наивной вывеской «только-демократической диктатуры». «Самоограничение» рабочего правительства означало бы не что иное, как предательство интересов безработных, стачечников, наконец, всего пролетариата во имя осуществления республики. Пред революционной властью будут стоять объективные социалистические задачи, но разрешение их на известном этапе столкнется с хозяйственной отсталостью страны. В рамках национальной революции выхода из этого противоречия нет. Пред рабочим правительством с самого начала встанет задача: соединить свои силы с силами социалистического пролетариата Западной Европы. Только на этом пути его временное революционное господство станет прологом социалистической диктатуры. Перманентная революция станет таким образом для пролетариата России требованием классового самосохранения. Если бы у рабочей партии не оказалось достаточной инициативы для революционно-агрессивной тактики, и она задумала бы перейти на сухоядение только-национальной и только-демократической диктатуры, соединенная реакция Европы не замедлила бы ей разъяснить, что рабочий класс, в руках которого находится государственная власть, должен всю ее обрушить на чашу весов социалистической революции.

# Борьба за власть [1]).

Перед нами программно-тактический листок: «Задача российского пролетариата. Письмо к товарищам в Россию». Под этим документом подписи: П. Аксельрод, Астров, А. Мартынов, Л. Мартов, С. Семковский.

Проблема революции поставлена в «Письме» крайне обще, ясность и определенность анализа исчезают по мере того, как авторы переходят от характеристики положения, созданного войной, к политическим перспективам и тактическим выводам; самые термины становятся расплывчатыми, социальные определения—двусмысленными.

Во внешнем состоянии России господствуют, на первый взгляд, два настроения: во-первых, забота о национальной обороне (от Романова до Плеханова), во-вторых, всеобщее недовольство: от оппозиционно-бюрократической фронды до уличных мятежных вспышек. Эти два господствующие настроения и создают иллюзию о будущей народной революции, которая вырастет из дела национальной обороны. Но этими же настроениями определяется в значительной мере и неопределенность постановки вопроса о «народной революции», даже когда она формально противопоставляется делу «национальной обороны» (как у Мартова и др.).

Сама по себе война, с ее поражениями, не создала ни революционной проблемы, ни революционных сил для ее разрешения. Мы вовсе не начинаем историю со сдачи Варшавы баварскому принцу. И революционные противоречия, и социальные силы—те же, с какими мы впервые столкнулись настоящим образом в 1905 году,—с теми очень значительными изменениями, какие внесло

---

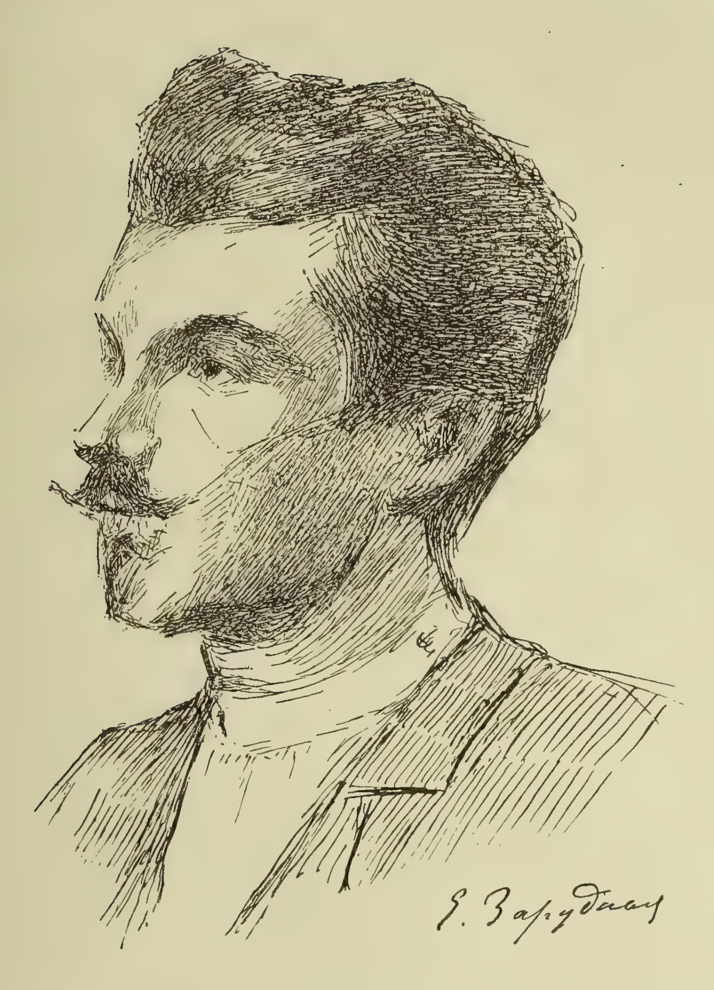
[1]) Из газеты «Наше Слово». Париж, 17 октября 1915 г. Мы перепечатываем эту статью, принадлежащую уже более поздней эпохе, так как она дает сжатую характеристику условий перехода от первой революции (1905 г.) ко второй (1917 г.).

последовавшее десятилетие. Война только с механической наглядностью обнаружила объективную несостоятельность режима. Вместе с тем она внесла в общественное сознание сумятицу, в которой «все» кажутся зараженными стремлением дать отпор Гинденбургу и в то же время ненавистью к режиму 3-го июня. Но как организация «народной войны» натыкается на первых же шагах своих на царскую полицию, при чем обнаруживается, что Россия 3-го июня есть факт, а «народная война»—фикция, так самый приступ «к народной революции» наталкивается у самого порога на социалистическую полицию Плеханова, которого можно было бы, правда, со всей его свитой, счесть фикцией, если бы за ним не стояли Керенский, Милюков и Гучков, вообще нереволюционная и антиреволюционная национал-демократия и национал-либерализм.

«Письмо» не может, разумеется, игнорировать классовое расчленение нации, которая должна посредством революции спасать себя от последствий войны и нынешнего режима. «Националисты и октябристы, прогрессисты, кадеты, промышленники и даже часть(!) радикальной интеллигенции, крича в один голос о неспособности бюрократии защищать страну, требуют мобилизации общественных сил для дела обороны»... Письмо совершенно правильно делает вывод об антиреволюционном характере этой позиции, которая предполагает «объединение на деле обороны государства с нынешними правителями России—ее бюрократами, дворянами и генералами». Антиреволюционная позиция, по правильному опять-таки указанию письма, характеризует «буржуазных патриотов всех оттенков», как и социал-патриотов, прибавим от себя, о которых письмо не говорит ни одного слова.

Отсюда приходится сделать вывод, что социал-демократия является не просто наиболее последовательной партией революции, а единственной революционной партией в стране; что рядом с ней стоят не просто менее решительные в применении революционных методов группировки, а партии нереволюционные. Другими словами, что социал-демократия, со своей революционной постановкой задач, совершенно изолирована на открытой политической арене, несмотря на «всеобщее недовольство». Это первый вывод, в котором нужно отдать себе самый ясный отчет.

Разумеется, партии еще не классы. Между позицией партии и интересами социального слоя, на который она опирается, мо-



ЛУКАНИН,

ОДИН ИЗ ДЕПУТАТОВ ПЕТЕРБУРГСКОГО СОВЕТА
И УЧАСТНИК ПРОЦЕССА.

жет быть несоответствие, и оно может развернуться позже в глубокое противоречие. Поведение самих партий может изменяться под влиянием настроения народных масс. Это бесспорно. Но в таком случае нам тем более нужно, в наших расчетах, апеллировать от менее устойчивых и надежных элементов, как лозунги и тактические шаги партий, к более устойчивым историческим факторам: к социальному строению нации, соотношению классовых сил, тенденциям развития.

Между тем авторы «Письма» совершенно обходят эти вопросы. Что такое «народная революция» в России 1915 г., об этом они нам говорят только, что ее «должны» совершить пролетариат и демократия. Что такое пролетариат, мы знаем. Но что такое «демократия»? Политическая партия? Из предшествующего видно, что нет. Тогда народные массы? Какие? Очевидно, мелкая промышленная и торговая буржуазия, интеллигенция, крестьянство,—речь может итти только о них.

В ряде статей «Военный кризис и политические перспективы» мы дали общую оценку возможного революционного значения этих социальных сил. Исходя из опыта прошлой революции, мы расследовали, какие поправки в соотношении сил 1905 года внесло последнее десятилетие: за демократию (буржуазную) или *против* нее? Это центральный исторический вопрос при обсуждении перспектив революции и тактики пролетариата: усилилась ли в России после 1905 года буржуазная демократия или еще более пала? Вокруг вопроса о судьбах буржуазной демократии шли у нас все старые споры, и кто до сих пор не имеет на этот вопрос ответа, тот бродит в потемках. Мы дали ответ на этот вопрос: *национальная буржуазная революция в России невозможна за отсутствием подлинно-революционной буржуазной демократии*. Время национальных революций прошло—по крайней мере, для Европы—так же, как и время национальных войн. Между теми и другими глубокая внутренняя связь. Мы живем в эпоху империализма; это не только система колониальных захватов, но и определенный внутренний режим. Он противопоставляет не буржуазную нацию старому режиму, а пролетариат—буржуазной нации.

Ремесленная и торговая мелкая буржуазия уже в революции 1905 года играла ничтожную роль. За протекшее десятилетие

социальное значение этого слоя бесспорно еще более пало: капитализм расправляется у нас с промежуточными классами несравненно более жестоко и радикально, чем в странах старой экономической культуры.

Интеллигенция, несомненно, численно возросла. Возросла также и ее хозяйственная роль. Но вместе с тем окончательно исчезла и былая призрачная «независимость» ее: социальное значение интеллигенции целиком определяется ее ролью в организации капиталистического хозяйства и буржуазного общественного мнения. Материальная связь с капитализмом пропитала ее насквозь империалистическими тенденциями. Как мы уже слышали, письмо говорит: «даже часть радикальной интеллигенции... требует мобилизации общественных сил для дела обороны». Это совершенно неверно. Не часть радикальной интеллигенции, а вся радикальная интеллигенция. Следовало бы сказать: не только вся радикальная, но даже значительная, если не значительнейшая часть социалистической интеллигенции. Прикрашивая характер интеллигенции, мы вряд ли увеличим кадры «демократии».

Итак, промышленная и торговая буржуазия пала еще больше, интеллигенция покинула революционные позиции. О городской демократии, как о революционном факторе, говорить не приходится. Остается крестьянство. Но, насколько мы знаем, ни Аксельрод, ни Мартов никогда не питали преувеличенных надежд на его самостоятельную революционную роль. Пришли ли они к выводу, что за протекшее десятилетие непрерывной дифференциации в среде крестьянства эта роль возросла? Такое предположение шло бы явно наперекор и теоретическим соображениям, и всему историческому опыту.

Но тогда о какой же «демократии» говорит письмо? И в каком смысле—о народной революции?

Лозунг Учредительного Собрания предполагает революционную ситуацию. Есть ли она? Есть. Но только она меньше всего определяется тем, будто в России народилась, наконец, буржуазная демократия, которая теперь готова и способна свести счеты с царизмом. Наоборот, если нынешняя война что вскрыла с полной очевидностью, так, именно, отсутствие революционной демократии в стране.

Попытка третье-июньской России разрешить внутреннюю революционную проблему на пути империализма потерпела очевидный крах. Это не значит, что ответственные или полуответственные третье-июньские партии станут на путь революции. Но это значит, что обнаженная военной катастрофой революционная проблема, которая и в дальнейшем будет гнать правящих на путь империализма, удваивает сейчас значение единственного революционного класса в стране.

Третье-июньский блок расшатан. Внутри его трения и борьба. Это не значит, что октябристы и кадеты поставят перед собой революционную проблему власти и пойдут на штурм бюрократии и объединенного дворянства. Но это значит, что сила сопротивления режима революционному натиску на известный период, несомненно, ослабела.

Монархия и бюрократия скомпрометированы. Это не значит, что они сдадут без боя власть. Роспуском Думы и последними министерскими переменами они показали кому надо, что до этого еще очень далеко. Но политика бюрократической неустойчивости, которая еще только будет возрастать, должна чрезвычайно облегчить социал-демократии революционную мобилизацию пролетариата.

Народные низы, городские и сельские, чем дальше, тем больше будут истощены, обмануты, недовольны, ожесточены. Это не значит, что рядом с пролетариатом будет действовать самостоятельная сила революционной демократии. Для нее нет ни социального материала, ни руководящего персонала. Но это, несомненно, значит, что атмосфера глубокого недовольства народных низов должна облегчить революционный натиск рабочего класса. Чем меньше пролетариат будет выжидать появления буржуазной демократии, чем меньше будет он приспособляться к пассивности и ограниченности мелкой буржуазии и крестьянства, чем решительнее и непримиримее будет его борьба, чем очевиднее будет для всех его готовность итти «до конца», то-есть до завоевания власти, тем больше у него будет шансов увлечь за собой в решительную минуту и непролетарские народные массы. Одними лозунгами, как конфискация земли и проч., тут, конечно, ничего не сделаешь. Это в еще большей степени относится и к армии, с которой стоит и падает государственная власть. Армия тогда только в массе своей склоняется на сторону революционного клас-

са, когда убеждается, что он не просто будирует и демонстрирует, а борется за власть и имеет шансы захватить ее.

Есть в стране объективная революционная проблема,— проблема государственной власти,—остро вскрытая войной и поражениями. Есть прогрессирующая дезорганизованность правящих. Есть возрастающее недовольство городских и сельских масс. Но революционным фактором, который может использовать эту ситуацию, является только пролетариат,—сейчас в несравненно большей степени, чем в 1905 году.

«Письмо» в одной фразе как бы подходит к этому центральному узлу всей проблемы. Оно говорит, что русские рабочие-социал-демократы должны встать «во главе всенародной борьбы за свержение третье-июньской монархии». Что может означать «всенародная» борьба, мы только что сказали. Но если в приведенной фразе слова «во главе» надлежит понимать не просто в том смысле, что передовые рабочие должны великодушнее всех проливать свою кровь, не отдавая себе ясного отчета в том, что собственно из этого выйдет, а в том смысле, что они должны взять на себя *политическое руководство* всей борьбой, которая будет прежде всего борьбой самого пролетариата, то ясно, что *победа в этой борьбе должна передать власть тому, кто руководил борьбой, то-есть социал-демократическому пролетариату.*

Вопрос идет, стало-быть, не просто о «временном революционном правительстве» (пустая форма, которую историческому процессу предоставляется заполнить неизвестно каким содержанием), а *о революционном рабочем правительстве*, о завоевании власти российским пролетариатом.

Всенародное Учредительное Собрание, республика, 8-часовой рабочий день, конфискация помещичьих земель,—все это лозунги, которые будут на-ряду с лозунгами немедленного прекращения войны, права наций на самоопределение и Соединенных Штатов Европы играть огромную роль в агитационной работе социал-демократии. Но революция есть прежде всего проблема власти—не государственной *формы* (Учредительное Собрание, республика, Соединенные Штаты), а *социального содержания* власти. Лозунг Учредительного Собрания или конфискации помещичьих земель совершенно лишается, в налич-

ных условиях, непосредственного революционного значения без прямой готовности пролетариата бороться за завоевание власти. Ибо, если пролетариат не вырвет власти у монархии, то не вырвет никто.

Каким темпом пойдет революционный процесс,—вопрос особый. Это зависит от ряда факторов, военного и политического, национального и международного порядка. Эти факторы могут замедлить развитие или ускорить его, обеспечить революционную победу или снова привести к поражению. Но во всех этих условиях пролетариат должен видеть ясно свой путь и сознательно итти по нему. Прежде всего он должен быть свободен от иллюзий. А худшей иллюзией для пролетариата во всей его истории до сих пор неизменно оказывалась надежда на других.

# Об особенностях исторического развития России.

(Ответ М. Н. Покровскому.)

## I.

В № 3 «Красной Нови» (май — июнь 1922 г.) т. Покровский напечатал посвященную моей книге «1905» статью, которая является свидетельством—увы, отрицательным!—того, каким сложным делом является применение методов исторического материализма к живой человеческой истории и к каким шаблонам сводят нередко историю даже такие глубоко-осведомленные люди, как т. Покровский.

Недоумения, вызываемые статьей т. Покровского, начинаются с заглавия. Не угодно ли: «Правда ли, что в России абсолютизм «существовал напереко робщественному развитию»?». Слова: «существовал наперекор общественному развитию» напечатаны т. Покровским в кавычках. Выходит, будто я утверждаю, что абсолютизм вообще «существовал наперекор общественному развитию», а т. Покровскому предоставляю благодарнейшую и не очень трудную задачу восстановить здравый смысл в правах состояния. В действительности же моя мысль, давшая повод к этому злоупотреблению цитатой, такова, что царизм, придя в полное противоречие с потребностями общественного развития, продолжал существовать благодаря могуществу своей организации, политическому ничтожеству русской буржуазии и ее возраставшему страху перед пролетариатом. В духе и смысле той же исторической диалектики можно с полным правом сказать,—и мы это сказали в Манифесте Коммунистического Интернационала,—что капитализм существует сейчас наперекор не только требованиям исторического развития, но и элементарным потребностям человеческого существования.

Далее, признавая полезным издание моей книги в целом, т. Покровский решительно возражает против перепечатания мною

вступительной главы «Социальное развитие России и царизм». То, что было полезно и даже необходимо,—говорит он,—в 1908—1909 г.г. заграничной публике, с ее безграничным невежеством в русском прошлом,—совсем не нужно теперешней молодежи, кое-чему уже научившейся». Дальше, однако, т. Покровский доказывает, что в моей вступительной главе развиваются либеральные, милюковские (буквально!) взгляды на царизм, как на абсолютно самодовлеющую, не связанную с эксплоататорскими классами государственную организацию. «Схема эта (Троцкого), во-первых, не наша, а, во-вторых, объективно неверна». И бороться с этой неверной и «не нашей» схемой нужно «не менее энергично, нежели мы боремся теперь с религиозными предрассудками» (!!!). Не угодно ли? Но если я и впрямь излагал в своей немецкой книге столь чудовищные антимарксистские воззрения,—кстати сказать, не замеченные ни одним из немецких марксистских критиков книги,—то каким образом изложение этих воззрений могло быть «полезным» и даже «необходимым» в 1908—1909 г.г. заграничной публике, хотя бы и «безгранично невежественной»? Почему либеральные пошлости, столь благожелательно приписываемые мне т. Покровским, могли быть полезны немецким рабочим 12 лет тому назад—этого понять совершенно нельзя, если не держаться формулы отечественной самобытности: «что русскому здорово, то немцу смерть». Но даже и я, грешный, признающий величайшие особенности нашего исторического развития, этой последней формулы признать не могу. Тем более т. Покровский, который, как явствует из его статьи, считает, что никаких таких исторических особенностей у русского по сравнению с немцем нет.

Т. Покровский еще усугубляет путаницу, когда изображает дело так, что моя ложная теория «в прошлом уже имеет за собою одно имя—Плеханова, который попал на ту же дорогу (и затем пошел гораздо дальше)...» (стр. 146). Не угодно ли? Хотя тут точно не указано, куда именно я пошел, но так как «Плеханов пошел гораздо дальше» (по пути либерализма), то читатель достаточно подготовлен к уже знакомому нам выводу, что с моим взглядом на русскую историю необходимо бороться «не менее энергично, нежели мы боремся теперь с религиозными предрассудками». Ох, страшен сон! Но именно сон, ибо здесь мы прямо-таки вошли в область теоретических и даже хронологических сновидений. Выходит так, что сперва Плеханов усвоил себе либе-

ральную теорию исторического развития (для блока с кадетами); что я, вслед за ним, сию либеральную теорию развил в 1908—1909 г.г. для немцев; но что тут вреда еще не было, а была даже польза (так ему, немцу, и надо!); но так как я теперь плехановские взгляды стал предподносить рабочей молодежи, о коей т. Покровский имеет особое попечение, то он поставил меня немедленно почти что на одну линию с патриархом Тихоном и объявил мне «не менее» энергичную борьбу.

Все сие есть путаница, прежде всего хронологическая. Вступительная глава об особенностях исторического развития написана вовсе не для немцев и появилась впервые на русском языке в моей книге «Наша революция», вышедшей в 1907 г. в Петербурге (см. 224 стр.). Подготовительные работы для этой главы делались мною в течение 1905 и затем в течение 1906 г. (в тюрьме). Вызвана она была непосредственно стремлением исторически обосновать и теоретически оправдать лозунг завоевания власти пролетариатом, противопоставленный как лозунгу буржуазно-демократической республики, так и лозунгу демократического правительства пролетариата и крестьянства. Как видим, плехановское кадетолюбие тут не при чем. Мое предисловие к «Парижской Коммуне» Маркса (1906 г.) формулировало тот взгляд, что опыт Коммуны имеет для русского рабочего класса непосредственное значение, ибо все предшествовавшее развитие поставило перед ним задачу завоевания власти [1]). Этот ход мыслей вызвал величайшее теорети-

[1]) «Социал-демократия,—говорит это «Предисловие»,—должна и хочет быть сознательным выражением объективного развития. Но раз объективное развитие классовой борьбы выдвигает пред пролетариатом (русским) в известный момент революции альтернативу: взять на себя права и обязанности государственной власти или сдать свою классовую позицию, социал-демократия ставит завоевание государственной власти своей очередной задачей. Она при этом нимало не игнорирует объективных процессов развития более глубокого порядка, процессов роста и концентрации производства, но она говорит: раз логика классовой борьбы, опирающаяся, в последнем счете, на ход экономического развития, толкает пролетариат к диктатуре, прежде, чем буржуазия «исчерпала» свою экономическую миссию (к политической она почти не приступала), то это значит лишь, что история взваливает на пролетариат колоссальные по своей трудности задачи. Может быть, пролетариат даже изнеможет в борьбе и падет под их тяжестью,—может быть. Но он не может отказываться от этих задач под страхом классового разложения и погружения всей страны в варварство» («Парижская Коммуна». Карл Маркс. 1906. Предисловие, стр. X—XI).

ческое возмущение со стороны немалого числа товарищей, вернее сказать, подавляющего их большинства. Выразителями этого возмущения явились не только меньшевики, но и т.т. Каменев и Рожков (тогда большевик). Их точка зрения в общем и целом была такова: политическое господство буржуазии должно предшествовать политическому господству пролетариата; буржуазная демократическая республика должна явиться длительной исторической школой для пролетариата; попытка перепрыгнуть через эту ступень есть авантюризм; если рабочий класс на Западе не завоевал власти, то как же русский пролетариат может ставить себе эту задачу и пр. и пр. С точки зрения того мнимого марксизма, который питается историческими шаблонами, формальными аналогиями, превращает исторические эпохи в логическое чередование несгибаемых социальных категорий (феодализм, капитализм, социализм, самодержавие, буржуазная республика, диктатура пролетариата), с этой точки зрения лозунг завоевания власти рабочим классом в России должен был казаться чудовищным отказом от марксизма. Между тем уже серьезная эмпирическая оценка социальных сил, как они проявили себя в 1903—1905 г.г., властно подсказывала всю жизненность борьбы за завоевание власти рабочим классом. Особенность это или не особенность? Предполагает она глубокие особенности всего исторического развития или не предполагает? Каким образом такая задача встала перед пролетариатом России, то-есть наиболее отсталой (с позволения т. Покровского) страны Европы? И в чем же состоит отсталость России? В том ли, что Россия только с запозданием повторяет историю стран Западной Европы? Но тогда можно ли было говорить о завоевании власти русским пролетариатом? А ведь власть эту (позволяем себе напомнить) он завоевал. В чем же суть? А в том, что несомненная и неоспоримая запоздалость развития России, под влиянием и давлением более высокой культуры Запада, дает в результате не простое повторение западноевропейского исторического процесса, а порождает глубокие особенности, подлежащие самостоятельному изучению. Вот ка-

---

Вот какие выводы вытекали для нас 16 лет тому назад из «особенностей исторического развития» России. А т. Покровский, с запозданием в полтора десятилетия, выражает ныне опасение, что из нашего взгляда вытекает... отказ от классовой борьбы. Не более и не менее!

кова была постановка вопроса. И это наша постановка, хотя т. Покровский и называет ее «не нашей».

Совершенно верно, что несколькими годами позже (1914 г.) Плеханов формулировал такой взгляд на особенности русского исторического развития, который очень приближался к тому, что было сказано на этот счет в названной выше главе книги «Наша революция». Плеханов в этой области совершенно правильно отметает как доктринерски-западническую, так и народнически-славянофильскую схематизацию, сводя «особую стать» России к действительным, материально-обусловленным особенностям ее исторического развития. В корне неправильно, будто отсюда Плеханов делает, или мог с подобием теоретической правоты «делать», соглашательские выводы (в смысле блока с кадетами и пр.). Слабость русской буржуазии и выморочность русской буржуазной демократии представляли собою несомненные и очень важные особенности русского исторического развития. Но отсюда—при прочих данных историей условиях—как раз и вытекала возможность и необходимость завоевания власти пролетариатом. Правда, Плеханов этого вывода не сделал. Но ведь он не сделал вывода и из другого своего безусловно правильного положения: «Русское революционное движение победит как рабочее движение, или не победит вовсе». Если все, что Плеханов сказал против народников и вульгаризаторов марксизма, связать с его кадетофильством и патриотизмом, то от Плеханова вообще ничего не останется. В действительности же от Плеханова осталось многое, и поучиться у него не мешает...

Что в основе исторической жизни каждого общества лежит производство; что из этого производства вырастают классы и их группировки; что на фундаменте классовой борьбы слагается государство; что государство есть орган классового угнетения— эти мысли не составляли в 1905 г. тайны ни для меня, ни для моих оппонентов. В этих пределах история России подчиняется тем же законам, что и история Франции, Англии и любой другой страны. Особенности исторического развития России при этом остаются в стороне. Если царизм являлся орудием имущих, эксплоататорских классов, не отличаясь в этом смысле от всех других государственных организаций, то это вовсе не значит, что соотношение сил между самодержавной властью (монархия, бюрократия, армия и остальные органы принуждения), с одной

стороны, дворянством, буржуазией, с другой, было в России такое же, как во Франции, или в Германии, или в Англии. Глубокое своеобразие нашей политической обстановки, приведшее к победоносной октябрьской революции до начала пролетарской революции в Европе, было заложено в особенностях соотношения сил между разными классами и государственной властью. Когда т. Покровский или Рожков спорили с народниками или либералами, доказывая, что организация и политика царизма определялись хозяйственным развитием и интересами имущих классов, они были в основе правы. Но когда т. Покровский пытается повторить это против меня, он просто попадает не в то место.

Мысль т. Покровского находится в тисках неподвижных социальных категорий, подставляемых на место живых исторических сил. Относительную, то-есть исторически обусловленную и известными социальными пределами ограниченную независимость самодержавия от господствующих классов он подменяет какой-то абсолютной независимостью и тем превращает царизм в простую форму без содержания. И затем, приписав мне такое изображение царизма, он пишет: «Но как это связать с нашим призывом к пролетариату бороться с буржуазией за власть? Как это отнять у буржуазии то, чего она сама не имела?» и т. д. Т. Покровский ставит вопрос так: либо буржуазия имела в с ю власть, либо она ее не имела в о в с е. Если она не имела власти, то как же мы собирались «отнимать» власть у буржуазии? А поелику мы власть у буржуазии отняли, как же мы говорим, что она этой власти не имела? Такая постановка вопроса не исторична, не материалистична, не диалектична. Она и с точки зрения чисто формальной логики не годится. Если бы даже допустить, что буржуазия вовсе еще не имела у нас власти, и тогда пролетариат мог бороться за власть именно для того, чтоб она не досталась буржуазии. Но, конечно, такой формалистической альтернативы вовсе не было. Буржуазия не владела властью целиком, а только приобщалась к власти. Это приобщение было не полное. Ходом событий, то-есть прежде всего военным разгромом и напором низов, щель между самодержавием и буржуазией разверзлась. Монархия в нее свалилась. Буржуазия попыталась встать у власти целиком и непосредственно (март 1917 г.). Но власть вырвал рабочий класс, опираясь на крестьянскую армию (октябрь 1917 г.). Таким образом, результатом нашего з а п о з д а л о г о исторического развития в

условиях империалистического полнокровия Европы явилось то, что наша буржуазия не успела спихнуть царизм до того, как пролетариат превратился в самостоятельную революционную силу.

Но для т. Покровского не существует самого вопроса, который составляет для нас центральную тему исследования. В своей рецензии на книжку Виппера (в том же № «Кр. Нови») т. Покровский пишет: «Изобразить Московскую Русь XVI века на фоне общеевропейских отношений того времени—чрезвычайно заманчивая задача. Ничем лучше нельзя опровергнуть господствующего доселе, даже в марксистских кругах, предрассудка о «примитивности», якобы, той экономической основы, на которой возникло русское самодержавие». И далее: «Показать это самодержавие в его настоящей исторической связи, как один из аспектов торгово-капиталистической Европы...—это задача не только чрезвычайно интересная для историка, но и педагогически чрезвычайно важная для читающей публики; нет более радикального средства покончить с легендой о «своеобразии» русского исторического процесса». Это все камушки в наш огород! Т. Покровский, как видим, начисто отрицает примитивность и отсталость нашего хозяйственного развития и заодно с этим относит своеобразие русского исторического процесса к числу легенд. А все дело в том, что т. Покровский совершенно загипнотизирован подмеченным им, как и Рожковым, сравнительно широким развитием торговли в России XVI века. Трудно понять, как т. Покровский мог впасть в такую ошибку. Можно в самом деле подумать, будто торговля является основой хозяйственной жизни и ее безошибочным масштабом. Немецкий экономист Карл Бюхер лет 20 тому назад попытался в торговле (путь между производителем и потребителем) найти критерий всего хозяйственного развития. Струве, конечно, поспешил перенести это «открытие» в русскую экономическую «науку». Со стороны марксистов теория Бюхера встретила тогда же совершенно естественный отпор. Мы ищем критериев экономического развития в производстве: в технике и в общественной организации труда, а путь, проходимый продуктом от производителя к потребителю, рассматриваем, как явление вторичного порядка, корни которого нужно искать в том же производстве.

Большой, по крайней мере, в пространственном отношении размах русской торговли в XVI столетии—как это ни парадоксально с точки зрения бюхеровско-струвианского критерия—

объясняется именно чрезвычайной примитивностью и отсталостью русского хозяйства. Западно-европейский город был ремесленно-цеховым и торгово-гильдейским. Наши же города были в первую голову административно-военными, следовательно, потребляющими, а не производящими центрами. Ремесленно-цеховой быт Запада сложился на относительно высоком уровне хозяйственного развития, когда все основные процессы обрабатывающей промышленности отделились от земледелия, превратились в самостоятельные ремесла, создали свои организации, свое средоточие, город, свой, на первых порах, ограниченный (областной, районный), но устойчивый рынок. В основе средневекового европейского города лежала таким образом относительно высокая дифференциация хозяйства, породившая правильные взаимоотношения между центром—городом и его сельско-хозяйственной периферией. Наша же хозяйственная отсталость находила свое выражение прежде всего в том, что ремесло, не отделяясь от земледелия, сохраняло форму кустарничества. Тут мы ближе к Индии, чем к Европе, как и средневековые наши города ближе к азиатским, чем к европейским, как и самодержавие наше, стоя между европейским абсолютизмом и азиатской деспотией, многими чертами приближалось к последней.

При безграничности наших пространств и редкости населения (кажись, тоже достаточно объективный признак отсталости?), обмен продуктами предполагал посредническую роль торгового капитала самого широкого размаха. Такой размах был возможен именно потому, что Запад стоял на гораздо более высоком уровне развития, имел свои многосложные потребности, посылал своих купцов и свои товары и тем толкал вперед торговый оборот у нас, на нашей примитивнейшей, в значительной мере варварской хозяйственной основе. Не видеть этой величайшей особенности нашего исторического развития значит не видеть всей нашей истории.

Мой сибирский патрон (я у него заносил в течение двух месяцев в конторскую книгу пуды и аршины), Яков Андреевич Черных— дело это было не в XVI столетии, а в самом начале XX-го—почти неограниченно господствовал в пределах Киренского уезда силой своих торговых операций. Яков Андреевич скупал у тунгусов пушнину, у попов дальних волостей—ругу и привозил с Ирбитьевской и Нижегородской—ситец, а главное поставлял водку (в Иркутской губ. в ту эпоху монополия еще не была введена). Яков

Андреевич грамоты не знал, но был миллионщик (по тогдашнему весу «нулей», а не по нынешнему). Диктатура его, как представителя торгового капитала, была неоспоримой: он даже говорил не иначе, как «мои тунгусишки». Город Киренск, как и Верхоленск, как и Нижне-Илимск были резиденцией исправников и приставов, кулаков в иерархической зависимости друг от друга, всяких чинушей да кое-каких жалких ремесленников. Организованного ремесла, как основы городской хозяйственной жизни, я там не находил; ни цехов, ни цеховых праздников, ни гильдий, хотя и числился Яков Андреевич «2-ой гильдии». Право же, этот живой кусок сибирской действительности гораздо глубже вводит нас в понимание исторических особенностей развития России, чем то, что говорит по этому вопросу т. Покровский. В самом деле. Торговые операции Якова Андреевича простирались от среднего течения Лены и ее восточных притоков до Нижнего-Новгорода и даже Москвы. Немногие торговые фирмы континентальной Европы могут отметить такие дистанции на своей торговой карте. Однакоже этот торговый диктатор, на языке чалдонов «король крестей», являлся наиболее законченным и убедительным воплощением нашей хозяйственной отсталости, варварства, примитивности, редкости населения, разбросанности крестьянских сел и деревень, непроезжих проселочных дорог, которые в весеннюю и осеннюю распутицу создают вокруг уездов, волостей и деревень двухмесячную болотную блокаду, всеобщей безграмотности и пр. и пр. А поднялся Черных до своего торгового значения на основе сибирского (средне-ленского) варварства потому, что давил Запад—«Рассея», «Москва»—и тянул Сибирь на буксире, порождая сочетание хозяйственно-кочевой первобытности с варшавским будильником.

## II.

Цеховое ремесло составляло фундамент средневековой городской культуры, которая излучалась и на деревню. Средневековая наука, схоластика, религиозная реформация выросли из ремесленно-цеховой почвы. У нас этого не было. Конечно, зачатки, симптомы, признаки можно найти и у нас, но, ведь, на Западе это было не признаками, а могущественной хозяйственно-культурной формацией с ремесленно-цеховым фундаментом. На этом стоял средневековый европейский город, на этом он рос и вступал в борьбу с церковью и феодалами и протянул против

феодалов руку монархии. Этот же город создал технические предпосылки для постоянных армий в виде огнестрельного оружия. Можно ли сказать,—уж не противоречит ли это классовой теории государства?—что монархия в Западной Европе становится все более независимой от первых сословий по мере роста городов и развития их антагонизма с феодалами? В последнем счете, конечно, королевская власть продолжает оставаться организацией насилия над трудящимися массами, прежде всего крепостными крестьянами. Но ведь есть же разница между государственной властью, которая сливается с помещиком, и властью, которая отчленяется от него, создает свой собственный бюрократический аппарат, забирает в руки большую силу, т.-е., охраняя интересы эксплоататоров против эксплоатируемых, сама становится (как королевская власть, бюрократия, постоянная армия) самостоятельной—не абсолютно, разумеется, а относительно—силой в ряду других господствующих сил, и притом первой среди них.

Где же были наши ремесленно-цеховые города, хотя в отдаленной мере похожие на города Западной Европы? Где их борьба с феодалами? И разве основу для развития русского самодержавия создала борьба промышленно-торгового города с феодалами? Такой борьбы у нас не было по самому характеру наших городов, как не было у нас и реформации. Особенность это или не особенность? Ремесло наше осталось в стадии кустарничества, т.-е. не отслоилось от крестьянского земледелия. Реформация осталась в стадии крестьянских сект, так как не нашла руководства со стороны городов. Примитивность и отсталость вопиют здесь к небесам, а т. Покровский не хочет их видеть. И царизм поднялся как самостоятельная (опять-таки относительно, в пределах борьбы живых исторических сил на хозяйственной основе) государственная организации не благодаря борьбе могущественных городов с могущественными феодалами, а несмотря на полнейшее промышленное худосочие наших городов, благодаря худосочию наших феодалов.

Польша по своей социальной структуре стояла между Россией и Западом, как Россия—между Азией и Европой. Польские города уже гораздо больше знали цеховое ремесло, чем наши. Но им не удалось подняться настолько, чтобы помочь королевской власти сломить феодалов. Государственная власть оставалась непосредственно в руках дворянства. Результат: полное

бессилие государства и его распад. Если нет «особенностей», тогда вообще нет истории, а есть какая-то мнимо-материалистическая геометрия. Вместо того, чтобы исследовать живую и изменяющуюся материю хозяйственного развития, достаточно уловить отдельные признаки и приравнять их к готовым шаблонам. Такой примитивный способ исследования достаточен в борьбе с народническими или либеральными предрассудками, тем более со славянофильством («у ней во всем иная стать»), но совершенно недостаточен для уяснения действительных путей исторического развития России.

То, что сказано о царизме, относится и к капиталу и к пролетариату: непонятно, почему т. Покровский свой гнев направляет только на первую главу, говорящую о царизме. Русский капитализм не развивался от ремесла через мануфактуру к фабрике, потому что европейский капитал, сперва в форме торгового, а затем в форме финансового и промышленного. навалился на нас в тот период, когда русское ремесло еще не отделилось в массе своей от земледелия. Отсюда—появление у нас новейшей капиталистической промышленности в окружении хозяйственной первобытности: бельгийский или американский завод, а вокруг—проселки, соломенные и деревянные деревни, ежегодно выгорающие, и проч. Самые примитивные начала и последние европейские концы. Отсюда—огромная роль западно-европейского капитала в русском хозяйстве. Отсюда—политическая слабость русской буржуазии. Отсюда—легкость, с какой мы справились с русской буржуазией. Отсюда—дальнейшие затруднения, когда в дело вмешалась европейская буржуазия, вплоть до Генуи и Гааги, где бывшие владельцы заводов и фабрик разговаривали с нами через Ллойд-Джорджа, Барту и других.

А пролетариат наш? Прошел ли он через школу средневековых братств подмастерьев? Есть у него вековые традиции цехов? Ничего подобного. Его бросили в фабричный котел, оторвав непосредственно от сохи. Помню, старый мой приятель, николаевский столяр Коротков, написал (в 1897 г.) «Пролетарский марш», который начинался так: «Мы—альфы и омеги, начала и концы»... Вот именно! Первая и последняя буквы, а средних не хватает. Отсюда—отсутствие консервативных традиций, отсутствие каст в самом пролетариате, революционная свежесть, отсюда, на-ряду с другими причинами, Октябрь, первое в мире рабочее правитель-

ство. Но отсюда же—неграмотность, отсталость, отсутствие организационных навыков, системы в работе, культурного и технического воспитания. Все эти минусы мы в нашем хозяйственно-культурном строительстве чувствуем на каждом шагу.

Европейский коммунизм преодолевает несравненно более консервативную среду—и внешнюю, в государстве, и внутреннюю, в самом пролетариате; но, когда победит, будет располагать несравненно более могущественными объективными и субъективными рессурсами для своего строительства. Что же это, особенность или не особенность? Самая необходимость ставить этот вопрос в лето 1922-ое представляется нам совсем уже... излишней «особенностью», но тоже, несомненно, вытекающей из нашего исторического развития: власть взяли первыми, задачи колоссальные, культурных сил мало, люди разрываются на тысячи частей, подумать-то некогда. Вот и приходится т. Покровскому выдвигать по поводу новых и сложнейших вопросов старые аргументы, которые имели свою ценность в другой связи и в другом логическом плане, но которые превращаются в противоположность марксизму, поскольку им пытаются придать характер абсолютного шаблона.

Я указывал на то, какое огромное влияние на все наше развитие имело то обстоятельство, что сталкиваться нам приходилось по западной границе с государствами более развитыми, лучше организованными и технически лучше вооруженными. Отсталое общество непосредственнее и сильнее всего испытывает влияние более сильных соседей-врагов через посредство военной организации и военной техники. Под этим давлением самодержавие перестраивалось, заводя стрелецкие полки, а затем рейтарскую конницу и солдатскую пехоту. Т. Покровский по этому поводу замечает: «Казалось, тут бы и сказать: не военные, т.-е. не политические интересы легли в основу, а экономические: московское самодержавие отвечало чьим-то классовым интересам». Что здесь означает противопоставление военных и политических интересов экономическим—понять мудрено. Когда экономические интересы защищаются государством, они всегда получают характер политических целей и задач. А когда их приходится защищать не дипломатическими мерами, а оружием, они становятся военными задачами.

Т. Покровский пытается доказать, что господствующими в политике самодержавия интересами XVI столетия были интересы торгового капитала. Изображение т. Покровским этого вопроса имеет, по-моему, карикатурный характер. Но к этому более узкому и более специальному вопросу мы надеемся вернуться в другой раз. Здесь скажем только, что, конструируя торгово-капиталистическую Россию в XVI столетии, т. Покровский впадает в ошибку немецкого профессора Эдуарда Мейера, который открыл капитализм в античном обществе. Мейер, несомненно, верно подметил схематическую упрощенность господствовавших ранее воззрений (Родбертуса и др.) на хозяйственную структуру Греции и Рима, как на ряд самодовлеющих натурально-хозяйственных ячеек (ойкос). Э. Мейер показал, что эти основные ячейки были связаны довольно развитым товарным оборотом, как друг с другом, так и с чужими странами. На-ряду с этим наблюдалось в некоторых областях и отраслях массовое производство. Пользуясь экономическими отношениями и понятиями современности, Э. Мейер конструировал ретроспективно греко-римский капитализм. Ошибка его состояла в том, что он не оценил количественного, а тем самым—и качественного соотношения разных элементов хозяйства: ойкосного, простого товарного и капиталистического. Такова же, повторяем, в основе своей и ошибка т. Покровского. Но суть вопроса для нас сейчас не в этом. Допустим, что интересы торгового капитала были действительно господствующими в политике самодержавия XVI в. и что само самодержавие означало «диктатуру торгового капитала». Но за торговые цели, которые, конечно, отвечали экономическим интересам определенных классов, самодержавие боролось и в Персии, и в Турции, и в Прибалтике, и в Польше, и в сношениях с более отдаленными западными странами. Эта борьба принимала характер военных столкновений. Совершенно неважно при этом, кто нападал и кто оборонялся (вопрос, который совершенно напрасно припутывает т. Покровский, приписывая мне ту мысль, будто самодержавие только «обороняло» Россию от чужих нападений). И вот, в этих *военных* столкновениях, которые, конечно, означали осуществление *политических* задач, вытекающих из *экономических* интересов, русское государство сталкивалось с военными организациями западных наций, стоявших на более высокой экономической, политической и культурной основе. Так русский капитал

на первых своих шагах столкнулся с гораздо более развитым и могущественным капиталом Запада и подпал под его руководство. Так и русский рабочий класс на первых же своих шагах нашел уже готовые орудия, выработанные опытом западно-европейского пролетариата: марксистскую теорию, профессиональный союз, политическую партию. Кто природу и политику самодержавия объясняет только интересами русских имущих классов, тот забывает, что, кроме более отсталых, более бедных, более невежественных эксплоататоров России, были более богатые, более могущественные эксплоататоры Европы. Имущим классам России приходилось сталкиваться с имущими классами Европы, враждебными или полувраждебными. Эти столкновения совершались через посредство государственной организации. Такой организацией было самодержавие. Вся структура и вся история самодержавия были бы иные, если бы не было европейских городов, европейского пороха (ибо не мы его выдумали), если бы не было европейской биржи. В последнюю эпоху своего существования самодержавие было не только органом имущих классов России, но и организации европейской биржи для эксплоатации России. Эта двойная роль опять-таки придавала ему очень значительную самостоятельность. Ярким выражением ее явился тот факт, что французская биржа для поддержания самодержавия дала ему в 1905 г. заем против воли партий русской буржуазии.

В сущности, есть один небольшой факт, который разрушает без остатка историческую концепцию тов. Покровского. Этот факт — последняя империалистская война и роль в ней царизма.

С точки зрения тов. Покровского, дело очень просто: царизм являлся государственной формой господствующей буржуазии, вошедшей в империалистический фазис развития. В этом смысле царизм не отличался от республиканско-парламентарного режима во Франции, от империалистическо-парламентской монархии в Англии и т. д. и т. д. И это верно. Но это верно в пределах самого общего подхода к вопросу,—в пределах борьбы с социал-патриотическими и пацифистскими предрассудками, с критериями обороны и нападения и пр. и пр. Но это совершенно недостаточно (и потому неверно) для оценки роли в войне России, Англии, Германии, каждой страны в отдельности, тех внутренних изменений, какие каждая из них претерпела, тех

революционных перспектив, какие пред каждой из них открылись, той тактики, какая для нас из всего этого в каждой стране вытекает.

Несмотря на то, что царизм уже в 1904—1905 годах в войне с Японией обнаружил свою несостоятельность, буржуазия мирилась с ним, боясь пролетариата. Самостоятельность царизма, в самых наглых формах этой самостоятельности, в распутинщине, вовсе не противоречит классовой теории государства, а ею же объясняется. Но только эту теорию нужно применять не механически, а диалектически. Но этого мало: царизм оказался разбитым в империалистской войне. Почему? Потому, что под ним оказались слишком низкие производственные основы («примитивность»). В военно-техническом отношении царизм старался равняться по наиболее совершенными образцам. Ему в этом всемерно помогали более богатые и просвещенные союзники. Благодаря этому, в распоряжении царизма имелись самые совершенные орудия войны. Но у него не было и не могло быть возможности воспроизводить эти орудия и перевозить их (а также и людские массы) по железным и водным дорогам с достаточной быстротой. Другими словами, царизм отстаивал интересы имущих классов России в международной борьбе, опираясь на более примитивную, чем его враги и союзники, хозяйственную основу.

Эту основу царизм эксплоатировал за время войны нещадно, то-есть поглощал гораздо бо̀льший процент национального достояния и национального дохода, чем могущественные враги и союзники. Этот факт нашел свое подтверждение, с одной стороны— в системе военных долгов, с другой стороны—в полном разорении России. Или у т. Покровского есть на этот счет сомнения?

Все эти обстоятельства, непосредственно предопределившие Октябрьскую революцию, победу пролетариата и его дальнейшие затруднения, совершенно не объясняются общими местами тов. Покровского насчет того, что надклассовых государств не бывает, и что через посредство государственной власти выражали и выражают свою волю эксплоататорские классы. Тут еще нет марксизма,—это только первая его буква. На ней и хочет нас задержать тов. Покровский.

Из отрицаемых т. Покровским особенностей нашего исторического развития вытекал для пролетариата не отказ (задним числом?) от классовой борьбы, а захват государственной власти

и борьба за ее сохранение в своих руках. Но из этих же особенностей выросли огромные международные и внутренне-хозяйственные затруднения после овладения властью. Понимание этих особенностей лучше всего застрахует новое поколение пролетариата от пассования перед трудностями, от пессимизма и скептицизма. Шаблонизирование же исторического развития ничему научить не может.

28 июня 1922 г.

# Часть II



СУД.

I. председатель суда,
сенатор Крашенинников.

II. предводитель дворянства,
граф Гудович.

## Вместо предисловия ко второй части.

На Стокгольмском социал-демократическом съезде были опубликованы некоторые любопытные статистические данные, характеризующие условия деятельности партии пролетариата в России:

Съезд в составе своих 140 членов просидел в тюрьме 138 лет 3 с половиною месяца.

Съезд пробыл в ссылке 148 лет 6 с половиною месяцев.

Из тюрьмы бежали: по одному разу—18 человек, по 2 раза—4 человека.

Из ссылки бежало: по одному разу—23 человека, по 2 раза—5 человек, 3 раза—1 человек.

Если принять во внимание, что в социал-демократической деятельности съезд участвовал в общем 942 года, то окажется, что пребывание в тюрьме и в ссылке составляет по времени около одной трети участия в работе. Но эти цифры рисуют дело, в сущности, слишком оптимистически—«съезд участвовал в социал-демократической работе 942 года»,—это значит лишь, что политическая деятельность участников съезда размещается на протяжении этого времени; но это вовсе не значит, что все 942 года сплошь заполнены политической работой. Может быть, *действительная, непосредственная* деятельность при условиях подполья составляла лишь одну пятую или одну десятую часть этого срока. Наоборот, пребывание в тюрьме и в ссылке было именно таким, каким его изображают цифры: свыше 50 тысяч дней и ночей съезд просидел за решеткой и еще бо́льший период времени провел в варварских уголках страны.

Может быть, нам позволено будет в дополнение к этим данным привести немножко статистики из собствен-

ного прошлого. В первый раз автор этих строк, арестованный в январе 1898 г. после десятимесячной деятельности в рабочих кружках г. Николаева, просидел 2 с половиною года в тюрьме и бежал из Сибири, отбыв предварительно 2 года из своего четырехлетнего срока ссылки. Второй раз автор был арестован 3-го декабря 1905 г., как член Совета Рабочих Депутатов. Деятельность Совета длилась семь недель. Осужденные по делу Совета просидели в тюрьме 57 недель, после чего были препровождены в Обдорск на «вечное поселение»... Каждый русский социал-демократ, проработавший в партии лет 10, даст о себе приблизительно такие же сведения.

Наступившая у нас после 17 октября государственная неразбериха, которую готский альманах с бессознательным юмором юридического педантизма характеризует, как конституционную монархию при самодержавном царе, ничего не изменила в нашем положении. Мы имели пятьдесят дней свободы, и мы пили тогда из полной чаши. В эти прекрасные дни царизм понял то, что мы знали гораздо раньше: именно, что нам с ним нет места рядом. Тогда наступили страшные месяцы расплаты... Царизм менял после 17 декабря Думу за Думой, как удав—кожу, но при этом линянии он сохранил в неприкосновенности свою природу удава... Простаки и либеральные лицемеры, которые так часто призывали нас, за последние два года, встать на почву права, похожи на Марию-Антуанетту, которая рекомендовала голодающим крестьянам есть бриошь. Подумаешь, что мы страдаем каким-то недугом органического отвращения к бриоши. Подумаешь, что наши легкие заражены непобедимым влечением к атмосфере одиночных пещер Петропавловской крепости! Подумаешь, что мы не хотели бы или не сумели бы дать другое применение тем бесконечно долгим часам, которые тюремщик вырывает из нашей жизни.

Мы так же мало влюблены в наше подполье, как утопленник в морское дно. Но у нас так же мало выбора,— скажем прямо, — как и у абсолютизма. Ясное сознание этого позволяет нам оставаться оптимистами

даже в те минуты, когда подполье, с зловещей беспощадностью стягивает кольцом нашу шею. Оно не задушит нас, мы в этом уверены. Мы переживем всех. Когда истлеют кости тех великих дел, которые теперь делаются князьями земли, их слугами и слугами их слуг, когда нельзя будет разыскать могилы, в которой будут похоронены многие нынешние партии со всеми своими деяниями,—тогда дело, которому мы служим, будет владеть миром, тогда наша партия, задыхающаяся ныне в подполье, растворится в человечестве, которое впервые овладеет собственной судьбой.

Вся история, это—огромная машина на службе наших идеалов. Она работает варварски-медленно, с бесчувственной жестокостью, но она делает свое дело. Мы уверены в ней. И только в те минуты, когда ее прожорливый механизм поглощает, в качестве топлива, живую кровь наших сердец, нам хочется крикнуть ей изо всех сил:

— Что делаешь, делай скорее!

Огльбю (под Гельсингфорсом).
8/21 апреля 1907 г.

# Процесс Совета Рабочих Депутатов

3-е декабря открывает эру контр-революционного заговора арестом Совета Рабочих Депутатов. Декабрьская стачка в Петербурге и ряд декабрьских восстаний в разных частях страны были героическим усилием революции удержать за собою все те позиции, которые она завоевала в октябре. Руководство рабочими массами Петербурга перешло в это время ко Второму Совету, который составился из остатков первого и из вновь избранных депутатов. Около трехсот членов Первого Совета сидели в трех тюрьмах Петербурга. Их дальнейшая судьба была долгое время загадкой не только для них, но и для правящей бюрократии. Министр юстиции, как утверждала осведомленная пресса, решительно отвергал возможность предания рабочих депутатов суду. Если их совершенно открытая деятельность была преступной, то сплошным преступлением была, по его мнению, роль высшей администрации, которая не только попустительствовала Совету, но и входила с ним в прямые сношения. Министры препирались, жандармы вели дознание, депутаты сидели по своим одиночным камерам. В эпоху декабрьских и январских карательных экспедиций были все основания думать, что Совет попадет в петлю военного суда. В конце апреля, в первые дни Первой Думы, рабочие депутаты, как и вся страна, ждали амнистии. Так качалась судьба членов Совета между смертной казнью и полной безнаказанностью.

Наконец она нашла свою равнодействующую. Думское или, вернее, антидумское министерство Горемыкина передало дело Совета на рассмотрение Судебной Палаты с участием сословных представителей [1]). Обвинительный акт по делу Совета, этот

---

[1]) Семь лиц: четыре коронных судьи, представитель дворянства петербургского уезда граф Гудович, правый октябрист, представитель петербургской думы Тройницкий, проворовавшийся губернатор, изгнанный со службы, черносотенник, и, наконец, старшина одной из петербургских волостей, кажется, «прогрессист».

жалкий продукт жандармско-прокурорской юридической стряпни, интересен, как документ великой эпохи. Революция отразилась в нем, как солнце в грязной луже полицейского двора. Члены Совета обвинялись за подготовку к вооруженному восстанию по двум статьям, из которых одна грозила каторгой до 8, а другая—до 12 лет. Юридическую постановку обвинения, или, вернее, ее абсолютную невозможность автор этих строк разобрал в небольшом докладе [1]), переданном им из Дома Предварительного Заключения в распоряжение социал-демократической фракции Первой Думы для запроса по поводу суда над Советом. Запрос не состоялся, так как Первая Дума была разогнана и социал-демократическая фракция сама оказалась под судом.

Процесс был назначен на двадцатое июня, при открытых дверях. Волна митингов протеста прокатилась по всем заводам и фабрикам Петербурга. Если прокуратура пыталась представить Исполнительный Комитет Совета, как группу конспираторов, навязывавших массе чуждые ей решения; если либеральная печать после декабрьских событий изо дня в день твердила, что «наивно-революционные» методы Совета давно потеряли обаяние в глазах массы, которую обуревает стремление ввести свою жизнь в русло нового, «конституционного» права,—то каким прекрасным опровержением полицейских и либеральных клевет и глупостей были июньские митинги и резолюции петербургских рабочих, посылавших из своих фабрик клич солидарности своим представителям в тюрьму, требовавших суда над собою, как над активными участниками революционных событий, заявлявших, что Совет был только исполнителем их воли, и клявшихся довести работу Совета до конца!

Двор суда и прилегающие улицы были превращены в военный лагерь. Все полицейские силы Петербурга были поставлены на ноги. Несмотря на эти колоссальные приготовления, процесс не состоялся. Придравшись к нескольким формальным поводам, председатель Судебной Палаты, против желания обвинения и защиты, и даже против воли министерства, как оказалось впоследствии, отложил слушание дела на три месяца—до 19 сентября. Это был тонкий политический ход. В конце июня положение было полно «неограниченных возможностей»: кадетское мини-

[1]) См. ниже «Совет и прокуратура», стр. 303.

стерство казалось такой же вероятностью, как и реставрация абсолютизма. Между тем процесс Совета требовал от председателя вполне уверенной политики. Этому последнему ничего не оставалось, как дать истории еще три месяца на размышление. Увы, дипломатическому кунктатору пришлось уже через несколько дней покинуть свой пост! В пещерах Петергофа направление вполне определилось, там требовали решительности и беспощадности.

Процесс, открывшийся 19 сентября при новом председателе, длился целый месяц, в самый острый период первого междудумья, в медовые недели военно-полевых судов. И, тем не менее, судебное разбирательство, в отношении целого ряда, если не всех вопросов, велось с такой свободой, которая была бы совершенно непонятна, если бы за ней нельзя было нащупать пружину бюрократической интриги: министерство Столыпина, повидимому, таким путем отбивалось от атак графа Витте. Тут был непогрешимый расчет: чем больше развертывался процесс, тем выпуклее он воспроизводил картину правительственного унижения в конце 1905 года. Попустительство Витте, его интриги на две стороны, его фальшивые заверения в Петергофе, его грубые заискивания перед революцией,—вот что высшие бюрократические сферы извлекли из суда над Советом. Подсудимым оставалось только в политических целях использовать благоприятное положение и как можно шире раздвинуть рамки процесса.

Было вызвано около 400 свидетелей, из которых свыше 200 явились и дали показания [1]). Рабочие, фабриканты, жандармы, инженеры, прислуга, обыватели, журналисты, почтово-телеграфные чиновники, полицмейстеры, гимназисты, гласные думы, дворники, сенаторы, хулиганы, депутаты, профессора и солдаты дефилировали в течение месяца перед судом, и под перекрестным огнем вопросов со скамей суда, прокуратуры, защиты и подсудимых—особенно, подсудимых—они линия за линией, штрих за штрихом восстановили столь богатую событиями эпоху деятельности рабочего Совета.

Пред судом прошла всероссийская октябрьская стачка, похоронившая булыгинскую Думу, ноябрьская стачечная мани-

[1]) Многие свидетели пребывали ко времени суда «в неизвестности», или находились в Сибири.

фестация в Петербурге, этот благородный и величественный протест пролетариата против военно-полевого суда над кронштадтскими матросами и насилия над Польшей; затем героическая борьба петербургских рабочих за восьмичасовой рабочий день; наконец, руководимое Советом восстание всевыносящих рабов почты и телеграфа. Протоколы заседаний Совета и Исполнительного Комитета, впервые оглашенные на суде, раскрыли пред страной ту колоссальную будничную работу, которую совершало пролетарское представительство, организуя помощь безработным, регулируя конфликты между рабочими и предпринимателями, руководя непрерывными экономическими стачками.

Стенографический отчет о процессе, который должен составить несколько объемистых томов, до сих пор еще не издан. Только изменение политических условий в России может освободить из-под спуда этот неоценимый исторический материал. Немецкий судья, как и немецкий социал-демократ были бы одинаково поражены, если бы попали во время процесса в зал суда. Утрированная строгость причудливо переплелась с полной распущенностью, и обе они с разных сторон характеризовали ту поразительтельную растерянность, которая все еще царила в правительственных сферах, как наследие октябрьской стачки. Здание суда было объявлено на военном положении и фактически превращено в военный лагерь. Несколько рот солдат и сотен казаков во дворе, у ворот, на прилегающих улицах. Жандармы с шашками наголо везде и всюду: вдоль всего подземного коридора, соединяющего тюрьму с судом, во всех помещениях суда, за спинами подсудимых, во всех оборотах, вероятно, даже в дымовой трубе. Они должны были образовать живую стену между подсудимыми и внешним миром, в том числе и той публикой, в количестве 100—120 душ, которая была допущена в зал заседаний. Но 30—40 черных адвокатских фраков поминутно разрывают синюю стену. На скамье подсудимых появляются непрерывно газеты, письма, конфекты и цветы. Цветы без конца! В петлицах, в руках, на коленях, наконец, просто на скамьях. И председатель не решается устранить этот благоуханный беспорядок. В конце концов, даже жандармские офицеры и судебные пристава, совершенно «деморализованные» общей атмосферой, начали передавать подсудимым цветы.



Скамья защитников.

А затем свидетели-рабочие! Они скоплялись в свидетельской комнате десятками, и когда судебный пристав открывал дверь зала заседаний, волна революционной песни докатывалась иной раз до председательского кресла. Удивительное впечатление производили эти рабочие-свидетели! Они приносили с собой революционную атмосферу фабричных предместий и с таким божественным презрением нарушали мистическую торжественность судебного ритуала, что желтый, как пергамент, председатель только беспомощно разводил руками, а свидетели из общества и либеральные журналисты смотрели на рабочих тем взглядом уважения и зависти, каким слабые смотрят на сильных.

Уже первый день процесса ознаменовался замечательной демонстрацией. Из пятидесяти двух подсудимых председатель вызвал только пятьдесят одного. Он пропустил Тэр-Мкрчтянца.

— Где подсудимый Тэр-Мкрчтянц?—спросил присяжный поверенный Соколов.

— Он выключен из списка обвиняемых.

— Почему?

— Он... он... казнен.

Да, в промежутке между 20 июня и 19 сентября Тэр-Мкрчтянц, выпущенный судом на поруки, был казнен на валу кронштадтской крепости, как участник военного восстания.

Подсудимые, свидетели, защитники, публика—все молчаливо поднимаются со своих мест, чтобы почтить память павшего. Вместе со всеми встают растерянные полицейские и жандармские офицеры.

Свидетелей вводили группами человек по 20—30 для присяги. Многие являлись в рабочих костюмах, не успев омыть рук, с картузами в руках. Они мельком взглядывали на судей, затем отыскивали глазами подсудимых, энергично кланялись на две стороны, где стояли наши скамьи, и громко говорили: «Здравствуйте, товарищи!» Казалось, будто они пришли за справкой на заседание Исполнительного Комитета. Председатель спешно делал перекличку и призывал к присяге. Старик-священник становился у налоя и разворачивал инструменты своего ремесла. Свидетели, однако, не трогались с места. Председатель повторял приглашение.

— Нет, мы присягать не будем!..—отзывалось сразу несколько голосов.—Мы этого не признаем.

— Да ведь вы православные?

— Числимся православными в полицейских списках, а только мы этого всего не признаем...

— В таком случае, батюшка, вы свободны, ваших услуг сегодня не потребуется.

Кроме полицейских чинов, у православного священника присягали только рабочие-лютеране и католики. «Православные» рабочие поголовно отказывались от присяги, заменяя ее обещанием говорить правду.

Эта процедура однообразно повторялась с каждой новой группой. Только иногда разнородный состав свидетелей создавал новую неожиданную комбинацию.

— Приемлющие присягу,—обращается председатель к новой группе свидетелей,—подойдите к батюшке. Неприемлющие, отойдите назад!

Небольшого роста старик-жандарм, состоящий при каком-то заводе, выделяется из группы свидетелей и молодцеватым маршем подходит к налою. Тяжело стуча сапогами и переговариваясь друг с другом, рабочие отступают назад. Между ними и стариком-жандармом остается свидетель О., известный петербургский присяжный поверенный, домовладелец, либерал и гласный думы.

— Вы присягаете, свидетель О.?—обращается к нему председатель.

— Я... я... собственно... присягаю...

— В таком случае подойдите к батюшке.

Нерешительными шагами с перекошенным лицом подвинулся свидетель к налою. Он оглянулся назад: за ним не было никого. Спереди стоял маленький старик в жандармском мундире.

— Поднимите руки для присяги!

Старик-жандарм высоко поднял три пальца над головой. Присяжный поверенный О. слегка поднял руку, снова оглянулся назад и остановился.

— Свидетель О.,—раздался раздраженный голос,—вы присягаете или нет?

— Как же, как же, присягаю.

И либеральный свидетель, пересилив себя, поднял руку почти так же высоко, как жандарм. Вместе с жандармом он повторял вслед за священником наивные слова присяги. Если-б такую картину создал художник, она показалась бы ненатуральной! Глубо-

кий социальный символизм этой маленькой судебной сцены почувствовался всеми. Свидетели-рабочие обменялись ироническим взглядом с подсудимыми, люди из общества смущенно переглянулись между собою, злорадство откровенно выступило на



СВИДЕТЕЛЬ-ПРИСТАВ.

ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕССА СОВЕТА РАБОЧИХ ДЕПУТАТОВ.

иезуитском лице председателя. В зале воцарилось напряженное молчание.

Допрашивается сенатор граф Тизенгаузен, гласный петербургской думы. Он присутствовал в том заседании думы, когда де-

путация Совета предъявила ряд требований городскому самоуправлению.

— Как вы, господин свидетель,—спрашивает один из защитников,—отнеслись к требованию об устройстве вооруженной городской милиции?

— Я считаю этот вопрос не имеющим отношения к делу,— отвечает граф.

— В тех рамках, в каких я веду судебное следствие,—возражает председатель,—вопрос защиты законен.

— В таком случае я должен сказать, что к идее городской милиции я тогда отнесся сочувственно, но с того времени я совершенно изменил свой взгляд на этот вопрос...

О, сколь многие из них успели за протекший год изменить свой взгляд на этот и на многие другие вопросы!.. Либеральная пресса, выражая «полное сочувствие» личностям подсудимых, в то же время не находила достаточно решительных слов, чтобы отвергнуть их тактику. Радикальные газеты с улыбкой сожаления говорили о революционных «иллюзиях» Совета. Зато рабочие оставались ему верны без всяких оговорок.

Многие заводы присылали в суд свои коллективные письменные заявления через свидетелей из своей среды. По настоянию подсудимых суд приобщал такие документы к делу и оглашал их во время заседания.

«Мы, нижеподписавшиеся рабочие Обуховского завода,— говорило одно наудачу выхваченное нами заявление,—убедившись в том, что правительство хочет произвести суд, полный произвола над Советом Рабочих Депутатов, глубоко возмущенные стремлением правительства изобразить Совет в виде кучки заговорщиков, преследующих чуждые рабочему классу цели, мы, рабочие Обуховского завода, заявляем, что Совет состоит не из кучки заговорщиков, а из истинных представителей всего петербургского пролетариата. Мы протестуем против произвола правительства над Советом, выразившегося в обвинении выбранных нами товарищей, исполнявших все требования в Совете, и заявляем правительству, что насколько виновен наш уважаемый всеми нами товарищ П. А. Злыднев, постольку же виновны и мы, что и удостоверяем своими подписями».

К этой резолюции было присоединено несколько листов бумаги, покрытых более, чем 2.000 подписей. Листы были грязны и

изъяты: они ходили по всем мастерским завода из рук в руки. Обуховская резолюция далеко не самая резкая. Были такие, от оглашения которых председатель отказывался ввиду их «глубоко неприличного» по отношению к суду и к правительству тона.

В общем представленные суду резолюции насчитывали десятки тысяч подписей. Показания свидетелей, многие из которых, выйдя из судебного зала, сейчас же попадали в руки полиции, дали превосходный комментарий к этим документам. Заговорщики, необходимые прокуратуре, совершенно утонули в героической безыменной массе. В конце концов, прокурор, совмещавший свою позорную роль с внешней корректностью, вынужден был в обвинительной речи признать два факта: во-первых, что на известном уровне политического развития пролетариат проявляет «тяготение» к социализму и, во-вторых, что настроение рабочих масс в период деятельности Совета было революционным.

Пришлось прокуратуре сдать еще одну важную позицию. «Подготовка вооруженного восстания» была, разумеется, осью всего судебного следствия.

— Призывал ли Совет к вооруженному восстанию?

— В сущности, не призывал,—отвечали свидетели.

— Совет формулировал только общее убеждение в неизбежности вооруженного восстания.

— Совет требовал Учредительного Собрания. Кто же должен был создать его?

— Сам народ!

— Как?

— Конечно, силой. Добром ничего не возьмешь.

— Значит Совет вооружал рабочих для восстания?

— Нет, для самозащиты.

Председатель иронически пожимал плечами. Но, в конце-концов, показания свидетелей и подсудимых заставили суд усвоить себе это «противоречие». Рабочие вооружались непосредственно для самообороны. Но это было в то же время вооружением в целях восстания—постольку, поскольку главным органом погромов становилась правительственная власть. Выяснению этого вопроса была посвящена речь, которую автор произнес перед судом [1]).

---

[1]) Мы приводим ниже эту речь по неопубликованному в России стенографическому отчету—см. стр. 346.

Своей вершины процесс достиг в тот момент, когда наша защита передала суду ставшее столь знаменитым «Письмо Лопухина».

Подсудимые и защита говорили:

— Господа судьи! Вы считаете, повидимому, голословным наше утверждение, что органы правительственной власти играли руководящую роль в подготовке и организации погромов? Для вас, может быть, недостаточно убедительны свидетельские показания, которые вы здесь слышали? Может быть, вы уже успели забыть те разоблачения, которые князь Урусов, бывший товарищ министра внутренних дел, сделал в Государственной Думе? Может быть, вас убедил жандармский генерал Иванов, который под присягой сказал вам здесь, что речи о погромах были одним предлогом для вооружения масс? Может быть, вы поверили свидетелю Статковскому, чиновнику охранного отделения, который под присягой показал, что он в Петербурге не видал ни одной погромной прокламации?—Но смотрите! Вот засвидетельствованная копия письма бывшего директора департамента полиции Лопухина министру внутренних дел Столыпину [1]). На основании расследований, произведенных им специально по поручению графа Витте, г. Лопухин удостоверяет, что погромные прокламации, которых якобы никогда не видал свидетель Статковский, печатались в типографии того самого охранного отделения, чиновником которого Статковский состоит; что эти прокламации развозились агентами охранного отделения и членами монархических партий по всей России; что между департаментом полиции и черносотенными шайками существует тесная организационная связь; что во главе этой преступной организации в эпоху Совета стоял генерал Трепов, который, будучи дворцовым комендантом, пользовался громадной властью, лично докладывал царю о деятельности полиции и, помимо всех министров, располагал огромными государственными суммами для своей погромной деятельности.

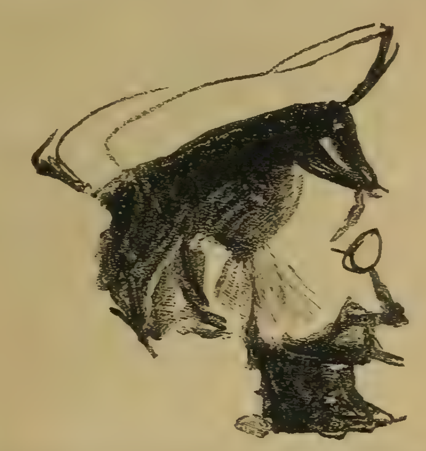
— И еще один факт, господа судьи! Многочисленные черносотенные листки—они имеются у вас в материалах предварительного дознания!—обвиняли членов Совета в расхищении рабочих денег. Жандармский генерал Иванов производил на основании этих листков специальное, разумеется, совершенно безрезультатное расследование на петербургских фабриках и заводах. Мы, рево-

---

[1]) В кабинете Горемыкина Столыпин был министром внутренних дел.

люционеры, привыкли к подобным приемам властей. Но и мы, столь далекие от идеализации жандармерии, не подозревали, как далеко способно заходить это учреждение. Оказывается, что прокламации, обвинявшие Совет в расхищении рабочих денег, сочинялись и тайно печатались в том самом жандармском управлении, в котором служит генерал Иванов. Этот факт также удостоверяется г. Лопухиным. Г.г. судьи! Вот копия письма, под которой имеется подпись самого автора. Мы требуем, чтоб этот драгоценный документ был целиком прочтен здесь, в суде. Мы требуем, кроме того, чтоб действительный статский советник Лопухин был вызван сюда в качестве свидетеля.

Это заявление разразилось как удар грома над головой суда. Судебное следствие заканчивалось, и председатель чувствовал себя после бурного плавания уже у тихой пристани, как вдруг снова оказывался отброшенным в открытое море.



ИЗВЕСТНЫЙ ПОГРОМНЫХ ДЕЛ МАСТЕР БАРАЧ,

СВИДЕТЕЛЬ НА СУДЕ.

Уже письмо Лопухина намекало на характер таинственных докладов, которые Трепов делал царю. Кто знает, как разовьет эти намеки под вопросами обвиняемых бывший шеф полиции, повернувшийся к полиции спиной?.. Суд в священном ужасе отступил перед возможностью дальнейших разоблачений. После продолжительных обсуждений он отказал подсудимым в принятии письма и в вызове Лопухина свидетелем.

Тогда подсудимые заявили, что им больше нечего делать в зале суда и категорически потребовали, чтоб их удалили в их одиночные камеры.

Мы были удалены. Одновременно с нами удалились из суда наши защитники. В отсутствии подсудимых, адвокатов и публики

прокурор произнес свою сухую и «корректную» обвинительную речь. В почти пустом зале Палата вынесла свой приговор. Снабжение рабочих оружием в целях восстания было отвергнуто. Пятнадцать подсудимых—в том числе автор этих строк—были присуждены к лишению всех гражданских прав и пожизненной ссылке в Сибирь. Двое были приговорены к непродолжительному тюремному заключению. Остальные оправданы.

Процесс Совета Депутатов произвел огромное впечатление в стране. Можно с уверенностью сказать, что своим огромным успехом на выборах во Вторую Думу социал-демократия в значительной мере обязана агитационному влиянию суда над революционным парламентом петербургского пролетариата.



БОГДАН КНУНИАНЦ РАДИН,

ЧЛЕН ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ПЕТЕРБУРГСКОГО СОВЕТА, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ БОЛЬШЕВИКОВ.

Процесс Совета Депутатов породил эпизод, который заслуживает здесь упоминания.

2-го ноября, в день объявления приговора в окончательной форме, в «Новом Времени» появилось письмо вернувшегося из-за границы гр. Витте по поводу процесса Совета Депутатов, при чем, обороняясь от атак бюрократической правой, граф не только отказывался от чести быть главным зачинщиком русской революции, в чем он не был так уж неправ, но и начисто отрицал свои личные сношения с Советом. Показания свидетелей и подсудимых он с ясным лбом назвал «вымышленными в видах защиты», очевидно, не ожидая встретить отпор из стен тюрьмы. Но граф ошибся.

«Мы слишком отчетливо сознаем,—говорил коллективный ответ осужденных, напечатанный нами в газете «Товарищ» 5 ноября,—отличие нашей и графа Витте политической природы, чтобы счесть для себя допустимым выяснять бывшему премьеру те причины, которые делают для нас, представителей пролетариата,



СВИДЕТЕЛЬ ПЕРЕД СУДОМ.

обязательным во всей нашей политической деятельности говорить правду. Но мы считаем вполне уместным сослаться здесь на речь г. прокурора. Профессиональный обвинитель, чиновник враждебного нам правительства, признал, что мы своими заявлениями и речами дали ему «без боя» материал обвинения—обвинения, а не защиты!—и назвал пред лицом суда наши показания правдивыми и искренними.

«Правдивость и искренность—это качества, которых не только политические враги, но и профессиональные хвалители никогда не приписывали графу Витте».

Далее, коллективный ответ документально выяснял всю опрометчивость запирательства гр. Витте [1]) и заканчивал строками, которые подводят итог суду над революционным парламентом петербургского пролетариата.

«Каковы бы ни были цели и мотивы опровержения гр. Витте,—говорило наше письмо,—каким бы неосторожным оно ни казалось, оно появилось очень своевременно, как последний удар кисти, чтоб вполне дорисовать облик правительственной власти, лицом к лицу с которой стоял Совет в те дни. Мы позволим себе остановиться на этом облике в нескольких словах.

«Граф Витте подчеркивает тот факт, что именно он передал нас в руки правосудия. Дата этой исторической заслуги, как мы уже сказали выше, 3 декабря 1905 г. После того мы прошли через руки охранного отделения, затем—через руки жандармского управления и далее предстали перед лицом суда.

«На суде фигурировали в качестве свидетелей два чиновника охранного отделения. На вопрос, не готовился ли в Петербурге погром осенью прошлого года, они самым решительным образом ответили: нет! и заявили, что не видали ни одного листка, призывавшего к погромам. А между тем бывший директор департамента полиции, д. с. с. Лопухин, свидетельствует, что погромные прокламации печатались в то время именно в охранном отделении. Таков первый этап «правосудия», которому передал нас гр. Витте.

«Далее, на суде фигурировали жандармские офицеры, ведшие дознание по делу Совета. По их собственным словам, первоисточ-

---

[1]) Графу пришлось после этого признать свои сношения с Советом, но он «объяснял», что в депутациях Совета он хотел видеть просто «представителей рабочих».

ником их расследования по вопросу о расхищении депутатами денежных сумм послужили анонимные черносотенные листки. Г. прокурор назвал эти листки лживыми и клеветническими. И что же? Д. с. с. Лопухин свидетельствует, что эти лживые и клеветнические листки печатались в том самом жандармском управлении, которое вело дознание по делу Совета. Таков второй этап на пути правосудия.

«И когда мы через десять месяцев оказались перед лицом суда, этот последний позволил нам выяснить все то, что в основных чертах было известно и до суда; но как только мы сделали попытку выяснить и доказать, что перед нами в то время не было никакой правительственной власти, что наиболее активные органы ее превратились в контр-революционные сообщества, попиравшие не только писанные законы, но и все законы человеческой морали, что наиболее доверенные элементы правительственного персонала составляли централизованную организацию всероссийских погромов, что Совет Рабочих Депутатов по существу выполнял задачи национальной обороны,—когда с этой целью мы потребовали приобщения к делу ставшего, благодаря нашему процессу, известным письма Лопухина и, главное, допроса самого Лопухина, в качестве свидетеля, суд, не стесняясь соображениями права, властной рукой закрыл нам уста. Таков третий этап правосудия.

«И, наконец, когда дело доведено до конца, когда приговор произнесен, выступает гр. Витте и делает попытку очернить своих политических врагов, которых он, повидимому, считает окончательно поверженными. С такою же решительностью, с какою чиновники охранного отделения уверяли, что не видали ни одного погромного листка, гр. Витте утверждает, что не имел никаких сношений с Советом Рабочих Депутатов. С такою же решительностью и—с такою же правдивостью!

«Мы спокойно оглядываемся на эти четыре ступени официального суда над нами. Представители власти лишили нас «всех прав» и отправляют нас всех в ссылку. Но они не могут, они не в силе лишить нас права на доверие пролетариата и всех честных сограждан. По нашему делу, как и по всем другим вопросам нашего национального бытия, последнее слово скажет народ. С полным доверием мы аппеллируем к его совести».

4 ноября 1906 г.
Дом Предв. Заключения.

## Совет и прокуратура.

Процесс С. Р. Д. представляет лишь отдельный эпизод в борьбе революции с правительством петергофских заговорщиков. Вряд ли даже среди полицейских представителей прокуратуры найдется кто-нибудь, кто действительно думал бы, что привлечение к ответственности членов Совета есть юридически закономерный акт, что процесс начат и ведется по самостоятельной инициативе судебной власти, что он совершается во имя «внутренних запросов» права. Всякий и каждый понимает, что арест Совета есть акт не юридический, а военно-политический, что он представляет собою один из моментов той кровавой кампании, которую ведет отверженная и поруганная народом власть.

Мы не входим здесь в рассмотрение вопроса о том, почему из всех возможных методов расправы с представителями рабочих избран сравнительно сложный путь суда Судебной Палаты с сословными представителями. В распоряжении власти имеется целый ряд других средств, не менее действительных, но более простых. Помимо богатого арсенала административных мер, можно указать на военный суд, или на тот суд, имени которого, правда, нет в учебниках права, но который с успехом применялся во многих местах. Он состоит в том, что обвиняемым рекомендуют отойти на несколько шагов от судей и повернуться к ним спиной. Когда подсудимые выполняют эту процессуальную обрядность, раздается залп, который означает собою судебный приговор, не допускающий ни апелляции, ни кассации.

Но факт таков, что правительство, вместо того, чтобы расправиться застеночным путем с 52 лицами, отмеченными его агентами, организовало судебный процесс, и притом не просто процесс 52 лиц, а процесс Совета Рабочих Депутатов. Этим самым оно вынуждает нас к критике занятой им юридической позиции.

Обвинительный акт гласит, что поименованные в нем 52 лица обвиняются в том, что «вступили участниками в сообщество... за-

ведомо для них поставившее целью своей деятельности насильственное посягательство на изменение установленного в России основными законами образа правления и замену его демократической республикой»... В этом вся суть обвинения, которое должно отвечать содержанию 101 и 102 ст.ст. Уголовного Уложения.

Таким образом обвинительный акт рисует Совет Рабочих Депутатов, как революционное «сообщество», объединившееся на почве заранее формулированной политической задачи, как организацию, каждый участник которой, самым фактом своего вступления в нее, подписывается под определенной заранее начертанной политической программой. Такое определение Совета стоит в глубоком противоречии с той картиной возникновения «сообщества», какую дает сам обвинительный акт. На первой странице его мы читаем, что инициаторы создания будущего Совета призывали «избрать депутатов в Рабочий Комитет, который придаст рабочему движению организованность, единство и силу» и явится «представителями нужд петербургских рабочих перед остальным обществом». «И действительно,—продолжает обвинительный акт,—тогда же на многих фабриках состоялись выборы депутатов». Какова же была политическая программа складывавшегося Совета? Ее не было вовсе. Мало того: ее и не могло быть, ибо Совет, как мы видели, образовывался не на начале подбора политических единомышленников (как партия или заговорщическая организация), а на начале выборного представительства (как дума или земство). Из самих условий образования Совета с несомненностью вытекает, что поименованные в обвинительном акте лица так же, как и все остальные члены Совета, вступали не в заговорщическое сообщество, которое заведомо для них ставило своей целью насильственное ниспровержение существующего образа правления и создание демократической республики, но в представительную коллегию, направление работ которой должно было лишь определиться дальнейшим сотрудничеством ее членов.

Если Совет есть сообщество, предусмотренное 101 и 102 ст.ст., то где границы этого сообщества? Депутаты входят в Совет не по собственному желанию, как члены сообщества,—их посылают в Совет избиратели. В свою очередь коллегия избирателей никогда не распускается. Она всегда остается на заводе, пред ней депутат дает отчет в своих действиях, она через своего депутата самым решительным образом влияет на направление деятельности

Совета. По всем важнейшим вопросам—стачки, борьба за 8-часовой рабочий день, вооружение рабочих—инициатива исходила не от Совета, но от более передовых заводов. Собрание рабочих-избирателей выносило резолюции, которые вносились депутатами в Совет. Таким образом организация Совета была фактически и формально организацией огромного большинства петербургских рабочих. В основе этой организации лежала совокупность избирательных коллегий, по отношению к которым Совет играл в известном смысле такую же роль, как Исполнительный Комитет по отношению к самому Совету. Обвинительный акт в одном случае признает это самым категорическим образом. «Стремление Рабочего Комитета [1]) достигнуть всеобщего вооружения,—говорит он,—высказано было... в постановлениях и резолюциях отдельных организаций, входивших в состав Рабочего Комитета», и далее, обвинительный акт приводит соответственное постановление собрания рабочих печатного дела. Но если Союз Рабочих Печатного Дела, и по мнению прокуратуры, «входил в состав» Совета (точнее: в состав организации Совета), то очевидно, что тем самым каждый член Союза оказывался членом сообщества, поставившего себе целью насильственное ниспровержение существующего строя. Но не только Союз Рабочих Печатного Дела, рабочие каждой фабрики, каждого завода, послав депутатов в Совет, тем самым, как коллегия, вступали в организацию петербургского пролетариата. И если бы прокуратура имела в виду полное и последовательное применение 101 и 102 ст. ст., по точному их смыслу и духу на скамье подсудимых должны бы оказаться не меньше 200.000 петербургских рабочих. Такова же точка зрения самих этих рабочих, которые в июне в целом ряде решительных резолюций требовали привлечения их к суду. И это требование—не только политическая демонстрация, это—напоминание прокуратуре об ее элементарных юридических обязанностях.

Но юридические обязанности, это—последнее, что интересует прокуратуру. Она знает, что власть хочет получить несколько десятков жертв, чтоб подвести итог своей «победе»,—и прокуратура ограничивает число подсудимых путем наглядных несообразностей и грубых софизмов.

---

[1]) Так иногда назывался в первое время Совет.

1. Она совершенно закрывает глаза на выборный характер Совета и рассматривает его, как союз революционных единомышленников.

2. Ввиду того, что общее число членов Совета, 500—600 человек, оказывается слишком большим для тенденциозного суда над заговорщиками, командующими рабочей массой, прокуратура совершенно искусственно выделяет Исполнительный Комитет. Она сознательно игнорирует выборный характер Исполнительного Комитета, его текучий, меняющийся состав и, не считаясь с документами, приписывает Исполнительному Комитету решения, принятые Советом в полном его составе.

3. Из состава Совета, кроме членов Исполнительного Комитета, прокуратура привлекает к суду только тех депутатов, которые «принимали активное и (?) личное участие в деятельности Совета». Такое выделение есть чистейший произвол. «Уложение» карает не только за «активное и личное участие», но за простую принадлежность к преступному сообществу. Характер участия определяет лишь степень наказания.

Каков, однако, критерий прокуратуры? Доказательством активного личного участия в сообществе, поставившем себе задачей насильственный государственный переворот, является, в глазах обвинительной власти, напр., контроль над входными билетами, участие в стачечном пикете или, наконец, собственное признание в самом факте принадлежности к составу Совета. Так, относительно обвиняемых Красина, Луканина, Иванова и Марлотова прокуратура приводит лишь их собственное признание в простой принадлежности к Совету, и из этого признания делает неведомыми путями вывод об их «активном и личном участии».

4. Если прибавить еще несколько человек «инородцев», арестованных 3 декабря в числе гостей совершенно случайно, никакого отношения к Совету не имевших и не произнесших на заседаниях его ни одного слова, тогда мы получим некоторое представление о том безобразном произволе, который руководил прокуратурой в выборе подсудимых.

5. Но и это еще не все. После 3 декабря остаток Совета пополнился новыми членами, Исполнительный Комитет восстановился, «Известия» продолжали выходить (№ 8 вышел на другой день после ареста Совета), восстановленный Совет издал призыв к декабрьской стачке. Через некоторое время Исполнительный

Комитет нового Совета был арестован. И что же? Несмотря на то, что он продолжал лишь работу старого Совета, в целях и методах борьбы ничем от него не отличался, дело о новом Совете не возбуждается почему-то в судебном порядке, а направляется по пути административной расправы.

Стоял ли Совет на почве права? Нет, не стоял и не мог стоять, ибо такой почвы н е б ы л о.

С. Р. Д., если бы и хотел, не мог в своем возникновении опереться на манифест 17-го октября уже потому, что Совет возник до манифеста; Совет был создан тем самым революционным движением, которое создало манифест.

Обвинительный акт весь целиком построен на грубой фикции непрерывности нашего права в течение последнего года. Прокуратура исходит из фантастического предположения, будто все статьи Уголовного Уложения все время сохраняли свою действительность, будто их никогда не переставали применять, будто они никогда не отменялись,—если не юридически, то фактически.

На самом деле целый ряд статей был вырван рукою революции из Уложения при молчаливом попустительстве власти.

Земские съезды опирались ли на право? Банкеты и манифестации считались ли с Уложением? Пресса придерживалась ли цензурного устава? Союзы интеллигенции не возникали ли безнаказанно, так называемым «явочным» порядком?

Но остановимся на судьбе самого Совета. Предполагая непрерывность действия ст.ст. 101 и 102 «Уложения», прокуратура считает Совет заведомо преступной организацией, преступной от дня рождения; таким образом самое вступление в Совет является преступлением. Но как объяснить, с этой точки зрения, тот факт, что высший представитель власти вступал в переговоры с преступным сообществом, имевшим своей целью революционное утверждение республики? Если стоять на точке зрения непрерывности права, переговоры гр. Витте превращаются в уголовное преступление.

До каких несообразностей доходит прокуратура, охраняющая несуществующую почву права, видно из названного примера с гр. Витте.

Цитируя прения по поводу посылки депутации к Витте с целью добиться освобождения трех членов Совета, арестованных

на уличном митинге у Казанского Собора, обвинительный акт говорит об этом обращении к Витте, как о «закономерной попытке освобождения арестованных» (стр. 6).

Таким образом прокуратура видит «закономерность» в переговорах гр. Витте, высшего представителя исполнительной власти, с революционным сообществом, заранее поставившим себе целью ниспровержение того государственного порядка, к охране которого призван был гр. Витте.

Каков был результат этой «закономерной попытки»?

Обвинительный акт совершенно правильно устанавливает, что председатель комитета министров, «переговорив с градоначальником, приказал освободить арестованных» (стр. 6). Таким образом государственная власть выполняла требования преступного сообщества, членам которого по смыслу 101 и 102 ст.ст. место не в приемной министра, а на каторге.

Где же была «закономерность»? Был ли закономерным уличный митинг у Казанского Собора (18 окт.)? Очевидно нет, ибо руководившие им члены Совета были арестованы. Была ли закономерной посылка депутации к правительству от противоправительственного сообщества? Прокуратура отвечает на этот вопрос утвердительно. Закономерно ли было освобождение трех преступников по требованию нескольких сот других преступников? Казалось бы, «закономерность» требовала не освобождения арестованных, а ареста остававшихся на воле сообщников. Или гр. Витте амнистировал преступников? Но кто предоставил ему право амнистии?

Совет Рабочих Депутатов не стоял на почве права. Но на этой почве не стояла и правительственная власть. Почвы права не существовало.

Октябрьские и ноябрьские дни привели в движение огромную массу населения, вскрыли множество глубоких интересов, создали множество новых организаций, новых форм политического общения. Старый строй торжественно ликвидировал себя в манифесте 17 октября. Но нового строя еще не существовало. Старые законы, явно противоречившие манифесту, не были отменены. Но фактически они нарушались на каждом шагу. Новые явления, новые формы жизни не могли найти места в рамках самодержавной «закономерности». Власть не только терпела тысячи правонарушений, но в известной мере открыто покровитель-



ЖАНДАРМСКИЙ ГЕНЕРАЛ ИВАНОВ,

ПРОИЗВОДИВШИЙ „ДОЗНАНИЕ“ ПО ДЕЛУ СОВ. РАБ. ДЕП., ДАЕТ ПОКАЗАНИЯ НА СУДЕ.

ствовала им. Мало того, что манифест 17-го октября логически упразднял целый ряд существовавших законов, он ликвидировал и самый законодательный аппарат абсолютизма.

Новые формы общественной жизни слагались и жили вне всякого юридического определения. Одною из таких форм был Совет.

Карикатурное несоответствие между определением 101 ст. и действительной физиономией Совета объясняется тем, что С. Р. Д. был учреждением, совершенно не предусмотренным законами старой России. Он возник в такой момент, когда старая изгнившая оболочка права расползлась по всем швам, и лохмотья ее валялись растоптанные революционным народом. Совет возник не потому, что он был юридически правомерен, а потому, что он был фактически необходим.

Когда правящая реакция окрепла после первых натисков, она стала пускать в ход фактически отмененные законы точно так же, как в драке пускают в дело первый попавшийся в руки камень. Таким наудачу выхваченным камнем является 101 ст. Угол. Уложения, а Судебной Палате поручено сыграть роль катапульты,—ей приказано обрушить определенное наказание на лиц, которых наметила невежественная жандармерия в союзе с услужающей ей прокуратурой.

Безнадежная, с юридической стороны, позиция обвинительной власти как нельзя лучше вскрывается на вопросе об участии официальных представителей партий в решениях Совета.

Как известно всем, имевшим какое-либо касательство к Совету, представители партий не пользовались ни в Совете, ни в Исполнительном Комитете правом решающего голоса; они участвовали в прениях, но не в голосованиях. Это объясняется тем, что Совет был организован на принципе представительства рабочих по предприятиям и по профессиям, а не по партийным группировкам. Представители партий могли обслуживать и обслуживали Совет своим политическим опытом, своими знаниями, но они не могли иметь решающего голоса, не нарушая принципа представительства рабочих масс. Они были, если можно так сказать, политическими экспертами в составе Совета.

Этот несомненный факт, установить который не представляло труда, создавал, однако, для следственной и обвинительной власти чрезвычайные затруднения.

Первое затруднение—чисто юридического характера. Если Совет—преступное сообщество, заранее поставившее себе такие-то цели, если обвиняемые—члены этого преступного сообщества, и в этом именно качестве должны предстать пред судом, как же быть с теми из обвиняемых, которые имели право лишь совещательного голоса, которые могли только пропагандировать свою точку зрения, но не могли делать того, что характеризует члена сообщества, не могли участвовать в голосованиях, т.-е. в прямом и непосредственном направлении коллективной воли преступного сообщества? Как заявления эксперта на суде могут оказать огромное влияние на приговор, что, однако, не делает эксперта ответственным за этот последний, так и заявления представителей партий, какое бы влияние они ни оказывали на деятельность всего Совета, не делают, однако, юридически ответственными тех лиц, которые говорят Совету: вот наше убеждение, вот мнение нашей партии, но решение зависит от вас. Само собою разумеется, что представители партий не имеют никакого намерения укрываться от прокуратуры за это соображение. Прокуратура ведь защищает не «статьи», не «закон», не «право», а интересы определенной касты. И так как этой касте они, представители партий, своей работой наносили не меньшие удары, чем все другие члены Совета, то вполне естественно, что правительственная месть, в форме приговора Судебной Палаты, должна обрушиться на них в такой же мере, как и на представителей фабрик и заводов. Но несомненно одно: если квалификация депутатов, как членов преступного сообщества, может быть сделана лишь путем смелого насилия над фактами и их юридическим смыслом, то применение 101 ст. к представителям партий в составе Совета представляет собою воплощенный юридический абсурд. Так говорит, по крайней мере, человеческая логика, а логика юридическая не может быть ничем иным, как применением общечеловеческой логики к специальной области явлений.

Второе затруднение, вытекавшее для прокуратуры из положения делегатов от партий в Совете, имело характер политический. Задача, которая освещала путь сперва жандармскому генералу Иванову, затем товарищу прокурора г. Бальцу или тому, кто его вдохновлял, была очень проста: представить Совет как заговорщическую организацию, которая, под давлением кучки энергичных революционеров, командует терроризированной мас-

сой. Против такой якобинско-полицейской пародии на Совет протестует все: состав Совета, открытый характер его деятельности, способ обсуждения и решения всех вопросов, наконец, отсутствие у представителей партий решающего голоса. Что же делает следственная власть? Если факты против нее, тем хуже для фактов: она расправляется с ними административным порядком. Из протоколов, из подсчета голосов, наконец, из показаний своих агентов жандармерия могла без труда установить, что представители партий пользовались в Совете только совещательным голосом. Жандармерия знала это; но так как этот факт стеснял размах ее государственных соображений и комбинаций, то она сознательно делает все, чтоб ввести в заблуждение прокуратуру. Несмотря на всю важность вопроса об юридическом положении представителей партий в составе Совета, жандармерия на допросах систематически и вполне сознательно обходит этот вопрос. Эту любознательную жандармерию крайне интересует, на каких местах сидели отдельные члены Исполнительного Комитета, как они входили и выходили, но ее совершенно не интересует, имели ли 70 социал-демократов и 35 социалистов-революционеров, итого 105 человек, право решающего голоса по вопросам о всеобщей стачке, о 8-часовом рабочем дне и пр. Она не задавала ни подсудимым, ни свидетелям известных вопросов только для того, чтобы избежать установления определенных фактов [1]. Это совершенно очевидно, против этого невозможно спорить.

Мы сказали выше, что следственная власть вводила таким образом в заблуждение обвинительную. Но так ли это? Прокуратура, в лице своего представителя, присутствует на допросах или, по крайней мере, подписывает протоколы. Таким образом у нее всегда есть возможность проявить свой интерес к истине. Нужно только, чтоб этот интерес был у нее. Но такого интереса у нее нет, разумеется, и в помине. Она не только прикрывает очевидные «промахи» предварительного дознания, но и пользуется ими для заведомо ложных выводов.

---

[1] Только в одном месте обвинительный акт отмечает, что, по словам Расторгуева, «представители партий не имели, будто бы, права голоса при баллотировках» (стр. 39). Но прокуратура совершенно не позаботилась выяснить для себя этот вопрос, вернее сказать, она его сознательно обошла.

Грубее всего это проявляется в той части обвинительного акта, которая трактует о деятельности Совета по вооружению рабочих.

Мы здесь не станем разбирать вопрос о вооруженном восстании и об отношении к нему Совета. Эта тема рассмотрена в других статьях. Здесь для нас будет совершенно достаточно сказать, что вооруженное восстание, как революционная идея, вдохновляющая массы и направляющая их выборную организацию, так же отличается от прокурорско-полицейской «идеи» вооруженного восстания, как «Совет Рабочих Депутатов» отличается от сообщества, предусмотренного ст. 101. Но если следственная и обвинительная власти обнаруживают безнадежное полицейское непонимание смысла и духа Совета Рабочих Депутатов, если они беспомощно путаются в его политических идеях, то тем сильнее их стремление обосновать обвинение на такой простой, механической вещи, как браунинг.

Несмотря на то, что жандармское дознание, как увидим, могло предложить прокуратуре крайне скромный материал по этому вопросу, сочинитель обвинительного акта делает замечательную по своей отваге попытку доказать факт массового вооружения рабочих Исполнительным Комитетом в целях вооруженного восстания. Соответственное место обвинительного акта придется процитировать и подвергнуть рассмотрению по частям.

«К этому же времени (т.-е. ко второй половине ноября),— так рассуждает прокуратура,—относится, повидимому, и фактическое осуществление всех приведенных выше предположений Исполнительного Комитета о вооружении петербургских рабочих, так как, по словам депутата табачной фабрики Богданова, Григория Левкина, в одном из заседаний в средних числах ноября решено было (кем?) образовать для поддержки демонстраций вооруженные десятки и сотни, и именно в это время депутат Николай Немцов указал на отсутствие у рабочих оружия и между собравшимися (где?) был начат сбор денег на вооружение». Итак, мы узнаем, что в середине ноября Исполнительный Комитет осуществил «все» свои предположения по вопросу о вооружении пролетариата. Чем это доказывается? Двумя неоспоримыми свидетельствами. Во-первых, Григорий Левкин показывает, что около этого времени решено было (повидимому, Советом) образовать вооруженные десятки и сотни.



ВО ДВОРЕ СУДА.

Не очевидно ли, что Совет в середине ноября выполнил все свои намерения в деле вооружения, раз в это именно время он выразил... намерение (или вынес решение) организовывать десятки и сотни? Но точно ли Совет выносил такое решение? Ничего подобного. Обвинительный акт ссылается в данном случае не на советское постановление, которого не было, а на речь одного из членов Совета (мою); в том же обвинительном акте речь эта раньше цитируется на стр. 17.

Таким образом в доказательство осуществления «предположений» прокуратура ссылается на резолюцию, которая, если б даже она и была принята, являлась бы одним из таких «предположений».

Второе доказательство вооружения петербургских рабочих в середине ноября дал Николай Немцов, который «именно в это время (!) указал на отсутствие у рабочих оружия». Правда, не легко понять, почему собственно указание Немцова на отсутствие оружия должно доказывать присутствие такового. Дальше, впрочем, прибавлено, что «между собравшимися был начат сбор денег на вооружение». Что деньги на вооружение вообще собирались рабочими, это не подлежит сомнению. Допустим, что они могли собираться и в том частном случае, который имеет в виду прокуратура. Но совершенно невозможно понять, каким образом из этого обстоятельства вытекает, будто «к этому времени относится фактическое осуществление всех приведенных выше предположений Исполнительного Комитета о вооружении петербургских рабочих». Далее: кому делал Николай Немцов указание на отсутствие оружия? Очевидно, собранию Совета или Исполнительного Комитета. Следовательно, приходится предположить, что несколько десятков или сотен депутатов собирали между собою деньги на вооружение масс, при чем этот сам по себе достаточно невероятный факт служит доказательством того, что массы были в это время уже фактически вооружены.

Таким образом вооружение рабочих доказано; остается вскрыть его цель. Вот что по этому поводу говорит обвинительный акт: «Вооружение это,—как удостоверил депутат Алексей Шишкин,—имело своим предлогом возможность погромов, но, по его словам, погромы эти были только предлогами, а в действительности же к 9 января подготовлялось будто бы вооруженное

восстание. Действительно,—продолжает обвинительный акт,—раздача оружия, по словам депутата завода Однера, Михаила Хахарева, была начата Хрусталевым-Носарем еще в октябре, и он, Хахарев, получил от Хрусталева браунинг «для защиты от черной сотни». Между тем эта оборонительная цель вооружения опровергается, помимо всех изложенных выше постановлений Совета, также и содержанием некоторых документов, найденных в бумагах Георгия Носаря. Так, между прочим, там оказался подлинник резолюции Совета без определения времени его составления, заключающий в себе призыв к вооружению, составлению дружин и армии, «готовой на отпор терзающему Россию черносотенному правительству».

Остановимся пока на этом. Отпор черносотенцам—только предлог; истинная цель общего вооружения, осуществленного Советом в середине ноября—вооруженное восстание 9 января. Правда, об этой истинной цели не знали не только те, которых вооружали, но и те, которые вооружали, так что, если б не было показаний Алексея Шишкина, осталось бы навсегда неизвестным, что организация рабочих масс назначила восстание на определенное число. Другим доказательством того, что именно около половины ноября Исполнительный Комитет вооружил массы, для восстания в январе, служит, как мы видели, тот факт, что в октябре Хахарев получил от Хрусталева браунинг «для защиты от черной сотни».

Оборонительная цель вооружения опровергается, однако, по мнению прокурора, сверх всего прочего еще и некоторыми документами, найденными в бумагах Носаря, напр., подлинником (?) резолюции, призывающей к вооружению с целью дать «отпор терзающему Россию черносотенному правительству». Что Совет Рабочих Депутатов ставил массам на вид необходимость вооружения и неизбежность восстания, это ясно видно из многих постановлений Совета; этого никто не может оспорить; этого прокуратуре не приходится доказывать. Она задалась целью доказать, что Исполнительный Комитет в середине ноября привел в исполнение «все свои предположения» по части вооружения масс, и что это фактически осуществленное вооружение имело своей прямой и непосредственной целью вооруженное восстание, и в виде доказательства прокуратура приводит еще одну резолюцию, которая от других отличается тем, что относительно ее не-

льзя сказать, к какому времени она относится и принималась ли она вообще Советом в какое бы то ни было время. И, наконец, именно эта сомнительная резолюция, которая должна опровергать оборонительный характер вооружения, именно она ясно и отчетливо говорит об отпоре терзающему Россию черносотенному правительству.

Однако на этом злоключения прокуратуры в вопросе о браунингах еще не заканчиваются. «Затем,—опровергает прокуратура оборонительный характер вооружения,—в бумагах Носаря найдена неизвестно кем написанная записка, указывающая на то, что Хрусталев обещал в следующем после 13 ноября заседании дать несколько револьверов Браунинга или Смита и Вессона по организационной цене, и пишущий, проживая в Колпине, просил выдать ему обещанное».

Почему автор записки, «проживая в Колпине», не мог получить револьверов «по организационной цене» для целей самообороны, а не вооруженного восстания, понять это так же трудно, как и все остальное. Однородное значение имеет и другая записка с просьбой достать револьверы.

В конце концов данные прокуратуры по вопросу о вооружении петербургских рабочих оказываются совершенно мизерными. «В документах Носаря,—жалуется обвинительный акт,—обнаружены были весьма незначительные расходы по приобретению оружия, так как (!) в бумагах его была найдена записная книжка и отдельный лист с отметками о выдаче рабочим револьверов разных систем и коробок с патронами, при чем револьверов по этим заметкам было выдано всего лишь 64 штуки».

Эти 64 штуки, как плод осуществления «всех предположений» И. К. о вооружении рабочих для январского восстания, очевидно, смущают прокуратуру. Она решается на смелый шаг: если нельзя доказать, что револьверы были куплены, остается доказать, что они могли быть куплены. С этой целью обвинительный акт предпосылает печальному итогу в виде 64 револьверов широкие перспективы финансового характера. Указав, что на заводе Общества спальных вагонов производился сбор на вооружение, обвинительный акт говорит: «Подобного рода подписки дали возможность приобрести оружие, при чем Совет Рабочих Депутатов мог, в случае надобности, приобретать оружие в большом количестве, так как располагал значительными денежными сум-

мами... Общая сумма прихода Исполнительного Комитета составляла 30.063 руб. 52 коп.».

Здесь пред нами тон и манера фельетона, не нуждающегося даже во внешнем подобии доказательности. Сперва цитируются записки и «подлинники» постановлений, чтобы затем упразднить их свидетельство простой и смелой догадкой; у Исполнительного Комитета было много денег, следовательно, у него было много оружия.

Если строить выводы по методу прокуратуры, можно сказать: в распоряжении охранных отделений много денег, следовательно, в распоряжении погромщиков—много оружия. Впрочем, такой вывод только по внешности похож на вывод обвинительного акта, ибо в то время, как каждая копейка денег Совета была на учете, что дает возможность легко опровергнуть смелую догадку прокуратуры, как явную несообразность, расходы охранных отделений представляют совершенно таинственную область, которая давно уже ждет уголовного освещения.

Чтобы покончить с соображениями и выводами обвинительной власти относительно вооружения, попытаемся представить их в законченной логической форме.

Тезис:

Около середины ноября Исполнительный Комитет вооружил петербургский пролетариат в целях вооруженного восстания.

Доказательства:

а) Один из членов Совета на собрании 6-го ноября призывал организовать рабочих в десятки и сотни.

б) Николай Немцов в середине ноября ссылался на отсутствие оружия.

в) Алексею Шишкину известно было, что на 9-е января назначено восстание.

г) «Еще в октябре» Хахарев получил револьвер для защиты от черной сотни.

д) Неизвестно к какому времени относящаяся резолюция говорит о том, что нужно оружие.

е) Неизвестный, «проживая в Колпине», просил отпустить ему револьверы «по организационной цене».

ж) Хотя установлена раздача всего лишь 64 револьверов, но у Совета были деньги, а так как деньги, это—всеобщий эквивалент, следовательно они могли быть обменены на револьверы.

Эти заключения не годятся даже, как примеры элементарных софизмов, для гимназических учебников логики до такой степени все это грубо и в грубости своей оскорбительно для нормально-организованного сознания!

На эти материалы, на эту юридическую конструкцию Судебная Палата должна будет опереть свой обвинительный приговор.

# Моя речь перед судом.

(Заседание 4—17 октября 1907 г.).

Господа судьи и господа сословные представители!

Предметом судебного разбирательства, как и предметом предварительного дознания, является, главным образом, вопрос о вооруженном восстании—вопрос, который за 50 дней существования С. Р. Д. не занимал, как это ни странно может показаться Особому Присутствию, никакого места ни на одном из заседаний Совета. Ни на одном из наших заседаний не ставился и не обсуждался вопрос о вооруженном восстании, как таковой,—больше того, ни на одном из заседаний не ставился и не обсуждался самостоятельно вопрос об Учредительном Собрании, о демократической республике и даже о всеобщей забастовке, как таковой, об ее принципиальном значении, как метода революционной борьбы. Этих коренных вопросов, дебатировавшихся в течение целого ряда лет сперва в революционной прессе, а затем на митингах и собраниях, Сов. Раб. Деп. совершенно не подвергал своему рассмотрению. Я позже скажу, чем это объясняется, и охарактеризую отношение С. Р. Д. к вооруженному восстанию. Но прежде, чем перейти к этому центральному, с точки зрения суда, вопросу,—я позволю себе обратить внимание Палаты на другой вопрос, который по отношению к первому является более общим, но менее острым,—на вопрос о применении Советом Раб. Деп. насилия вообще. Признавал ли Совет за собою право, в лице того или другого своего органа, применять в определенных случаях насилие, репрессию? На вопрос, поставленный в такой общей форме, я отвечу: д а ! Я знаю не хуже представителя обвинения, что во всяком «нормально» функционирующем государстве, какую бы форму оно ни имело, монополия насилий и репрессий принадлежит правительственной власти. Это ее «неотъемлемое» право, и к этому своему праву она относится с самой ревнивой заботли-



РАБОЧІЙ КРАСИНЪ,
ОДИНЪ ИЗЪ ОБВИНЯЕМЫХЪ ПО ДѢЛУ СОВѢТА.

востью, наблюдая, чтобы какая-либо частная корпорация не покусилась на ее монополию насилия. Государственная организация борется таким путем за существование. Стоит конкретно представить себе современное общество, эту сложную противоречивую кооперацию,—скажем в такой громадной стране, как Россия,—чтобы немедленно стало ясным, что при современном социальном строе, раздираемом антагонизмами, совершенно неизбежны репрессии. Мы не анархисты—мы социалисты. Анархисты нас называют «государственниками», ибо мы признаем историческую необходимость государства и, значит, историческую неизбежность государственного насилия. Но при условиях, созданных всеобщей политической стачкой, сущность которой заключается в том, что она парализует государственный механизм, при этих условиях старая, давно пережившая себя власть, против которой политическая стачка именно и была направлена,—оказывалась окончательно недееспособной; она совершенно не могла регулировать и охранять общественный порядок даже теми варварскими средствами, которые только и имелись в ее распоряжении. А между тем стачка выбросила из фабрик на улицы для общественно-политической жизни сотни тысяч рабочих. Кто мог руководить ими, кто мог вносить дисциплину в их ряды? Какой орган старой власти? Полиция? Жандармерия? Охранное отделение? Я спрашиваю себя—кто? и не нахожу ответа. Никто, кроме Сов. Раб. Деп. Никто! Совет, руководивший этой колоссальной стихией, ставил своей непосредственной задачей свести внутренние трения к минимуму, предотвратить эксцессы и привести неизбежные жертвы борьбы к наименьшим размерам. А если это так, то в политической стачке, которая его создала, Совет становился не чем иным, как органом самоуправления революционных масс, органом власти. Он повелевал частям целого волею целого. Это была власть демократическая, которой добровольно подчинялись. Но поскольку Совет был организованной властью огромного большинства, он неизбежно приходил к необходимости применять репрессию по отношению к тем частям массы, которые вносили анархию в ее единодушные ряды. Противопоставлять таким элементам свою силу С. Р. Д. считал себя в праве, как новая историческая власть, как единственная власть во время полного морального, политического и технического банкротства старого аппарата, как единственная гарантия неприкосновенно-

сти личности и общественного порядка, в лучшем смысле этого слова. Представители старой власти, которая вся построена на кровавой репрессии, не смеют говорить с моральным возмущением о насильственных методах Совета. Историческая власть, от лица которой здесь выступает прокурор, есть организованное насилие меньшинства над большинством. Новая власть, предтечей которой был Совет, есть организованная воля большинства, призывающая к порядку меньшинство. В этом различии—революционное право Совета на существование, стоящее выше всяких юридических и моральных сомнений.

Совет признавал за собою право применять репрессию. Но в каких случаях, в какой градации? Об этом вы слышали от сотни свидетелей. Прежде, чем перейти к репрессиям, Совет обращался со словами убеждения. Вот его истинный метод, и в применении его Совет был неутомим. Путем революционной агитации, оружием слова, Совет поднимал на ноги и подчинял своему авторитету все новые и новые массы. Если он сталкивался с сопротивлением темных или развращенных групп пролетариата, он говорил себе, что всегда будет еще достаточно рано обезвредить их физической силой. Он искал, как вы видели из свидетельских показаний, других путей. Он аппеллировал к благоразумию администрации завода, призывая ее прекратить работы, он воздействовал на темных рабочих через техников и инженеров, сочувствовавших всеобщей стачке. Он посылал депутатов к рабочим, чтобы «снимать» их с работ, и лишь в самом крайнем случае он грозил штрейкбрехерам применить к ним силу. Но применял ли он ее? Таких примеров, господа судьи, вы не видели в материалах предварительного дознания и установить их, несмотря на все усилия, не удалось и на судебном следствии. Если даже взять в серьез те более комические, чем трагические образцы «насилия», которые прошли перед судом (кто-то вошел в чужую квартиру в шапке, кто-то кого-то с обоюдного согласия арестовал...), то стоит эту шапку, которую забыли снять, сопоставить с сотнями голов, которые старая власть сплошь да рядом «снимает» по ошибке, и насилия Совета Раб. Деп. примут в наших глазах свою настоящую физиономию. А ничего другого нам и не нужно. Восстановить события того времени в их подлинном виде—наша задача, и ради нее мы, подсудимые, приняли активное участие в судебном процессе.

Стоял ли,—я ставлю здесь другой важный для суда вопрос,— Сов. Раб. Деп. в своих действиях и заявлениях на почве права и, в частности, на почве манифеста 17 (30) октября? В каких отношениях резолюции Совета об Учредительном Собрании и демократической республике стояли к октябрьскому манифесту? Вопрос, который тогда нас совершенно не занимал,—это я заявляю со всей резкостью,—но который для суда имеет теперь несомненно огромное значение. Здесь мы слышали, г-да судьи, показания свидетеля Лучинина, которые мне лично показались чрезвычайно интересными и в некоторых своих выводах меткими и глубокими. Он сказал, между прочим, что С. Р. Д., будучи республиканским по своим лозунгам, по своим принципам, по своим политическим идеалам, фактически, непосредственно, конкретно осуществлял те свободы, которые были принципиально провозглашены царским манифестом и против которых изо всех сил боролись те, которые произвели на свет самый манифест 17 октября. Да, господа судьи и господа сословные представители! Мы, революционный пролетарский Совет, фактически осуществляли и проводили свободу слова, свободу собраний и неприкосновенность личности,—все то, что было обещано народу под давлением октябрьской забастовки. Наоборот, аппарат старой власти проявлял признаки жизни только для того, чтобы рвать на части легализованные завоевания народа. Г-да судьи, это—несомненный, объективный факт, уже вошедший в историю. Его нельзя оспорить, потому что он неоспорим.

Если меня спросят, однако,—и если спросят моих товарищей,—опирались ли мы с у б ъ е к т и в н о на манифест 17 октября, то мы ответим категорическим н е т. Почему? Потому, что мы были глубоко убеждены—и мы не ошиблись,— что манифест 17 октября никакой правовой опоры не создает, что он не полагает основания новому праву, ибо новый правовой строй, г-да судьи, слагается, по нашему убеждению, не путем манифестов, а путем реальной реорганизации всего государственного аппарата. Так как мы стояли на этой материалистической, на этой единственно-правильной точке зрения, то мы считали себя в праве не питать никакого доверия к имманентной силе манифеста 17 октября. И мы об этом открыто заявляли. Но наше субъективное отношение, как людей партии, как революционеров, мне кажется, еще не определяет для суда нашего

объективного отношения, как граждан государства, к манифесту, как к формальной основе существующего государственного строя. Ибо суд, поскольку он является судом, должен в манифесте видеть такую основу, или он должен перестать существовать. В Италии есть, как известно, буржуазная парламентская республиканская партия, действующая на основании монархической конституции страны. Во всех культурных государствах легально существуют и борются социалистические партии, являющиеся республиканскими по своему существу. Спрашивается: вмещает ли нас, русских социалистов-республиканцев, манифест 17 октября? Этот вопрос должен разрешить суд. Он должен сказать, были ли мы, социал-демократы, правы, когда доказывали, что конституционный манифест представляет лишь голый перечень обещаний, которые никогда добровольно не будут исполнены, были ли мы правы в своей революционной критике бумажных гарантий, были ли мы правы, когда призывали народ к открытой борьбе за истинную и полную свободу? Или же мы были неправы? Тогда пусть суд нам скажет, что манифест 17 октября представляет действительную правовую основу, на почве которой мы, республиканцы, являлись людьми закона и права,—людьми, действовавшими «легально», вопреки нашим собственным представлениям и намерениям. Пусть манифест 17 октября скажет нам здесь устами судебного приговора: «Вы отрицали меня, но я существую для вас, как и для всей страны».

Я уже сказал, что Сов. Раб. Деп. ни разу не ставил на своих заседаниях вопроса об Учредительном Собрании и демократической республике, тем не менее, отношение его к этим лозунгам, как вы видели из речей свидетелей-рабочих, было вполне определенное. Да и как могло быть иначе? Ведь Совет возник не на пустом месте. Он явился тогда, когда русский пролетариат прошел уже сквозь 9 (22) января, через комиссию сенатора Шидловского, и вообще через долгую, слишком долгую школу российского абсолютизма. Требования Учредительного Собрания, всеобщего голосования, демократической республики еще до Совета стали центральными лозунгами революционного пролетариата—на-ряду с восьмичасовым рабочим днем. Вот почему Совету ни разу не пришлось принципиально поднимать эти вопросы,—он просто заносил их в свои резолюции, как раз-на-

всегда решенные. То же самое было в сущности с идеей восстания.

Прежде, чем перейти к этому центральному вопросу—к вооруженному восстанию, я должен предупредить, что, насколько я выяснил себе отношение обвинительной власти и отчасти власти судебной к вооруженному восстанию, оно отличается от нашего отношения не только в смысле политическом или партийном, не только в смысле оценки,—против этого было бы бесполезно бороться,—нет, самое понятие вооруженного восстания, которое имеется у прокуратуры, коренным, глубочайшим, непримиримейшим образом отличается от того понятия, какое имел Совет, и какое, я думаю, вместе с Советом, имел и имеет весь российский пролетариат.

Что такое восстание, г-да судьи? Не дворцовый переворот, не военный заговор, а восстание рабочих масс! Одному свидетелю был здесь с председательского места задан вопрос: считает ли он, что политическая стачка является восстанием? Не помню, как он ответил, но я думаю и утверждаю это, что политическая стачка, вопреки сомнению г-на председателя, есть в сущности своей восстание. Это не парадокс! Хотя и может показаться парадоксом с точки зрения обвинительного акта. Повторяю: мое представление о восстании—и я это сейчас покажу—не имеет ничего общего, кроме имени, с полицейско-прокурорской конструкцией этого понятия. Политическая стачка есть восстание, сказал я. В самом деле, что такое всеобщая политическая стачка? С экономической забастовкой она имеет лишь то общее, что как в том, так и в другом случае рабочие прекращают работу. Во всем остальном они совершенно не схожи. Стачка экономическая имеет свою определенную узкую цель—воздействовать на волю отдельного предпринимателя, выбросив его с этой целью из рядов конкуренции. Она приостанавливает работу на фабрике, чтобы добиться изменений в пределах этой фабрики. Стачка политическая глубоко отлична по природе. Она не производит вовсе давления на отдельных предпринимателей, частных экономических требований она, по общему правилу, не предъявляет—ее требования направляются через головы жестоко задеваемых ею предпринимателей и потребителей к государственной власти. Каким же образом политическая стачка действует на власть? Она парализует ее жизнедеятельность. Современное государство,

даже в такой отсталой стране, как Россия, опирается на централизованный хозяйственный организм, связанный в одно целое скелетом железных дорог и нервной системой телеграфа. И если русскому абсолютизму телеграф, железная дорога, вообще все завоевания современной техники не служат для целей культурных, хозяйственных, то они тем необходимее ему для дела репрессии. Для того, чтобы перебрасывать войска из конца в конец страны, чтобы объединять и направлять деятельность администрации в борьбе со смутой, железные дороги и телеграф являются незаменимым орудием. Что же делает политическая стачка? Она парализует хозяйственный аппарат государства, разрывает связи между отдельными частями административной машины, изолирует и обессиливает правительство. С другой стороны, она политически объединяет массу рабочих с фабрик и заводов и противопоставляет эту рабочую армию государственной власти. В этом, господа судьи, и есть сущность восстания. Объединить пролетарские массы в одном революционном протесте и противопоставить их организованной государственной власти, как врага врагу, это и есть восстание, г-да судьи, как понимал его С. Р. Д. и как понимаю его я. Такое революционное столкновение двух враждебных сторон мы видели уже во время октябрьской забастовки, которая разыгралась стихийно, без Сов. Раб. Деп., которая сложилась до С. Р. Д., которая создала самый С. Р. Д. Октябрьская забастовка породила государственную «анархию», и в результате этой анархии явился манифест 17 октября. Этого, надеюсь, не будет отрицать и прокуратура, как не отрицают этого самые консервативные политики и публицисты, вплоть до официозного «Нового Времени», которое очень желало бы вычеркнуть рожденный революцией манифест 17 октября из целого ряда других манифестов с ним однородных или ему противоречащих. Еще на-днях «Н. Вр.» писало, что манифест 17 октября был результатом правительственной паники, созданной политической стачкой. Но если этот манифест является основой всего современного строя, то мы должны признать, г.г. судьи, что в основе нашего нынешнего государственного строя лежит паника, а в основе этой паники—политическая стачка пролетариата. Как видите, всеобщая стачка есть нечто большее, чем простое прекращение работ.



ЧЕРНОРАБОЧИЙ СЕЛИВЕСТРОВ,
ОДИН ИЗ ОБВИНЯЕМЫХ ПО ДЕЛУ СОВЕТА.

Я сказал, что политическая стачка, как только она перестает быть демонстрацией, является в существе своем восстанием; вернее было бы сказать: основным, наиболее общим методом пролетарского восстания. Основным, но не исчерпывающим. Метод политической стачки имеет свои естественные пределы. И это сейчас же сказалось, как только рабочие по призыву Совета снова приступили к работам 21 октября (3 ноября) в 12 час. дня.

Манифест 17 октября был встречен вотумом недоверия; массы вполне основательно опасались, что правительство не осуществит обещанных свобод. Пролетариат видел неизбежность решительной борьбы и инстинктивно тянулся к Совету, как к средоточию своей революционной силы. С другой стороны, оправившийся от паники абсолютизм восстановлял свой полуразрушенный аппарат и приводил в порядок свои полки. В результате этого оказалось, что после октябрьского столкновения имеются две власти: новая, народная, опирающаяся на массы—такой властью был Сов. Раб. Деп.,—и старая, официальная, опирающаяся на армию. Эти две силы не могли рядом существовать: упрочение одной грозило гибелью другой.

Самодержавие, опирающееся на штыки, естественно, стремилось внести смуту, хаос и разложение в тот колоссальный процесс сплочения народных сил, центром которого являлся Сов. Раб. Деп. С другой стороны, Совет, опиравшийся на доверие, на дисциплину, на активность, на единодушие рабочих масс, не мог не понимать, какую страшную угрозу народной свободе, гражданским правам и личной неприкосновенности представляет тот факт, что армия и все вообще материальные орудия власти находятся в тех же самых кровавых руках, в каких были до 17 октября. Начинается титаническая борьба этих двух органов власти за влияние на армию—второй этап нараставшего народного восстания. На основе массовой стачки, враждебно противопоставившей пролетариат абсолютизму, возникает напряженное стремление перетянуть на свою сторону войска, побрататься с ними, овладеть их душой. Из этого стремления естественно возникает революционный призыв к солдатам, на которых опирается абсолютизм. Вторая ноябрьская стачка была могучей и прекрасной демонстрацией солидарности фабрики и казармы. Конечно, если бы армия перешла на сторону на-

рода, в восстании не было бы нужды. Но мыслим ли такой мирный переход армии в ряды революции? Нет, не мыслим! Абсолютизм не станет дожидаться, сложа руки, пока освободившаяся из-под его развращающего влияния армия станет другом народа. Абсолютизм возьмет, пока еще не все потеряно, инициативу наступления на себя. Понимали ли это петербургские рабочие? Да, они это понимали. Думал ли пролетариат, думал ли Совет Раб. Деп., что дело неизбежно дойдет до открытого столкновения двух сторон? Да, он это думал, он в этом не сомневался, он знал, твердо знал, что рано или поздно пробьет роковой час...

Разумеется, если бы организация общественных сил, не прерываемая никакими атаками вооруженной контр-революции, шла вперед тем же путем, на какой она вступила под руководством С. Р. Д., то старый строй оказался бы уничтоженным без применения малейшего насилия. Ибо, что мы видели? Мы наблюдали, как рабочие сплачиваются вокруг Совета, как крестьянский союз, охватывающий все большие массы крестьян, посылает в него своих депутатов, как объединяются с Советом железнодорожный и почтово-телеграфный союзы; мы видели, как тяготеет к Совету организация либеральных профессий, Союз Союзов; мы видели, как терпимо и почти благожелательно относилась к Совету даже заводская администрация. Казалось, вся нация делала какое-то героическое усилие—стремилась выдавить из недр своих такой орган власти, который заложил бы действительные, несомненные основы нового строя до созыва Учредительного Собрания. Если б в эту органическую работу не врывалась старая государственная власть, если бы она не стремилась внести в национальную жизнь действительную анархию, если бы этот процесс организации сил развивался вполне свободно,—в результате получилась бы новая возрожденная Россия—без насилий, без пролития крови.

Но в том-то и дело, что мы ни на минуту не верили, что процесс освобождения сложится таким образом. Мы слишком хорошо знали, ч т о такое старая власть. Мы, социал-демократы, были уверены, что, несмотря на манифест, который имел вид решительного разрыва с прошлым, старый правительственный аппарат не устранится добровольно, не передаст власти народу и не уступит ни одной из своих важных позиций; мы предвидели

и открыто предупреждали народ, что абсолютизм сделает еще много судорожных попыток удержать оставшуюся власть в своих руках и даже вернуть все то, что было им торжественно отдано. Вот почему восстание, вооруженное восстание, г-да судьи, было с нашей точки зрения неизбежностью,—оно было и остается исторической необходимостью в процессе борьбы народа с военно-полицейским порядком. В октябре и ноябре эта идея царила на всех митингах и собраниях, господствовала во всей революционной прессе, наполняла собою всю политическую атмосферу и, так или иначе, кристаллизовалась в сознании каждого члена Совета Депутатов; вот почему она, естественно, входила в резолюции нашего Совета, и вот почему нам совсем не приходилось ее обсуждать.

Напряженное положение, которое мы получили в наследство от октябрьской стачки: революционная организация масс, борющаяся за свое существование, опирающаяся не на право, которого нет, а на силу, поскольку она есть,—и вооруженная контр-революция, выжидающая часа для своей мести, это положение было, если позволено так сказать, алгебраической формулой восстания. Новые события вводили в нее только новые числовые значения. Идея вооруженного восстания,—вопреки поверхностному заключению прокуратуры,—оставила свой след не только в постановлении Совета от 27 ноября, т.-е. за неделю до нашего ареста, где она выражена ясно и отчетливо, нет, с самого начала деятельности Совета Р. Д., в резолюции, возвестившей отмену похоронной демонстрации, как и позже в резолюции, провозгласившей прекращение ноябрьской забастовки, в целом ряде других постановлений Совет говорил о вооруженном конфликте с правительством, о последнем штурме или о последнем бое, как о неизбежном моменте борьбы,—так под различной формой, но одна и та же по существу идея вооруженного восстания красной нитью проходит через все постановления Сов. Раб. Депутатов.

Но как понимал Совет эти свои постановления? Думал ли он, что вооруженное восстание есть предприятие, которое создается в подполье и затем в готовом виде выносится на улицу? Полагал ли он, что это есть инсуррекционный акт, который можно разыграть по определенному плану? Разрабатывал ли Исполнительный Комитет технику уличной борьбы?

Разумеется, нет! И это не может не ставить втупик автора обвинительного акта, останавливающегося в недоумении перед теми несколькими десятками револьверов, которые составляют в его глазах единственный подлинный реквизит вооруженного восстания. Но взгляд прокуратуры есть только взгляд нашего уголовного права, которое знает заговорщическое сообщество, но не имеет понятия об организации масс, которое знает покушение и мятеж, но не знает и не может знать революции.

Юридические понятия, лежащие в основе настоящего процесса, отстали от эволюции революционного движения на много десятков лет. Современное русское рабочее движение не имеет ничего общего с понятием заговора, как его трактует наше уголовное уложение, которое, в сущности, не изменилось после Сперанского, жившего в эпоху карбонариев. Вот почему попытка втиснуть деятельность Совета в тесные рамки 100 и 101 статей является, с точки зрения юридической логики, совершенно безнадежной.

И, тем не менее, наша деятельность была революционной. И, тем не менее, мы, действительно, готовились к вооруженному восстанию.

Восстание масс не делается, г-да судьи, а совершается. Оно есть результат социальных отношений, а не продукт плана. Его нельзя создать, его можно предвидеть. В силу причин, которые от нас зависят так же мало, как и от царизма, открытый конфликт стал неизбежен. Каждый день он все ближе и ближе надвигался на нас. Готовиться к нему для нас означало сделать все, что можно, чтобы свести к минимуму жертвы этого неизбежного конфликта. Думали ли мы, что для этого нужно прежде всего заготовить оружие, составить план военных действий, назначить для участников восстания места, разбить город на определенные части,—словом, сделать то, что делает военная власть в ожидании «беспорядков», когда разделяет Петербург на части, назначает полковников для каждой части, передает им определенное количество пулеметов—и всего того, что необходимо для пулеметов. Нет, мы не так понимали свою роль. Готовиться к неизбежному восстанию,—а мы, г-да судьи, никогда не готовили восстания, как думает и выражается прокуратура, мы готовились к восстанию—для нас это, прежде всего, означало просветлять сознание народа, разъяснять

ему, что открытый конфликт неизбежен, что все то, что дано, опять будет отнято, что только сила может отстоять право, что необходима могучая организация революционных масс, что необходимо грудью встретить врага, что необходима готовность итти в борьбе до конца, что иного пути нет. Вот в чем состояла для нас сущность подготовки к восстанию.

При каких условиях, думали мы, восстание может привести нас к победе? При сочувствии войск! Нужно было, прежде всего, привлечь на свою сторону армию. Заставить солдат понять ту позорную роль, которую они теперь играют, и призвать их к дружной работе с народом и для народа,—вот какую задачу мы ставили себе в первую голову. Я сказал уже, что ноябрьская стачка, которая была бескорыстным порывом непосредственного братского сочувствия к матросам, которым грозила смерть, имела также и огромный политический смысл: она привлекала к революционному пролетариату внимание и симпатию армии. Вот где господину прокурору следовало, прежде всего, искать подготовки к вооруженному восстанию. Но, разумеется, одна демонстрация симпатии и протеста не могла решить вопрос. При каких же условиях, думали мы тогда и думаем сейчас, можно ждать перехода армии на сторону революции? Что для этого нужно? Пулеметы, ружья? Конечно, если бы рабочие массы имели пулеметы и ружья, то в их руках была бы огромная сила. Этим в значительной мере устранялась бы самая неизбежность восстания. Колеблющаяся армия сложила бы свое оружие у ног вооруженного народа. Но оружия у массы не было, нет, и в большом количестве не может быть. Значит ли это, что масса обречена на поражение? Нет! Как ни важно оружие, но не в оружии, г-да судьи, главная сила. Нет, не в оружии! Неспособность массы убивать, а ее великая готовность умирать—вот что, г-да судьи, с нашей точки зрения, обеспечивает в конечном счете победу народному восстанию.

Когда солдаты, выйдя на улицу для усмирения толпы, окажутся с ней лицом к лицу и увидят и убедятся, что эта толпа, что этот народ не сойдет с мостовых, пока не добьется того, что ему нужно; что он готов нагромождать трупы на трупы; когда они увидят и убедятся, что народ пришел бороться серьезно, до конца,—тогда сердце солдат, как это было во всех революциях, неизбежно дрогнет, ибо они не смогут не усомниться в прочности

порядка, которому служат, не смогут не уверовать в победу народа.

Восстание привыкли соединять с баррикадами. Если даже оставить в стороне вопрос о том, что баррикада слишком сильно окрашивает обычное представление о восстании, то и тогда не нужно забывать, что даже баррикада, этот, повидимому, чисто механический элемент восстания, играет по существу, главным образом, моральную роль. Ибо баррикады во всех революциях имели вовсе не то значение, какое имеют крепости во время войны, как физические преграды,—баррикада служила делу восстания тем, что, образуя временное препятствие для передвижений армии, она приводила ее в близкое соприкосновение с народом. Здесь, у баррикады, солдат слышал, может быть, впервые в своей жизни, честную человеческую речь, братский призыв, голос народной совести,—и вот в результате этого общения солдат и граждан, в атмосфере революционного энтузиазма, дисциплина распадалась, растворялась, исчезала. Это, и только это, обеспечивало победу народному восстанию. Вот почему, по нашему мнению, народное восстание «готово» не тогда, когда народ вооружен пулеметами и пушками,—ибо в таком случае оно никогда не было бы готово,—а тогда, когда он вооружен готовностью умирать в открытой уличной борьбе.

Но, разумеется, старая власть, которая видела нарастание этого великого чувства, этой способности умирать во имя интересов родной страны, отдавать свою жизнь для счастья будущих поколений, которая видела, что этим энтузиазмом, ей самой чуждым, ей незнакомым, ей враждебным, заражаются массы, эта осажденная власть не могла спокойно относиться к совершающемуся на ее глазах моральному перерождению народа. Пассивно ждать,—значило бы для царского правительства обречь себя на упразднение. Это было ясно. Что же оставалось делать? Из последних сил и всеми средствами бороться против политического самоопределения народа. Для этого одинаково годилась и темная армия и черная сотня, агенты полиции и продажная пресса. Натравливать одних на других, заливать кровью улицы, грабить, насиловать, поджигать, вносить панику, лгать, обманывать, клеветать,—вот что оставалось старой преступной власти. И все это она делала и делает по сей день. Если открытое столк-

новение было неизбежно, то не мы во всяком случае, а наши смертельные враги стремились приблизить его час.

Вы слышали здесь уже не раз, что рабочие вооружались в октябре и ноябре против черной сотни. Если не знать ничего о том, что делается за пределами этого зала, может показаться совершенно непонятным, как это в революционной стране, где громадное большинство населения на стороне освободительных идеалов, где народные массы открыто проявляют свою готовность бороться до конца, как это в такой стране сотни тысяч рабочих вооружаются для борьбы с черной сотней, представляющей слабую, ничтожную долю населения. Неужели же они так опасны, эти подонки, эти отребья общества,—во всех его слоях? Разумеется, нет! Как легка была бы задача, если б только жалкие банды черной сотни преграждали народу путь. Но мы слышали не только от свидетеля адвоката Брамсона, но и от сотен свидетелей-рабочих, что за черной сотней стоит если не вся государственная власть, то ее добрая доля; что за бандами хулиганов, которым нечего терять и которые ни перед чем не останавливаются—ни перед сединами старика, ни перед беззащитной женщиной, ни пред ребенком,—стоят агенты правительства, которые организуют и вооружают черные сотни, надо думать из средств государственного бюджета.

Да разве мы, наконец, этого не знали до настоящего процесса? Разве мы не читали газет? Разве мы не слышали речей очевидцев, не получали писем, не наблюдали сами? Разве нам остались неизвестны потрясающие разоблачения князя Урусова? Прокуратура всему этому не верит. Она не может этому верить, иначе ей пришлось бы направить жало обвинения против тех, кого она теперь защищает, ей пришлось бы признать, что русский гражданин, вооружающийся револьвером против полиции, действует в состоянии необходимой самообороны. Но верит ли суд в погромную деятельность властей, или нет, это в сущности безразлично. Для суда достаточно того, что мы этому верим, что в этом убеждены те сотни тысяч рабочих, которые вооружались по нашему призыву. Для нас стояло вне всякого сомнения, что за декоративными бандами хулиганов стоит властная рука правящей клики. Господа судьи, эту зловещую руку мы видим и сейчас.

Обвинительная власть приглашает вас, г-да судьи, признать, что Совет Рабочих Депутатов вооружал рабочих непосред-

ственно для борьбы против существующего «образа правления». Если меня категорически спросят—так ли это? Я отвечу—да!.. Да, я согласен принять это обвинение, но при одном условии. Я не знаю, примет ли это условие прокуратура и примет ли его суд.

Я спрошу: что понимает, наконец, обвинение под «образом правления»? Подлинно ли существует у нас какой-нибудь образ правления? Правительство давно уже сдвинулось с нации на свой военно-полицейско-черносотенный аппарат. То, что у нас есть, это не национальная власть, а автомат массовых убийств. Иначе я не могу определить той правительственной машины, которая режет на части живое тело нашей страны. И если мне скажут, что погромы, убийства, поджоги, насилия..., если мне скажут, что все происходившее в Твери, Ростове, Курске, Седлеце..., если мне скажут, что Кишинев, Одесса, Белосток есть образ правления Российской империи,—тогда я признаю вместе с прокуратурой, что в октябре и ноябре мы прямо и непосредственно вооружались против образа правления Российской империи.

---



РАБОЧИЙ ФИЛИППОВ, ОДИН ИЗ ОБВИНЯЕМЫХ.

# Туда.

(Из писем).

3 января 1907 г. Вот уже часа два-три, как мы в пересыльной тюрьме. Признаюсь, я с нервным беспокойством расставался со своей камерой в «Предварилке». Я так привык к этой маленькой каюте, в которой была полная возможность работать. В пересыльной, как мы знали, нас должны поместить в общую камеру,—что может быть утомительнее этого? А далее—столь знакомые мне грязь, суматоха и бестолковщина этапного пути. Кто знает, сколько времени пройдет, пока мы доедем до места? И кто предскажет, когда мы вернемся обратно? Не лучше ли было бы попрежнему сидеть в № 462, читать, писать и—ждать?.. Для меня, как вы знаете, большой нравственный подвиг—переселиться с квартиры на квартиру. А переезд из тюрьмы в тюрьму стократ мучительнее. Новая администрация, новые трения, новые усилия, направленные на то, чтобы создать не слишком безобразные отношения. Впереди же предстоит непрерывная смена начальственных фигур, начиная с администрации петербургской пересыльной тюръмы и кончая стражником сибирского села на месте ссылки. Я уже проделывал однажды этот курс и теперь без особенного вкуса приступаю к его повторению.

Нас перевезли сюда сегодня внезапно, без предупреждения. В приемной заставили переодеться в арестантское платье. Мы проделали эту процедуру с любопытством школьников. Было интересно видеть друг друга в серых брюках, сером армяке и серой шапке. Классического туза на спине, однако, нет. Нам разрешили сохранить свое белье и свою обувь. Большой взбудораженной компанией мы ввалились в наших новых нарядах в камеру...

Отношение к нам здешней администрации, вопреки дурным слухам о «Пересылке», оказалось весьма приличным, в неко-

торых отношениях даже предупредительным. Есть основания предполагать, что тут не обошлось без специальных инструкций: наблюдать зорко, но инцидентов не создавать.

Самый день отъезда попрежнему окружают величайшей таинственностью: очевидно, боятся демонстраций и попыток насильственного освобождения в пути. Боятся и принимают необходимые меры; но при настоящих условиях подобная попытка была бы настоящей бессмыслицей.

10 января. Пишу вам на ходу поезда... Извините поэтому мой небрежный почерк... Теперь часов 9 утра.

Нас разбудил сегодня ночью, в половине четвертого, старший надзиратель,—большинство из нас едва успело перед тем улечься, увлеченное шахматной игрой,—и заявил, что в шесть часов нас отправляют. Мы так долго ждали отправки, что час отъезда поразил нас своей... неожиданностью.

Дальше все, как следует. Спеша и путаясь, мы уложили вещи. Затем спустились в приемную, куда привели и женщин с детьми. Здесь нас «принял» конвой и спешно осмотрел вещи. Сонный помощник сдал офицеру наши деньги. Затем нас усадили в арестантские кареты и под усиленным конвоем доставили на Николаевский вокзал. Куда поедем, мы еще не знали. Замечательно, что наш конвой сегодня экстренно прибыл из Москвы: очевидно, на петербургский не полагались. Офицер при приеме был очень любезен, но на все запросы с нашей стороны отзывался полным неведением. Он заявил, что нами заведует жандармский полковник, который отдает все распоряжения. Ему же, офицеру, приказано нас доставить на вокзал—и только. Возможно, конечно, что правительство действительно было до такой степени осторожно, но, с другой стороны, не исключена возможность, что это была простая дипломатия со стороны офицера.

Вот уже с час, как мы едем, и до сих пор не знаем—на Москву или на Вологду. Солдаты тоже не знают,—эти уж действительно не знают.

Вагон у нас отдельный, третьего класса, хороший, для каждого спальное место. Для вещей—тоже специальный вагон, в котором, по словам конвойных, помещаются десять сопровождающих нас жандармов под командой полковника.

Мы разместились с чувством людей, которым безразлично, каким путем их везут: все равно привезут куда надо...

Оказывается, едем на Вологду: кто-то из наших определил путь по названию станции. Значит, будем в Тюмени через четыре дня.

Публика очень оживлена, езда развлекает и возбуждает после тринадцатимесячного сидения в тюрьме. Хотя на окнах вагона решетки, но сейчас за ними—свобода, жизнь и движение... Скоро ли доведется возвращаться по этим рельсам?.. Прощай, милый друг.

11 января. Если конвойный офицер предупредителен и вежлив, то о команде и говорить нечего: почти вся она читала отчет о нашем процессе и относится к нам с величайшим сочувствием. Интересная подробность. До последней минуты солдаты не знали, кого и куда везут. По предосторожностям, с какими их внезапно доставили из Москвы в Петербург, они думали, что им придется везти нас в Шлиссельбург на казнь. В приемной «Пересылки» я заметил, что конвойные очень взволнованы и как-то странно услужливы, с оттенком виноватости. Только в вагоне я узнал причину... Как они обрадовались, когда узнали, что перед ними—«рабочие депутаты», осужденные только лишь в ссылку.

Жандармы, образующие сверх-конвой, к нам в вагон совершенно не показываются. Они несут внешнюю охрану: окружают вагон на станциях, стоят на часах у наружной стороны двери, а, главным образом, повидимому, наблюдают за конвойными. Так, по крайней мере, думают сами солдаты.

О снабжении нас водой, кипятком, обедом предупреждают заранее по телеграфу. С этой стороны мы едем со всяческими удобствами. Недаром же какой-то станционный буфетчик составил столь высокое о нас мнение, что предложил нам через конвой тридцать устриц. По этому поводу было много веселья. Но от устриц мы все-таки отказались.

12 января. Все больше и больше удаляемся от вас. С первого же дня публика разбилась на несколько «семейно-бытовых» групп, и так как в вагоне тесно, то им приходится жить обособленно друг от друга. Только доктор (с.-р. Фейт) не примыкает ни к одной: с засученными рукавами, деятельный и неутомимый, он руководит всеми.

У нас в вагоне, как вы знаете, четверо детей. Но они ведут себя идеально, т.-е. так, что забываешь об их существовании.

С конвойными их соединяет самая тесная дружба. Косолапые солдаты проявляют к ним величайшую нежность...

...Как «они» нас охраняют! На каждой станции вагон окружается жандармами, а на больших—сверх того и стражниками. Жандармы, кроме ружей, держат в руках револьверы и грозят ими всякому, кто случайно или из любопытства приблизится к вагону. Такой охраной в настоящее время пользуются две категории лиц: особо важные «преступники» и особо прославленные министры.

Тактика по отношению к нам выработана вполне определенная. Мы выяснили ее себе еще в пересыльной тюрьме. С одной стороны, зоркая бдительность, с другой—джентльменство в пределах законности. В этом виден конституционный гений Столыпина. Но нельзя сомневаться, что хитрая механика сорвется. Вопрос только в том: со стороны ли бдительности или со стороны джентльменства?

Сейчас приехали в Вятку. Стоим. Какую встречу нам устроила вотятская бюрократия! Хотел бы я, чтобы вы на это посмотрели. С обеих сторон вагона по полуроте солдат шеренгой. Во втором ряду—земские стражники с ружьями за плечом. Офицеры, исправник, пристава и пр. У самого вагона, как всегда, жандармы. Словом, целая военная демонстрация. Это, очевидно, князь Горчаков, местный помпадур, в дополнение к петербургской инструкции подарил нас отсебятиной. Наша публика обижается, почему нет артиллерии. Поистине трудно представить себе что-нибудь более нелепо-трусливое. Это сплошная карикатура на «сильную власть». Мы имеем некоторое право гордиться: очевидно, и мертвый Совет им страшен.

Трусость и глупость—как часто они становятся оборотной стороной бдительности и джентльменства! Чтобы скрыть наш маршрут, который скрыть невозможно,—очевидно, именно для этого, ибо другой цели не подберешь,—нам запрещают с дороги писать письма. Таково распоряжение незримого полковника на основании петербургской «инструкции». Но мы с первого же дня поездки начали писать письма в надежде, что удастся отправить. И не ошиблись. Инструкция не предусмотрела, что у нее совершенно нет верных слуг, тогда как мы со всех сторон окружены друзьями.

16 января. Пишу при таких условиях. Мы стоим в деревне в двадцати верстах от Тюмени. Ночь. Крестьянская изба.

Низкая, грязная комната. Весь пол без всяких промежутков покрыт телами членов Совета Рабочих Депутатов...

Еще не спят, разговаривают, смеются... Мне по жребию, который метали три претендента, досталась широкая лавка-диван. Мне всегда везет в жизни. В Тюмени мы пробыли трое суток. Встретили нас—к чему мы уже успели привыкнуть—при огромном числе солдат, пеших и конных. Верховые («охотники») гарцовали, прогоняя уличных мальчишек. От вокзала до тюрьмы шли пешком.

Отношение к нам по-прежнему крайне предупредительное, даже до чрезмерности, но в то же время меры предосторожности становятся все строже, даже до суеверия.

Так, например, нам здесь по телефону доставили товары из всех магазинов на выбор и в то же время не дали прогулки во дворе тюрьмы. Первое—любезность, второе—беззаконие. Из Тюмени мы отправились на лошадях, при чем на нас, 14 ссыльных, дали 52 (пятьдесят два) конвойных солдата, не считая капитана, пристава и урядника. Это нечто небывалое. Все изумляются, в том числе солдаты, капитан, пристав и урядник. Но такова «инструкция». Едем теперь в Тобольск, подвигаемся крайне медленно. Сегодня, например, за день мы проехали только 20 верст. Приехали на этап в час дня. Почему бы не ехать дальше? Нельзя. Почему нельзя? Инструкция!—Во избежание побегов не хотят нас возить вечером, в чем есть еще тень смысла. Но в Петербурге настолько не доверяют инициативе местных властей, что составили поверстный маршрут. Какая деловитость со стороны департамента полиции! И вот теперь мы 3—4 часа в сутки едем, а 20 часов стоим. При такой езде весь путь до Тобольска—250 в.—сделаем дней в десять, следовательно, в Тобольске будем 25—26 января. Сколько там простоим, когда и куда выедем—неизвестно, т.-е., вернее, нам не говорят.

Идет под нами около 40 саней. На передних вещи. На следующих—мы, «депутаты», попарно. На каждую пару два солдата. На сани—одна лошадь. Сзади ряд саней, нагруженных одними солдатами. Офицер с приставом впереди поезда, в крытой «кошеве». Едем шагом. Из Тюмени нас на протяжении нескольких верст провожали 20—30 верховых «охотников». Словом, если принять во внимание, что все эти неслыханные и невиданные меры предосторожности принимаются по распоряжению из Пе-

тербурга, то придется притти к выводу, что нас хотят во что бы то ни стало доставить в самое укромное место. Нельзя же думать, что это путешествие с королевской свитой есть простая канцелярская причуда... Это может создать впереди серьезные затруднения...

Все уже спят. В соседней кухне, дверь в которую открыта, дежурят солдаты. За окном прохаживаются часовые. Ночь великолепная, лунная, голубая, вся в снегу. Какая странная обстановка—эти простертые на полу тела в тяжелом сне, эти солдаты у двери и окон... Но так как я проделываю все это вторично, то нет уже свежести впечатлений... и как «Кресты» мне казались продолжением одесской тюрьмы, которая построена по их образцу, так эта поездка кажется мне временно прерванным продолжением этапного пути в Иркутскую губернию...

В тюменской тюрьме было множество политических, главным образом, административно-ссыльных. Они собрались на прогулке под нашим окном, приветствовали нас песнями и даже выкинули красное знамя с надписью: «Да здравствует революция!». Хор у них недурной: очевидно, давно сидят вместе и успели спеться... Сцена была довольно внушительная и, если хотите, в своем роде трогательная.—Через форточку мы ответили им несколькими словами привета. В той же тюрьме уголовные арестанты подали нам длиннейшее прошение, в котором умоляли в прозе и в стихах нас, «сановных революционеров из Петербурга», протянуть им руку помощи. Мы хотели было передать немного денег наиболее нуждающимся политическим ссыльным, а среди них многие без белья и теплой одежды, но тюремная администрация отказала наотрез. «Инструкция» воспрещает какие бы то ни было сношения «депутатов» с другими политическими. Даже через посредство безличных кредитных знаков? Да. Какая предусмотрительность!

Из Тюмени нам не разрешили отправить телеграммы, дабы законспирировать место и время нашего пребывания. Какая бессмыслица! Как будто военные демонстрации по пути не указывают всем зевакам наш маршрут.

18 января. Покровское. Пишу с третьего этапного пункта. Изнемогаем от медленной езды. Делаем не больше шести верст в час, едем не больше четырех-пяти часов в сутки. Хорошо, что холода невелики:—20—25—30° R. А недели три тому назад

морозы доходили здесь до 52° R. Каково бы нам пришлось с малыми ребятами при такой температуре!

Остается еще неделя езды до Тобольска. Никаких газет, никаких писем, никаких известий. Отсюда писать приходится без уверенности, что письмо дойдет по назначению: нам все еще запрещено писать с дороги, и мы вынуждены пользоваться всякими случайными и не всегда надежными путями. Но в сущности, все это пустяки. Одеты мы все тепло и с наслаждением дышим прекрасным морозным воздухом после подлой атмосферы одиночной камеры. Как хотите, но в тот период, когда формировался человеческий организм, он, очевидно, не имел случая приспособиться к обстановке одиночного заключения..

Гейне писал в 1843 году в своих «Парижских письмах»: «В этой стране общественности одиночное заключение, пенсильванская метода, было бы неслыханной жестокостью, и французский народ слишком великодушен для того, чтобы решиться покупать свое общественное спокойствие такой ценой. Вследствие этого я убежден, что даже после изъявления на то согласия палат, ужасная, бесчеловечная, даже противоестественная система одиночного заключения не будет осуществлена, и что многие миллионы, которых стоят необходимые постройки—слава богу, пропащие деньги. Эти замки нового буржуазного рыцарства народ разобьет с таким же негодованием, с каким он разрушил некогда дворянскую Бастилию. Как ни страшен и мрачен был внешний вид этой последней, но она все-таки была светлым киоском, веселым павильоном, в сравнении с этими маленькими безмолвными американскими пещерами, которые мог придумать только тупоголовый пиэтист и одобрить только бессердечный торгаш, дрожащий за свою собственность».

Все это верно и хорошо сказано. Но я все же предпочитаю одиночку.

Все оставалось таким же в Сибири, каким было 5—6 лет тому назад,—и в то же время все изменилось: изменились не только сибирские солдаты,—и до какой степени!—изменились также сибирские «челдоны» (крестьяне); разговаривают на политические темы, спрашивают, скоро ли «это» кончится. Мальчик-возница, лет тринадцати,—он уверяет, что ему пятнадцать,—горланит всю дорогу: «Вставай, подымайся, рабочий народ! Вставай на борьбу, люд голодный!». Солдаты с очевидным располо-

жением к певцу дразнят его, угрожая донести офицеру. Но мальчишка прекрасно понимает, что все за него, и безбоязненно призывает к борьбе «рабочий народ»...

Первая стоянка, с которой я писал вам, была в скверной мужицкой избе. Две другие—в казенных этапных домах, не менее грязных, но более удобных. Есть женское, есть мужское отделение, есть кухня. Спим на нарах. Опрятность приходится соблюдать только крайне относительную. Это, пожалуй, самая тягостная сторона путешествия.

Сюда, в этапные дома, к нам приходят бабы и мужики с молоком, творогом, поросятами, шаньгами (лепешками) и прочей снедью. Их допускают, что в сущности незаконно. «Инструкция» воспрещает какие бы то ни было сношения с посторонними. Но иным путем конвою трудно было бы организовать наше пропитание.

Порядок среди нас наблюдает наш суверенный староста Ф., которого все—мы, офицер, солдаты, полиция, бабы-торговки—называем просто «доктором». Он обнаруживает неисчерпываемую энергию: упаковывает, покупает, варит, кормит, учит петь, командует и пр. и пр. В помощь ему по очереди наряжаются «дежурные», которые похожи друг на друга в том отношении, что все почти ничего не делают... Сейчас у нас готовят ужин, готовят шумно и оживленно. «Доктор требует ножа»... «Доктор просит масла»... «Господин дежурный, потрудитесь вынести помои»... Голос доктора: «Вы не едите рыбы? Я для вас могу поджарить котлету: мне все равно»... После ужина сервируют на нарах чай. «По чаю» у нас дежурят дамы: таков порядок, установленный доктором.

23 января. Пишу вам с предпоследней стоянки перед Тобольском. Здесь прекрасный этапный дом, новый, просторный и чистый. После грязи последних этапов мы отдыхаем душой и телом. До Тобольска осталось верст 60. Если б вы знали, как мы в последние дни мечтаем о «настоящей» тюрьме, в которой можно было бы, как следует, умыться и отдохнуть. Здесь живет всего один политический ссыльно-поселенец, бывший сиделец винной лавки в Одессе, осужденный за пропаганду среди солдат. Он приходил к нам с продуктами на этап и рассказывал об условиях жизни в Тобольской губернии. Большая часть ссыльных, как поселенцев, так и «административных», живет в окрестностях Тобольска, верстах в 100—150 по деревням. Есть, однако, ссыльные

и в Березовском уезде. Там жизнь несравненно тяжелее и нуждающихся больше. Побеги отовсюду бесчисленны. Надзора почти нет, да он и невозможен. Ловят «беглых», главным образом, в Тюмени (отправной пункт ж. д.) и вообще по железнодорожной линии. Но процент пойманных незначителен.

Вчера мы случайно прочитали в старой тюменской газете о двух недоставленных телеграммах, мне и С., адресованных в пересыльную тюрьму. Телеграммы пришли как раз в то время, когда мы были в Тюмени. Администрация не приняла их, все из тех же конспиративных соображений, смысл которых непонятен ни ей, ни нам. Охраняют нас в пути очень тщательно. Капитан совсем замучил солдат, назначая по ночам непомерные дежурства не только у этапного дома, но и по всему селу. И тем не менее уже можно заметить, как по мере нашего передвижения к северу «режим» начинает оттаивать: нас уже начали выпускать под конвоем в лавки, мы группами ходим по селу и иногда заходим к местным ссыльным. Солдаты очень покровительствуют нам: их сближает с нами оппозиция к капитану. В самом затруднительном положении оказывается унтер, как связующее звено между офицером и солдатами.

— Нет, господа,—сказал он нам однажды при солдатах,—теперь уж унтер не тот, что прежде...

— Бывает и теперь иной, что хочет, как прежде...—раздалось из групп солдат.—Только наломают ему хвост, он и станет как шелковый...

Все засмеялись. Засмеялся и унтер, но не весьма веселым смехом.

26 января. Тобольская тюрьма. За два станка до Тобольска к нам навстречу выехал помощник исправника, с одной стороны, для вящшей охраны, с другой—для усугубленной любезности. Караулы были усилены. Хождения по лавкам прекратились. С другой стороны семейным были предоставлены крытые кибитки. Бдительность и джентльменство. Верст за 10 до города нам навстречу выехали двое ссыльных. Как только офицер увидел их, он немедленно «принял» меры: проехал вдоль всего нашего поезда и приказал солдатам спешиться (до этого солдаты ехали в санях). Так мы и двигались все десять верст. Солдаты, ругая на чем свет офицера, шли пешком с обеих сторон дороги с ружьями на плечо.

Но тут я должен прервать свое описание: доктор, которого только что вызвали в контору, сообщил нам следующее: нас всех отправляют в село Обдорское, будем ехать по 40—50 верст в день под военным конвоем. До Обдорского отсюда свыше 1.200 верст зимним трактом. Значит, при самом благополучном передвижении, при постоянной наличности лошадей, при отсутствии остановок, вызываемых заболеваниями и пр., мы будем ехать больше месяца. На месте ссылки будем получать пособие в размере 1 р. 80 к. в месяц.

Особенно тяжела сейчас езда с маленькими детьми в течение месяца. Говорят, что от Березова до Обдорска придется ехать на оленях. Это известие особенно неприятно поразило тех, кто ехал с семьями. Местная администрация уверяет, что наш нелепый маршрут (40 верст вместо 100 в день) предписан из Петербурга, как и все вообще мелочи нашего препровождения на место ссылки. Тамошние канцелярские мудрецы все предвидели, чтобы не дать нам бежать. И нужно отдать им справедливость: девять мер из десяти, ими предписанных, лишены всякого смысла. «Добровольно следующие» жены ходатайствовали о том, чтобы их здесь выпустили из тюрьмы на те три дня, которые мы пробудем в Тобольске. Губернатор отказал наотрез, что не только бессмысленно, но и совершенно незаконно. Публика по этому поводу слегка волнуется и пишет протест. Но чему поможет протест, когда на все один ответ: «такова инструкция из Петербурга».

Оправдались, таким образом, самые неблагоприятные газетные слухи: местом нашего поселения назначен самый северный пункт губернии. Любопытно отметить, что «равенство», сказавшееся в приговоре, проявилось и при назначении места поселения: мы все направлены в один и тот же пункт.

Здесь, в Тобольске, имеют об Обдорске такое же, в сущности, смутное представление, как и вы в Петербурге. Известно лишь, что это местечко находится где-то за полярным кругом. Возникает вопрос: не будет ли в Обдорском поселена специальная команда для нашей охраны? Это было бы только последовательно. Будет ли вообще возможность организовать побег, или же мы вынуждены будем между северным полюсом и полярным кругом выжидать дальнейшего развития революции и изменения всей политической обстановки? Есть основания опасаться, что возвращение из вопроса техники превратится в вопрос по-

литики. Ну, что ж, будем сидеть в Обдорске и ждать. И будем работать. Присылайте нам только книг и газет, газет и книг. Кто знает, как в дальнейшем разовьются события? Кто знает, как скоро оправдаются наши расчеты? Может быть, тот год, который мы окажемся вынуждены провести в Обдорске, явится последней революционной передышкой, которую история нам дарит для того, чтоб мы заполнили пробелы в наших знаниях и острее отточили наше оружие. Не находите ли вы такие мысли чересчур фаталистичными? Милый друг, когда с конвоем едешь по направлению к Обдорску, то не беда, если становишься немножко фаталистом.

29 января. Вот уже два дня, как мы едем из Тобольска... Сопровождают нас 30 конвойных под командой унтера. Выехали в понедельник утром на тройках (со второго станка перешли на пары) в огромных кошевах. Утро было великолепное: ясное, чистое, морозное. Вокруг—лес, неподвижный и весь белый от инея на фоне ясного неба. Какая-то сказочная обстановка. Лошади бешено мчались—это обычная сибирская езда. У выезда из города—тюрьма стоит на самом краю—нас ждала местная ссыльная публика, человек 40—50; было много приветствий, поклонов и попыток узнать друг друга... Но мы быстро промчались мимо. Среди местного населения о нас сложились уже легенды: одни говорят, что едут в ссылку пять генералов и два губернатора; другие,—что едет граф с семьей; третьи,—что везут членов Государственной Думы. Наконец, та хозяйка, у которой мы сегодня стояли, спросила у доктора: «Вы тоже будете политики?»—Да, политики.—«Однако вы, должно быть, будете начальники над всеми политиками?»

Сейчас мы стоим в большой чистой комнате, оклеенной обоями, на столе клеенка, крашеный пол, большие окна, две лампы. Все это очень приятно после грязных этапов. Спать, однако, приходится на полу, так как в одной комнате нас девять человек. Конвой наш сменился в Тобольске, и насколько тюменский конвой был обходителен и расположен к нам, настолько тобольский оказался труслив и груб. Объясняется это отсутствием офицера: за все отвечают сами солдаты. Впрочем, уже после двух дней новый конвой «оттаял», и сейчас у нас устанавливаются с большинством солдат прекрасные отношения; а это далеко не мелочь в таком далеком пути.

Начиная с Тобольска, почти во всяком селе имеются политические, в большинстве случаев «аграрники» (крестьяне, сосланные за беспорядки), солдаты, рабочие и лишь изредка интеллигенция. Есть административно-ссыльные, есть и ссыльно-поселенцы. В двух селах, через которые мы проезжали, «политиками» организованы артельные мастерские, дающие некоторый заработок. Вообще крайней нужды мы до сих пор еще не встречали. Дело в том, что жизнь в этих местах чрезвычайно дешева: политические устраиваются у крестьян на квартире со столом за шесть рублей в месяц. Эта сумма положена местной организацией ссыльных, как норма. На десять рублей уже можно жить «вполне хорошо». Чем дальше к северу, тем дороже жизнь, и тем труднее найти заработок.

Мы встречали товарищей, живших в Обдорске. Все они очень хорошо отзываются об этом месте. Большое село. Свыше 1.000 жителей. Двенадцать лавок. Дома городские. Много хороших квартир. Прекрасное гористое местоположение. Очень здоровый климат. Рабочие будут иметь заработок. Можно иметь уроки. Правда, жизнь дороговата, но зато и заработки выше. Лишь один недочет имеет это бесподобное место: оно почти совсем отрезано от всего мира. До железной дороги полторы тысячи верст. До ближайшего телеграфного поста—800. Почта приходит раз в две недели. Но во время распутицы, весной и осенью, она вовсе не приходит от полутора до двух месяцев. Образуйся сейчас в Петербурге временное правительство, в Обдорске еще долго будет царить становой! Отрезанностью Обдорска от Тобольского тракта и объясняется его относительная оживленность, так как он является самостоятельным центром для огромной местности.

Ссыльные не засиживаются долго на одном и том же месте. Кочевание их по губернии происходит беспрерывно. Пароходы, курсирующие по Оби, бесплатно возят политических. Платные пассажиры ютятся по углам, а кочующие политики завладевают лучшими местами. Это может удивить вас, милый друг, но такова прочно укоренившаяся традиция. Все настолько привыкли к этому, что крестьяне-извозчики говорят нам по поводу нашего назначения в Обдорск: «Ну, это не надолго, весной на пароходе назад приедете»... Но кто знает, в какие условия будем поставлены мы, советские, и с какой целью шлют нас в Обдорск? Пока что, отдано распоряжение предоставлять нам в пути лучшие кошевы и лучшие квартиры.

Обдорск! Малюсенькая точка на земном шаре... может быть, на годы придется приспособить свою жизнь к обдорским условиям. Даже мои фаталистические настроения не обеспечивают мне полного спокойствия. Со стиснутыми зубами я тоскую об электрическом свете уличного фонаря, о шуме трамвая и о лучшем, что существует в мире—о запахе свежего газетного листа.

1 февраля. Юровское. Сегодня точь-в-точь то же, что вчера. Проехали свыше 50 верст. Рядом со мной в кошеве сидел солдат, который занимал меня рассказами на военно-маньчжурские темы. Нас конвоируют солдаты Сибирского полка, который почти весь обновился после войны. Это наиболее пострадавший полк. Часть его стоит в Тюмени, часть—в Тобольске. Тюменские солдаты, как я уже писал, были очень к нам расположены, тобольские грубее; среди них имеется значительная группа «сознательных» черносотенцев. Полк состоит из поляков, украинцев и сибиряков. Наиболее косный элемент составляют туземцы-сибиряки. Но и среди них попадаются прекрасные малые... Уже дня через два наши новые конвоиры стал помягче. А это не пустяк: ведь эти вояки являются сейчас господами над нашей жизнью и смертью.

Мой конвоир был восхищен «китайками». «Красивые есть бабы. Китаец мал ростом и с настоящим мужчиной не сравнится, а китайка хороша: белая, полная»...

— Что же,—спросил наш ямщик, бывший солдат,—наши солдаты с китайками хороводились?—«Не... не допускают до них... Сперва китаек увозят, а потом солдат пускают. Однако, наши в гаоляне китайку одну словили и полакомились. Один солдат там и шапку оставил. Китайцы представили шапку командиру, тот выстроил весь полк и спрашивает: «Чья шапка?». Никто не откликается: тут уже не до шапки. Так и кончилось ничем. А хороши китайки...

Из Тобольска мы выехали на тройках, но уже на второй остановке их сменили на пары, так как дорога становилась все у́же и у́же.

В тех селах, где мы меняем лошадей, нас дожидаются уже запряженные сани. Пересаживаемся за селом, в поле. Обыкновенно все население высыпает поглядеть на нас. Разыгрываются оживленные сцены. В то время, как бабы держат наших лошадей

под уздцы, мужики под руководством «доктора» заботятся о нашем багаже, а дети весело и шумно бегают вокруг нас. Вчера «политики» хотели нас сфотографировать при смене лошадей и ожидали с аппаратом у волостного правления, но мы промчались мимо них, и они не успели ничего сделать. Сегодня при въезде в село, где мы теперь ночуем, нас встретили местные «политики» с красным знаменем в руках. Их 14 человек, в том числе человек 10 грузин. Солдаты всполошились, увидев красное знамя, стали грозить штыками, кричали, что будут стрелять. В конце концов знамя было отнято, и «демонстранты» оттеснены. Среди нашего конвоя есть несколько солдат, группирующихся вокруг старообрядца-ефрейтора. Это необыкновенно грубая и жестокая тварь. Для него нет лучшего удовольствия, как толкнуть мальчика-ямщика, испугать на-смерть бабу-татарку или ударить с размаху прикладом лошадь. Кирпичное лицо, полураскрытый рот, бескровные десны и немигающие глаза придают ему идиотский вид. Ефрейтор находится в жестокой оппозиции к унтеру, командующему конвоем. На его взгляд, унтер не проявляет по отношению к нам достаточно решительности. Где нужно вырвать красное знамя или толкнуть в грудь политического, слишком близко подошедшего к нашим саням, там ефрейтор всегда впереди, во главе своей группы. Нам всем приходится сдерживаться, чтоб избежать какого-нибудь острого столкновения, так как в таком случае мы не могли бы рассчитывать на защиту со стороны унтера, который боится этого ефрейтора до-смерти.

2 февраля, вечер. Демьянское. Несмотря на то, что вчера, при нашем въезде в Юровское, красное знамя было отнято, сегодня появилось новое, воткнутое на высоком шесте в снежный сугроб у выезда из деревни. Знамени на этот раз никто не трогал: солдатам, только что усевшимся, не хотелось вылезать из кошев. Так мы мимо него и продефилировали. Далее, на расстоянии нескольких сот шагов от деревни, когда спускались к реке, мы увидели на одной стороне снежного спуска надпись, выведенную огромными буквами: «Да здравствует революция!» Мой ямщик, парень лет 18-ти, рассмеялся весело, когда я прочитал надпись— А вы знаете, что значит «да здравствует революция»?—спросил я его.—Нет, не знаю,—ответил он, подумав,—а только знаю, что кричат: «Да здравствует революция!». Но видно было по лицу, что он знает больше, чем хочет ска-

зать. Вообще, местные крестьяне, особенно молодежь, очень благожелательно относятся к «политическим».

В Демьянское,—большое село, где мы сейчас стоим,—мы приехали в час. Встретила нас огромная толпа ссыльных, их здесь свыше 60 человек. Это привело часть наших конвойных в величайшее замешательство. Ефрейтор сейчас же собрал вокруг себя своих верных, готовый, в случае надобности, к действию. К счастью, все обошлось мирно. Ждали нас здесь, очевидно, давно и очень нервно. Была избрана специальная комиссия для организации встречи. Приготовили великолепный обед и комфортабельную квартиру в здешней «коммуне». Но на квартиру эту нас не пустили; пришлось поместиться в крестьянской избе; обед приносили сюда. Свидания с политическими крайне затруднены: им удавалось проникнуть к нам лишь на несколько минут по два, по три человека—с разными частями обеда. Кроме того, мы ходили по-очереди в лавочку, под конвоем, и по дороге перебрасывались несколькими словами с товарищами, которые целый день дежурили на улице. Одна из местных ссыльных явилась к нам в одежде крестьянской бабы, якобы для продажи молока, и очень хорошо разыграла свою роль. Но хозяин квартиры, повидимому, донес на нее солдатам, и те потребовали, чтоб она немедленно удалилась. Дежурил у нас, как на зло, ефрейтор. Я вспомнил, как наша усть-кутская колония (на Лене) готовилась к встрече каждой партии ссыльных: мы варили щи, лепили пельмени, словом, проделывали то же, что тут для нас совершали демьяновцы. Проезд большой партии—огромное событие для каждой колонии, живущей по пути и с нетерпением ждущей вести с далекой родины.

4 февраля, 8 ч. вечера. Цингалинские юрты. Пристав запросил, по нашему настойчивому требованию, тобольскую администрацию, нельзя ли ускорить темп нашего передвижения. Из Тобольска, очевидно, снеслись с Петербургом, и в результате приставу по телеграфу предоставлена свобода действий. Если считать, что отныне будем в среднем делать 70 верст в день, то в Обдорск прибудем 18—20 февраля. Разумеется, это лишь предположительный расчет.

Стоим в деревеньке, которая называется Цингалинскими юртами. Здесь, собственно, не юрты, а деревенские избы, но население состоит, главным образом, из остяков,— очень резко выраженный инородческий тип. Но склад жизни и речи—чисто

крестьянский. Только пьянствуют еще больше, чем сибирские крестьяне. Пьют ежедневно, пьют с раннего утра и к полудню уже пьяны.

Любопытные вещи рассказал нам местный ссыльный, учитель Н.: услышав, что едут неведомые лица, которых встречают с большой помпой, остяки испугались, не пили вина и даже спрятали то, которое было припасено. Поэтому-то сегодня большинство трезвых. К вечеру, однако, насколько я успел заметить, наш хозяин-остяк вернулся пьяный.

Здесь уже пошли рыбные места: мясо доставать труднее. Учитель, о котором я упомянул выше, организовал из крестьян и из ссыльных рыболовную артель, купил невода, сам руководит ловлей, в качестве старосты, сам возит рыбу в Тобольск. За прошлое лето артель заработала свыше 100 рублей на брата. Приспособляются...Правда, сам Н. нажил себе на рыболовстве грыжу.

6 февраля. Самарово. Вчера мы проехали 65 верст, сегодня 73, завтра проедем приблизительно столько же. Полосу земледелия мы уже оставили позади. Здешние крестьяне, как русские, так и остяки, занимаются исключительно рыболовством.

До какой степени Тобольская губерния заселена политическими... Буквально нет глухой деревушки, в которой не было бы ссыльных. Хозяин земской избы, где мы стояли, рассказал, что прежде здесь вовсе не было ссыльных, а стали заполнять ими губернию вскоре после манифеста 17 октября. «С тех пор и пошло». Так отразилась здесь конституционная эра! Во многих местах «политики» «промышляют» совместно с туземцами: собирают и очищают кедровые шишки, ловят рыбу, собирают ягоды, охотятся. Более предприимчивые организовали кооперативные мастерские, рыболовные артели, потребительские лавки. Отношение крестьян к политическим превосходное. Так, например, здесь, в Самарове—огромное торговое село—крестьяне отвели «политикам» бесплатно целый дом и подарили первым приехавшим сюда ссыльным теленка и два куля муки. Лавки, по установившейся традиции, уступают политическим продукты дешевле, чем крестьянам. Часть здешних ссыльных живет коммуной в своем доме, на котором всегда развевается красное знамя. Попробуйте, пожалуйста, водрузить красное знамя в Париже, Берлине или Женеве!




Картоиздательский Отдел
Корп. Военн. Топографов.

Попутно хочу сообщить вам два-три общих наблюдения над теперешней ссылкой.

Тот факт, что политическое население тюрем и Сибири демократизируется по своему социальному составу, указывался, начиная с 90-х годов, десятки, если не сотни раз. Рабочие стали составлять все больший и больший процент «политиков» и, наконец, оставили далеко за флагом революционного интеллигента, который со старого времени привык считать Петропавловскую крепость, Кресты и Колымск своей монопольной наследственной собственностью, чем-то вроде майората. Мне еще приходилось встречать в первые годы столетия народовольцев и народоправцев, которые почти обиженно пожимали плечами, глядя на арестантские паузки, нагруженные виленскими трубочистами или минскими заготовщиками. Но ссыльный рабочий того времени был в большинстве случаев членом революционной организации и стоял в политическом и моральном отношении на значительной высоте. Почти все ссыльные, кроме разве рабочих из черты оседлости, просеивались предварительно сквозь сито жандармского дознания, и, как ни грубо это сито, оно в общем отсеивало наиболее передовых рабочих. Это поддерживало ссылку на известном уровне.

Совсем иной характер имеет ссылка «конституционного» периода нашей истории. Тут не организация, а массовое, стихийное движение; не дознание, хотя бы и жандармское, а оптовая уличная ловля. Не только в ссылку, но и под пули попадал самый серый массовик. После подавления ряда народных движений начинается период «партизанских» действий, экспроприаций с революционными целями или только под революционным предлогом максималистские авантюры и просто хулиганские набеги. Кого нельзя было на месте повесить, администрация выбрасывала в Сибирь. Понятно, что «в числе драки» столь колоссального размера оказалось множество совсем посторонних людей, много случайных, прикоснувшихся к революции одним пальцем, много зевак, наконец, не мало бесшабашных представителей ночной улицы большого города. Не трудно себе представить, как это отразилось на уровне ссылки.

Есть и еще обстоятельство, которое фатально влияет в том же направлении: это побеги. Какие элементы бегут, ясно само собою: наиболее активные, наиболее сознательные люди, которых

ждет партия и работа. Какой процент уходит, можно судить потому, что из 450 ссыльных в известной части Тобольской губернии осталось всего около 100. Не бегут только ленивые. В результате главную массу ссылки образует серая, политически непристроенная, случайная публика. Тем сознательным единицам, которые почему-либо не смогли уйти, приходится подчас нелегко: как никак, все «политики» морально связаны перед населением круговой порукой.

8 февраля. Карымкринские юрты. Вчера мы проехали 75 верст, сегодня 90. Приезжаем на стоянку усталые и рано ложимся.

Стоим в остяцком селе, в маленькой грязной избенке. В грязной кухне вместе с пьяными остяками топчутся озябшие конвойные солдаты. В другом отделении блеет ягненок... В селе свадьба,—теперь, вообще, время свадеб,—все остяки пьют, и пьяные лезут время-от-времени к нам в избу.

Пришел к нам в гости саратовский старичок, административно-ссыльный, тоже пьяный. Оказывается, он со своим товарищем приехал сюда из Березова за мясом: этим «промышляют». Оба «политики».

Трудно себе представить ту подготовительную работу, которая совершена здесь для нашего передвижения. Наш поезд, как я уже писал, состоит из 22 кошев и занимает около 50 лошадей. Такое количество имеется в редком селе, и их сгоняют издалека. На некоторых станциях мы встречали лошадей, пригнанных за 100 верст. А между тем перегоны здесь очень короткие: большинство 10—15 верст. Таким образом, остяку приходится пригнать лошадь за 100 верст, чтоб провезти двух членов Совета Рабочих Депутатов на протяжении 10 верст. Так как точно неизвестно было, когда именно мы приедем, то ямщики, приехавшие из дальних мест, дожидались нас иногда по две недели. Они вспоминают еще только один такой случай: это когда проезжал по этим местам «сам» губернатор...

Я уже несколько раз упоминал о той симпатии, с какой относятся к «политикам» вообще, к нам в особенности, местные крестьяне. Удивительный случай произошел с нами в этом отношении в Белогорьи, маленьком селе, уже в Березовском уезде. Группа местных крестьян коллективно устроила для нас чай и закуску и собрала для нас шесть рублей. От денег мы, разумеется,

отказались, но чай пить отправились. Конвой, однако, воспротивился и чаю напиться не удалось. Собственно унтер разрешил, но ефрейтор поднял целую бурю, кричал на все село, угрожая унтеру доносом. Нам пришлось уйти из избы без чаю. Чуть не вся деревня шла за нами. Получилась демонстрация.

9 февраля. Село Кандинское. Вот и еще сто верст проехали. До Березова двое суток езды. 11-го будем там. Сегодня порядком устал: в течение 9—10 часов непрерывной езды приходится ничего не есть. Едем все время Обью, «по рекам—по Обям», как выражаются ямщики. Правый берег—гористый, лесной. Левый—низменный. Река широка. Тихо и тепло. По обеим сторонам дороги торчат елочки: их втыкают в снег, чтоб обозначить путь. Везут большей частью остяки. Везут на парах и тройках, запряженных цугом, так как дорога чем дальше, тем ўже и ўже. У ямщиков длинный веревочный кнут на длинном кнутовище. Поезд растягивается на огромное расстояние. Ямщик время-от-времени гикает неистовым голосом. Тогда лошади несутся вскачь («на-машь», по-здешнему). Поднимается густая снежная пыль. Захватывает дыхание. Кошева наскакивает на кошеву, лошадиная морда просовывается сзади над плечом и дышит в лицо. Потом кто-нибудь опрокидывается, или у какого-нибудь ямщика что-нибудь развязывается или рвется. Он останавливается. Останавливается и весь поезд. От долгой езды чувствуешь себя как бы загипнотизированным. Тихо. Ямщики перекрикиваются гортанными остяцкими звуками. Потом лошади снова рвут с места и несутся на-машь. Частые остановки очень задерживают и не дают ямщикам развернуться во-всю. Мы делаем верст 15 в час., тогда как настоящая езда здесь, это 18—20 и даже 25 верст в час...

Быстрая езда в Сибири—обычная и, в известном смысле, необходимая вещь, вызываемая огромными расстояниями. Но такой езды, как здесь, я не видал даже на Лене.

Приезжаем на станцию. За селом ждут запряженные кошевы и свободные лошади: две кошевы у нас «проходные», до Березова, для семейных. Мы быстро пересаживаемся и едем дальше. Удивительно здесь сидит ямщик! На передней части кошевы прибита поперек у самого края доска; это место кошевы называется беседкой. Ямщик сидит на беседке, т.-е. на голой доске, свесив ноги через борт саней, на-бок. В то время, как кони мчатся в галоп,

а кошева становится то на одно ребро, то на другое, ямщик направляет ее своим телом, перегибаясь из стороны в сторону, а местами отталкиваясь ногами от земли...

12 февраля. Березов. Тюрьма. Дней пять-шесть тому назад—я тогда не писал вам об этом, чтоб не вызвать излишних беспокойств—мы проезжали через местность, сплошь зараженную сыпным тифом. Теперь эти места оставлены уже далеко позади. В Цингалинских юртах, о которых я упоминал, тиф был в 30 избах из 60. То же и в других селениях. Масса смертных случаев. Не было почти ямщика, у которого не умер бы кто-нибудь из родных. Ускорение нашего путешествия с нарушением первоначального маршрута находится в прямой связи с тифом: пристав мотивировал свой телеграфный запрос необходимостью как можно скорее миновать зараженные места.

Каждый день мы за последнее время подвигаемся на 90—100 верст к северу, т.-е. почти на градус. Благодаря такому непрерывному передвижению, убыль культуры—если тут можно говорить о культуре—выступает перед нами с резкой наглядностью. Каждый день мы опускаемся на одну ступень в царство холода и дикости. Такое впечатление испытывает турист, поднимаясь на высокую гору и пересекая одну зону за другой... Сперва шли зажиточные русские крестьяне. Потом обрусевшие остяки, на половину утратившие, благодаря смешанным бракам, свой монгольский облик. Далее миновали полосу земледелия. Пошел остяк-рыболов, остяк-охотник: малорослое лохматое существо, с трудом говорящее по-русски. Лошадей становилось меньше, и лошади—все хуже: извоз здесь не играет большой роли, и охотничьи собака в этих местах ценнее лошади. Дорога тоже делалась хуже: узкая, без всякого наката... И тем не менее, по словам пристава, здешние «трактовые» остяки представляются образцом высокой культуры по сравнению с теми, которые живут по притокам Оби.

К нам здесь отношения смутные, недоумевающие, пожалуй, как к временно свергнутому большому начальству. Один остяк сегодня спрашивал: «А где ваш генерал? Генерала мне покажите... Вот бы мне на кого посмотреть... Никогда в жизни не видал генерала».

Когда какой-то остяк впрягал плохую лошадь, другой ему крикнул: «Давай получше: не под пристава запрягаешь»... Хотя

был и противоположный, единственный, впрочем, в своем роде, случай, когда остяк по какому-то поводу, имевшему касательство к упряжке, сказал: «не великие члены едут»...

Вчера вечером мы приехали в Березов. Вы не потребуете, конечно, чтоб я вам описывал «город». Он похож на Верхоленск, на Киренск и на множество других городов, в которых имеется около 1000 жителей, исправник и казначейство. Впрочем, здесь показывают еще—без ручательства за достоверность—могилу Остермана и место, где похоронен Меньшиков. Непритязательные остряки показывают еще старуху, у которой Меньшиков столовался.

Привезли нас непосредственно в тюрьму. У входа стоял весь местный гарнизон, человек 50, шпалерами. Как оказывается, тюрьму к нашему приезду чистили и мыли две недели, освободив ее предварительно от арестантов. В одной из камер мы нашли большой стол, накрытый скатертью, венские стулья, ломберный столик, два подсвечника со свечами и семейную лампу. Почти трогательно.

Здесь отдохнем дня два, а затем тронемся дальше...

Да, дальше... но я еще не решил для себя—в какую сторону.

## Обратно.

Первое время пути на лошадях я на каждом «станке» оглядывался назад и с ужасом видел, что расстояние от железной дороги становится все больше и больше. Обдорск ни для кого из нас не был конечной целью, а в том числе и для меня. Мысль о побеге не покидала нас ни на минуту. Паспорт и необходимые деньги на дорогу были у меня искусно заделаны в подошве сапога. Но огромный конвой и режим бдительного надзора крайне затрудняли побег с пути. Нужно, впрочем, сказать, что побег был все-таки возможен—разумеется, не массовый, а единичный. Было несколько планов, отнюдь не неосуществимых,—но пугали последствия побега для оставшихся. За доставку ссыльных на место отвечали конвойные солдаты и в первую голову унтер-офицер. В прошлом году один тобольский унтер попал в дисциплинарный батальон за то, что упустил административно-ссыльного студента. Тобольский конвой насторожился и стал значительно хуже обращаться с ссыльными в пути. После того между конвоем и ссыльными как бы установилось молчаливое соглашение: не бежать с пути. Никто из нас не придавал этому соглашению абсолютного значения. Но все же оно парализовало решимость, и мы оставляли позади себя станок за станком. Под конец, когда проехали несколько сот верст, выработалась инерция движения; и я уже не оглядывался назад, а заглядывал вперед, стремился «на место», заботился о своевременном получении книг и газет, вообще, собирался обосноваться... В Березове это настроение сразу исчезло.

— Возможно ли отсюда уехать?

— Весной легко.

— А сейчас?

— Трудно, но, надо думать, возможно. Опытов, однако, еще не было.

Все, решительно все говорили нам, что весной уехать легко и просто. В основе этой простоты лежит физическая невозможность для малочисленной полиции контролировать бесчисленное количество ссыльных. Но надзор за пятнадцатью ссыльными. поселенными в одном месте и пользующимися исключительным вниманием, все-таки возможен... Вернуться сейчас было бы куда вернее.

Но для этого прежде всего нужно остаться в Березове. Проехать до Обдорска—значит, еще удалиться на 480 верст от цели. После заявления с моей стороны, что вследствие болезни и усталости я немедленно ехать не могу и добровольно не поеду, исправник, после совещания с врачом, оставил меня на несколько дней в Березове для отдыха. Я был помещен в больницу. Каких-нибудь определенных планов у меня не было.

В больнице я устроился с относительной свободой. Врач рекомендовал мне побольше гулять, и я воспользовался своими прогулками, чтобы ориентироваться в положении.

Самое простое, казалось бы,—это вернуться обратно тем же путем, каким нас везли в Березов, то-есть «большим тобольским трактом». Но этот путь казался слишком ненадежным. Правда, по дороге есть достаточное количество надежных крестьян, которые будут тайно перевозить, от села к селу. Но все же сколько тут может быть нежелательных встреч. Вся администрация живет и ездит по тракту. В двое суток, а при нужде—даже скорее, можно из Березова доехать до первого телеграфного пункта,—и оттуда предупредить полицию по всему пути до Тобольска. От этого направления я отказался.

Можно на оленях перевалить Урал и через Ижму пробраться в Архангельск, там дождаться первых пароходов и проехать за границу. До Архангельска путь надежный, глухими местами. Но насколько безопасно будет оставаться в Архангельске? Об этом у меня не было никаких сведений, и добыть их в короткое время было неоткуда.

Наиболее привлекательным показался мне третий план: проехать на оленях до уральских горных заводов, попасть у Богословского завода на узкоколейную жел. дор. и доехать по ней до Кушвы, где она смыкается с пермской линией. А там—Пермь, Вятка, Вологда, Петербург, Гельсингфорс...

На заводы можно отправиться на оленях прямо из Березова—по Сосьве или Вогулке. Тут сразу открывается дичь и глушь. Никакой полиции на протяжении тысячи верст, ни одного русского поселения, только редкие остяцкие юрты, о телеграфе, конечно, нет и помину, совершенно нет на всем пути лошадей—тракт исключительно «оленный». Нужно только выиграть у березовской администрации некоторое время,—и не догонят, даже если бросятся по тому же направлению.

Предупреждали, что это—путь, исполненный «лишений и физических опасностей». Иногда на сотню верст нет человеческого жилья. У остяков, единственных обитателей края, свирепствуют заразные болезни: не переводится сифилис, частым гостем бывает сыпной тиф. Помощи ждать не от кого. Этой зимой в Оурвинских юртах, которые лежат по сосьвинскому пути, умер молодой березовский купец Добровольский: две недели метался он беспомощно в жару... А что, если падет олень, и негде будет достать ему смену? А буран? Он иногда продолжается несколько суток. Если застигнет в пути—гибель. Между тем февраль—месяц буранов. И точно ли теперь есть дорога до заводов? Передвижение там редкое, и если за последние дни остяки не проезжали по тем местам, то след должно было во многих местах совсем замести. Значит, немудрено сбиться с пути. Таковы были предостережения.

Отрицать опасности не приходилось. Конечно, тобольский тракт имеет большие преимущества со стороны физической безопасности и «комфорта». Но именно поэтому он несравненно опаснее в полицейском отношении. Я решил отправиться по Сосьве—и у меня нет причины сожалеть о моем выборе.

* * *

Оставалось найти человека, который взялся бы довезти меня до заводов, т.-е. оставалось самое трудное [1]).

— Стойте, я вам это устрою,—сказал мне после долгих разговоров и размышлений молодой «либеральный» купец Ни-

---

[1]) Дальнейшее описание организации побега сильно изменено, лица и имена—фиктивные, чтобы не навлечь преследований на действительных участников в организации побега.

кита Серапионыч, с которым я вел по этому предмету переговоры. Тут верст 40 под городом, в юртах, зырянин живет, Никифором звать... уж это такой пройдоша... у него две головы, он на все пойдет...

— А не пьет он?—спросил я предусмотрительно.

— Как не пить—пьет. Да кто же здесь не пьет? Он вином и погубил себя: охотник хороший, прежде много соболей добывал, большие деньги зарабатывал... Ну, да ничего: если он на это дело пойдет, он, даст бог, воздержится. Я к нему съезжу. Это такой пройдоша... уж если он не свезет, никто не свезет...

Совместно с Никитой Серапионычем мы выработали условия договора. Я покупаю тройку оленей, самых лучших, на выбор. Кошева тоже моя. Если Никифор благополучно доставит меня на заводы, олени с кошевой поступают в его собственность. Сверх того я уплачиваю ему пятьдесят рублей деньгами.

К вечеру я уж знал ответ. Никифор согласен. Он отправился в чум, верст за 50 от своего жилья, и завтра к обеду приведет тройку лучших оленей. Выехать можно будет, пожалуй, завтра в ночь. Нужно к тому времени запастись всем необходимым: купить хорошие оленьи кисы с чижами [1]), малицу или гусь [2]) и заготовить провизии дней на десять. Всю эту работу брал на себя Никита Серапионыч.

— Я вам говорю,—уверял он меня,—что Никифор вывезет. Уж этот вывезет!

— Если не запьет,—возражал я с сомнением.

— Ну, ничего, даст бог, не запьет... Боится только, что горой дороги не найдет: восемь лет не ездил. Придется, пожалуй, ехать рекой до Шоминских юрт, а это много дальше...

Дело в том, что от Березова на Шоминские юрты два пути: один—«горою», прямиком—пересекает в нескольких местах реку Вогулку и проходит через Выжпуртымские юрты. Другой тянется по Сосьве, через Шайтанские, Малеевские юрты и т. д. «Горою»—вдвое ближе, но это место глухое, редко когда проедет остяк,—и дорогу иногда бесследно заносит снегом.

---

[1]) Чижи—чулки оленьего меха, шерстью к ноге; кисы—сапоги оленьего меха, шерстью наружу.

[2]) Верхняя одежда из оленьего меха. Малица шьется мехом внутрь; поверх малицы в холодное время надевается гусь, мехом наружу.

На другой день выехать оказалось, однако, невозможно. Никифор оленей не привел, и где он, и что с ним,—неизвестно. Никита Серапионович чувствовал себя очень смущенным.

— Да вы не дали ли ему денег на покупку оленей?— спросил я.

— Ну, что вы!.. Кажись, я тоже не мальчик. Я ему только пять рублей задатку дал, да и то при жене. Вот погодите, я к нему сегодня опять съезжу...

Отъезд затягивался, по крайней мере, на сутки. Исправник каждый день может потребовать, чтоб я отправился в Обдорск. Дурное начало!

Выехал я на третий день, 18 февраля.

Утром явился в больницу Никита Серапионович и, улучив удобную минуту, когда в моей комнате никого не было, решительно сказал:

— Сегодня в одиннадцать часов ночи незаметно приходите ко мне. В двенадцать решено выехать. Мои все чада и домочадцы сегодня на спектакль уйдут, я один дома останусь. У меня переоденетесь, поужинаете, я вас на своей лошади в лес свезу, Никифор нас там уже будет дожидаться. Он вас горой увезет: вчера, говорит, две остяцкие нарты след проложили.

— Это окончательно?—спросил я с сомнением.

— Решительно и окончательно!

До вечера я бродил из угла в угол. В 8 часов отправился в казарму, где происходил спектакль. Я решил, что так будет лучше. Помещение казармы было переполнено. На потолке висели три большие лампы, по бокам горели свечи, укрепленные на штыках. Три музыканта жались у самой сцены. Передний ряд был занят администрацией, дальше сидели купцы вперемешку с политическими, задние ряды были заняты народом попроще: приказчиками, мещанами, молодежью. У обеих стен стояли солдаты. На сцене уже шел чеховский «Медведь». Толстый, высокий и добродушный фельдшер Антон Иванович изображал «медведя». Жена врача играла прекрасную соседку. Сам врач шипел из-под будки, в качестве суфлера. Потом опустился искусно разрисованный занавес, и все аплодировали.

В антракте политические собрались в одну группу и делились последними новостями. «Говорят, исправник очень жалеет, что семейных депутатов не оставили в Березове».—«Исправник,

между прочим, сказал, что отсюда побезг невозможен».—«Ну, это он преувеличивает,—возражает кто-то,—везут же сюда, значит, можно проехать и обратно».

Три музыканта умолкли, поднялся занавес. Играли «Трагика поневоле», драму дачного мужа. В чесучовом пиджаке и соломенной шляпе больничный смотритель из военных фельдшеров изображал мужа-дачника — в феврале, у полярного круга. Когда занавес опустился над драмой дачного мужа, я простился с товарищами и ушел, сославшись на невралгию.

Никита Серапионович ждал меня.

— У вас как раз достаточно времени, чтоб поужинать и переодеться. Никифору сказано выехать на указанное место, когда на каланче пробьет двенадцать.

* * *

Около полуночи мы вышли во двор. Со свету казалось очень темно. В сумраке видна была кошева, запряженная одной лошадью. Я улегся на дно кошевы, подостлав наскоро свой гусь. Никита Серапионович накрыл меня всего большим ворохом соломы и увязал ее сверху веревками: походило, будто везет кладь. Солома была мерзлая, смешанная со снегом. От дыхания снег быстро подтаивал и падал мокрыми хлопьями на лицо. Руки тоже зябли в мерзлой соломе, потому что я забыл вынуть рукавицы, а шевелиться под веревками было трудно. На каланче пробило двенадцать, Кошева тронулась, мы выехали за ворота, и лошадь быстро понесла по улице.

«Наконец-то! — подумал я. — Началось!» И ощущение холода в руках и в лице было мне приятно, как реальный признак того, что теперь уже действительно «началось». Ехали мы рысью минут двадцать, потом остановились. Надо мной раздался резкий свист, очевидно, сигнал Никиты. Тотчас же послышался на некотором расстоянии ответный свист, и вслед затем донеслись какие-то неясные голоса. «Кто это разговаривает?—подумал я с тревогой. Никита, очевидно, тоже разделял мое беспокойство, так как не развязывал меня, а что-то ворчал про себя.

— Кто это?—спросил я вполголоса сквозь солому.

— Чорт его знает, с кем он связался,—ответил Никита.

— Он пьян?

— То-то и есть, что не трезв.

Между тем из леса на дорогу выехали разговаривавшие.

— Ничего, Никита Серапионыч, ничего,—услышал я чей-то голос,—пусть этот субъект не беспокоится... это вот друг мой... а это—старик, это отец мой... эти люди—ни-ни...

Никита, ворча, развязал меня. Перед мной стоял высокий мужик в малице, с открытой головой, ярко рыжий, с пьяным и все же хитрым лицом, очень похожий на украинца. В стороне молча стоял молодой парень, а на дороге, держась за кошеву, выехавшую из леса, пошатывался старик, очевидно, уже совершенно побежденный вином.

— Ничего, господин, ничего...—говорил рыжий человек, в котором я угадал Никифора,—это мои люди, я за них ручаюсь. Никифор пьет, но ума не пропивает... Не беспокойтесь. На этаких быках (он указал на оленей) чтобы не доставить... Дядя Михаил Егорыч говорит: поезжай горой... давеча две остяцкие нарты проехали... а мне горой лучше... рекой меня всякий знает... Я как пригласил Михаила Егорыча на пельмени... хо-ро-ший мужик...

— Постой, постой, Никифор Иванович вещи укладывай,—повысил голос Никита Серапионович.

Тот заторопился. В пять минут все было устроено, и я сидел в новой кошеве.

— Эх, Никифор Иваныч,—сказал с укоризной Никита,—напрасно ты этих людей привел: сказано тебе было... Ну, смотрите,—обратился он к ним,—чтоб вы ни-ни!

— Ни-ни...—ответил молодой мужик.

Старик только беспомощно помахал в воздухе пальцем. Я тепло простился с Никитой Серапионычем.

— Трогай!

Никифор молодецки гикнул, олени рванули, и мы поехали.

Олени бежали бодро, свесив на бок языки и часто дыша чу-чу-чу-чу... Дорога шла узкая, животные жались в кучу, и приходилось дивиться, как они не мешают друг другу бежать.

— Надо прямо говорить,—обернулся ко мне Никифор,—лучше этих оленей нету. Это быки на выбор: семьсот оленей в стаде, а лучше этих нет. Михей-старик сперва и слушать не хо-

тел: этих быков не отдам. Потом уж, как выпил бутылочку, говорит: «бери». А когда отдавал оленей, заплакал. «Смотри, говорит, этому вожаку (Никифор указал на переднего оленя) цены нету. Если вернешься назад счастливо, я у тебя их за те же деньги куплю». Вот какие это быки! И деньги за них даны хорошие,—но только нужно правду сказать: стоят. Один вожак у нас стоит двадцать пять рублей. А только у дяди Михаил Осиповича можно было напрокат даром взять. Дядя мне прямо сказал: дурак Никифор. Так и сказал: дурак ты, говорит, Никифор, зачем ты мне прямо не сказал, что ты везешь этого субъекта?

— Какого субъекта?—перебил я рассказ.

— Да вас, например.

Я имел потом много случаев заметить, что слово субъект было излюбленным в словаре моего возницы.

Едва мы отъехали верст десять, Никифор вдруг решительно остановил оленей.

— Тут нам в сторону свернуть надо, верст пять, в чум заехать... Там для меня гусь есть. Куда я в одной малице поеду? Я замерзну. У меня и записка от Никиты Серапионыча насчет гуся.

Я совершенно опешил пред этим нелепым предприятием: заезжать в чум в десяти верстах от Березова. Из уклончивых ответов Никифора я понял, что за гусем ему полагалось съездить еще вчера, но он пьянствовал последние два дня напролет.

— Как хотите,—сказал я ему,—я за гусем не поеду. Чорт знает, что такое! Нужно было позаботиться раньше... Если будет холодно, вы наденете под малицу мою шубу,—она сейчас подо мной лежит. А когда доедем до места, я вам подарю полушубок который на мне: он лучше всякого гуся.

— Ну, и хорошо,—сразу согласился Никифор,—зачем нам гусь? Мы не замерзнем. Го-го!—крикнул он на оленей.—Эти быки у нас без шеста пойдут. Го-го!

Но бодрости у Никифора хватило ненадолго. Вино одолело его. Он совсем размяк, качался на нартах из стороны в сторону и все крепче засыпал. Несколько раз я будил его. Он встряхивался, толкал оленей длинным шестом и бормотал: «Ничего, эти быки пойдут»... И снова засыпал. Олени шли почти шагом, и только мои окрики еще отчасти подбадривали их. Так прошло часа два. Потом я сам задремал и проснулся через несколько ми-

нут, когда почувствовал, что олени стали. Со сна мне показалось, что все погибло... «Никифор!»—закричал я изо всех сил, дергая его за плечо. Он в ответ бормотал какие-то бессвязные слова: «Что я могу делать? Я ничего не могу... Я спать хочу...»

Дело мое действительно обстояло очень печально. Мы едва отъехали от Березова 30—40 верст. Стоянка на таком расстоянии вовсе не входила в мои планы. Я увидел, что шутки плохи, и решил «принять меры».

— Никифор,—закричал я, стаскивая капюшон с его пьяной головы и открывая ее морозу,—если вы не сядете, как следует, и не погоните оленей, я вас сброшу в снег и поеду один.

Никифор слегка очнулся: от мороза ли, или от моих слов,— не знаю. Оказывалось, что во время сна он выронил из рук шест, шатаясь и почесываясь, он разыскал в кошеве топор, срубил у дороги молоденькую сосну и очистил ее от ветвей. Шест был готов, и мы тронулись.

Я решил держать Никифора в строгости.

— Вы понимаете, что вы делаете?—спросил я его как можно внушительнее.—Что это: шутки, что ли? Если нас нагонят, вы думаете, нас похвалят?

— Да разве я не понимаю?—ответил Никифор, все более и более приходя в чувство.—Что вы!.. Вот только третий бык у нас слабоват. Первый бык хорош, лучше не надо, и второй бык хорош... ну, третий, надо правду говорить, совсем дрянь...

Мороз к утру заметно крепчал. Я надел поверх полушубка гусь и почувствовал себя прекрасно. Но положение Никифора становилось все хуже. Хмель выходил из него, мороз уже давно забрался к нему под малицу, и несчастный весь дрожал.

— Вы бы шубу надели,—предлагал я ему.

— Нет, теперь уже поздно: надо сперва самому обогреться и шубу нагреть.

Через час у дороги показались юрты: три-четыре жалкие бревенчатые избенки.

— Я на пять минут зайду, насчет дороги справлюсь и обогреюсь...

Прошло пять минут, десять, пятнадцать. К кошеве подошло какое-то существо, закутанное в меха, постояло и ушло. Стало чуть-чуть светать, и лес вместе с жалкими юртами принял в моих глазах какой-то зловещий отблеск.

«Чем вся эта история кончится?—спрашивал я себя.—Далеко ли я уеду с этим пьяницей? При такой езде нас не трудно нагнать. С пьяных глаз Никифор может бог знает чего наболтать каким-нибудь встречным; те передадут в Березов, и—конец. Если даже не нагонят, то дадут знать по телеграфу на все станции узкоколейной ветки... Стоит ли ехать дальше?»—спрашивал я себя с сомнением...

Прошло около получаса. Никифор не появлялся. Необходимо было его разыскать, а между тем я даже не заметил, в какой юрте он скрылся. Я подошел к первой от дороги и заглянул в окно. Очаг в углу ярко пылал. На полу стоял котелок, от которого шел пар. На нарах сидела группа с Никифором в центре; в руках его была бутылка. Я из всех сил забарабанил по окну и стене. Через минуту появился Никифор. На нем была моя шуба, видневшаяся на два вершка из-под малицы.

— Садитесь!—крикнул я на него грозно.

— Сейчас, сейчас...—ответил он очень кротко,—ничего, я обогрелся, теперь поедем. Мы в ночь уедем так, что нас не видать будет. Вот только третий бык у нас того, выпрячь да выбросить...

Мы поехали.

* * *

Было уже часов 5. Луна давно взошла и ярко светила, мороз окреп, в воздухе было предчувствие утра. Я давно уж надел поверх овчинного полушубка оленью шубу, в ней было тепло, в посадке Никифора чувствовалась уверенность и бодрость, олени бежали на славу, и я спокойно дремал. Время от времени просыпался и наблюдал все ту же картину. Ехали мы, очевидно, болотистыми, почти безлесными местами; мелкие чахлые сосны и березки торчали из-под снега, дорога вилась узкой, еле заметной полосой. Олени бежали с неутомимостью и правильностью автоматов, и громкое дыхание их напоминало шум маленьких моторов. Никифор откинул белый капюшон и сидел с открытой головой. Белые оленьи волосы набились в его рыжую лохматую голову и казалось, что она покрылась инеем. «Едем, едем,—думал я, испытывая в груди прилив теплой волны радостного чувства.—Они могут меня день и два не хватиться... Едем, едем...». И я снова засыпал.

Часов в девять утра Никифор остановил оленей. Почти у самой дороги оказался чум, большой шалаш из оленьих шкур,

в форме усеченного конуса. Подле чума стояли нарты с запряженными оленями, лежали нарубленные дрова, на веревке висели свеже снятые оленьи кожи, на снегу валялись ободранная оленья голова с огромными рогами, двое детей в малицах и кисах возились с собаками.

— Откуда тут чум?—удивился Никифор.—Я думал, до Выжпуртымских юрт ничего не найдем.—Он справился: оказалось, что это харумпаловские остяки, живущие за 200 верст отсюда, промышляют здесь белку. Я собрал посуду и провизию, через небольшое отверстие, прикрытое кожей, мы влезли в чум, чтоб позавтракать и напиться чаю.

— Пайси,—приветствовал Никифор хозяев.

— Пайси, пайси, пайси!—ответили ему с разных сторон.

На полу лежали кругом кучи меха, и в них копошились человеческие фигуры. Вчера здесь пили, и сегодня все с похмелья. Посреди помещения горел костер, и дым свободно выходил в большое отверстие, оставленное в вершине чума. Мы подвесили чайники и подложили дров. Никифор совершенно свободно разговаривал с хозяевами по-остяцки. Поднялась женщина с ребенком, которого она только что, очевидно, кормила, и, не пряча груди, подвинулась к костру. Она была безобразна, как смерть. Я дал ей конфету. Тотчас же поднялись еще две фигуры и подвинулись к нам. «Просят водки»,—перевел мне Никифор их речи. Я дал им спирта, адского спирта в 95 градусов. Они пили, морща лицо, и сплевывали на пол. Выпила свою долю и женщина с открытою грудью. «Старик еще просит,—объяснил мне Никифор, поднося вторую рюмку пожилому лысому остяку с лоснящимися красными щеками.—Я этого старика,—объяснил он мне далее,—за четыре целковых до Шоминских юрт подрядил. Он на тройке вперед поедет, нам дорогу проложит, нашим оленям за его нартами бежать веселей будет».

Мы напились чаю, поели, я угостил хозяев на прощанье папиросами. Потом уложили все вещи на нарты старика, уселись и поехали. Яркое солнце стояло высоко, дорога пошла лесом, в воздухе было светло и радостно. Впереди ехал остяк на трех белых беременных важенках (самках). У него в руках был огромный длины шест, заканчивавшийся сверху небольшой роговой шляпкой, а снизу заостренным металлическим наконечником; Никифор тоже взял себе новый шест. Важенки быстро несли легкие

нарты старика, и наши быки подтянулись и не отставали ни на шаг.

— Почему старик головы не прикроет?—спросил я Никифора, с удивлением наблюдая лысую голову остяка, предоставленную морозу.

— Так хмель скорей выходит,—объяснил мне Никифор.

И действительно, через полчаса старик остановил своих важенок и подошел к нам за спиртом.

— Нужно угостить старика,—решил Никифор, заодно угощая также и себя.—Ведь важенки-то у него запряжены стояли.

— Ну?

— В Березов за вином ехать собирался. Как бы, думаю, он там чего лишнего не сказал... Вот я его и нанял. Так наше дело будет вернее. Теперь когда-то он еще в городе будет: через два дня. Я-то не боюсь. Мне—что? Спросят: возил? А я почем знаю, кого возил? Ты полиция, я—ямщик. Ты жалованье получаешь? Твое дело смотреть, мое дело возить. Правильно я говорю?

— Правильно!

Сегодня 19 февраля. Завтра открывается Государственная Дума. Амнистия! «Первым долгом Государственной Думы будет амнистия». Возможно... Но лучше дожидаться этой амнистии на несколько десятков градусов западнее. «Так наше дело будет вернее», как говорит Никифор.

* * *

Миновав Выжпуртымские юрты, мы нашли на дороге мешок, повидимому, с печеным хлебом. В нем было свыше пуда весом. Несмотря на мои энергичные протесты, Никифор уложил мешок в нашу кошеву. Я воспользовался его пьяной дремотой и тихонько выбросил на дорогу находку, которая только отягощала оленей.

Проснувшись, Никифор не нашел ни мешка, ни шеста, который он взял в чуме у старика.

Удивительные создания эти олени—без голода и без усталости. Они ничего не ели целые сутки до нашего выезда, да вот уже скоро сутки, как мы едем без кормежки. По объяснению Никифора, они теперь только «разошлись». Бегут ровно, неутомимо, верст 8—10 в час. Каждые 10—15 верст делается остановка

на две-три минуты, чтоб дать оленям оправиться; потом снова едут дальше. Такой перегон называется «оленьей побежкой», и так как версты здесь не меряны, то числом побежек измеряют расстояние. Пять побежек означает верст 60—70.

Когда мы достигнем Шоминских юрт, где расстанемся со стариком и его важенками, мы оставим позади себя, по крайней мере, десять побежек... Это уже приличная дистанция.

Часов в 9 вечера, когда уже было совсем сумеречно, нам впервые за все время езды попались навстречу несколько нарт. Никифор попробовал разминуться не останавливаясь. Но не тут-то было: дорога так узка, что стоит немного свернуть в сторону— и олени тонут в снегу по брюхо. Нарты остановились. Один из встречных ямщиков подошел к нам, в упор взглянул на Никифора и назвал его по имени: «Кого везешь? Далеко?»

— Недалеко...—ответил Никифор,—купца везу обдорского.

Эта встреча взволновала его.

— И угораздил его чорт встреч попасть! Пять лет его не видал,—узнал, чорт. Это зыряне ляпинские, сто верст отсюда, в Березов за товаром и за водкой едут. Завтра ночью в городе будут.

— Мне-то ничего,—сказал я,—нас уж не догонят. Не вышло бы только чего, когда вы вернетесь...

— А чего выйдет? Я скажу: мое дело возить, я—ямщик. Кто он—купец или «политик», на лбу тоже у ихнего брата не написано.—Ты—полиция, ты гляди! Я—ямщик, я вожу. Правильно?

— Правильно...

Настала ночь, глубокая и темная. Луна теперь восходит только под утро. Олени, несмотря на тьму, твердо держались дороги. Никто не попадался нам навстречу. Только в час ночи мы вдруг выехали из тьмы в яркое пятно света и остановились. У самого костра, ярко горевшего на краю дороги, сидели две фигуры, большая и маленькая. В котелке кипела вода, и мальчик-остяк строгал на свою рукавицу кусочки кирпичного чаю и бросал в кипяток.

Мы вошли в свет костра, и наша кошева с оленями сразу утонула во мраке. У костра раздались звуки чуждой и непонятной речи. Никифор взял у мальчика чашку и, зачерпнув снега, погрузил на мгновение в кипящую воду; потом снова зачерпнул снега из-под самого костра и снова опустил в котел. Казалось, он гото-

вит какое-то таинственное питье над этим костром, затерявшимся в глубине ночи и пустыни. Потом он долго и жадно пил.

Олени наши, очевидно, начали уставать. При каждой остановке ложатся друг подле друга и глотают снег.

* * *

Около двух часов ночи мы приехали в Шоминские юрты. Здесь решили дать передышку оленям и покормить их. Юрты, это уж не кочевья, а постоянные бревенчатые жилища. Однако громадная разница по сравнению с теми юртами, в каких мы останавливались по Тобольскому тракту. Там в сущности крестьянская изба, с двумя половинами, с русской печью, с самоваром, со стульями—только похуже и погрязнее обычной избы сибирского мужика. Здесь—одна «комната» с примитивным очагом вместо печи, без мебели, с низкой входной дверью, с льдиной вместо стекла. Тем не менее, я почувствовал себя прекрасно, когда снял гусь, полушубок и кисы, которые старая остячка тут же повесила у очага для просушки. Почти сутки я ничего не ел.

Как хорошо было сидеть на нарах, покрытых оленьей кожей, есть холодную телятину с полуоттаявшим хлебом и ждать чаю. Я выпил рюмку коньяку, в голове чуть шумело, и казалось, будто путешествие уже закончилось... Молодой остяк, с длинными косами, перевитыми красными суконными лентами, поднялся с нар и отправился кормить наших оленей.

— А чем он их кормить будет?—справился я.

— Мохом. Отпустит их на таком месте, где мох есть, они уже его сами из-под снега добудут. Разроют яму, лягут в нее и наедятся. Много ли нужно оленю?

— А хлеба они не едят?

— Кроме моха, ничего не едят,—разве что с первых дней к печеному хлебу приучишь; да это редко бывает.

Старуха подбросила дров в очаг, затем разбудила молодую остячку, и та, прикрывая от меня лицо платком, вышла во двор, очевидно, помочь своему мужу, молодому парню, которого Никифор подрядил за два рубля сопровождать нас до Оурви. Остяки страшно ленивы, и всю работу у них выполняют бабы. И это не только в домашнем обиходе: не редкость встретить остячку, которая ходит с ружьем на охоту, промышляет белку и соболя.

Один тобольский лесничий рассказывал мне о лености остяков и об их отношении к женам удивительные вещи. Ему приходилось исследовать глухие пространства Тобольского уезда, так называемые «туманы». В качестве проводников, он нанимал остяков, поденно, по 3 рубля. И вот за каждым молодым остяком отправлялась в «туманы» его жена, а за холостым или вдовым—сестра или мать. Женщина несла все дорожные принадлежности: топор, котелок, мешок с провизией. У мужчины—только нож за поясом. Когда делали привал, женщина расчищала место, принимала из рук мужа его пояс, который он снимал, чтобы облегчить себя, разводила костер и готовила чай. Мужчина садился и в ожидании курил трубку...

Чай готов, и я с жадностью поднес чашку ко рту. Но от воды невыносимо воняло рыбой. Я влил в чашку две ложки клюквенной эссенции и лишь этим заглушил рыбный запах.

— А вы не чувствуете?—спросил я Никифора.

— Нам рыба не мешает, мы ее сырую едим, когда она только что из невода, в руках трепещет—вкуснее нету...

Вошла молодая остячка, по-прежнему полуприкрывая свое лицо, и, став у очага, оправила свое платье с божественной непринужденностью. Вслед за ней вошел ее муж и предложил мне через Никифора купить у него пушнину, штук пятьдесят белки.

— Я вас обдорским купцом назвал, вот они белку и предлагают,—объяснил мне Никифор.

— Скажите, что я к ним на обратном пути наведаюсь. Сейчас мне ее с собой возить не к чему.

Мы напились чаю, покурили, и Никифор улегся на нары соснуть, пока подкормятся олени. Мне тоже до смерти хотелось спать, но я боялся, что просплю до утра, сел с тетрадкой и карандашом у очага и стал набрасывать впечатления первых суток езды. Как все идет просто и благополучно. Даже слишком просто!.. В четыре часа утра я разбудил ямщиков, и мы выехали из Шоминских юрт.

— Вот у остяков и мужики, и бабы косы носят, да с лентами, да с кольцами; вероятно, не чаще, чем раз в год они волосы заплетают?

— Косы-то?—ответил Никифор.—Косы они часто заплетают. Они, когда пьяны, всегда за косы тягаются. Пьют, пьют, потом друг дружке в волосы вцепятся. Потом, который посла-

бее, говорит: «отпусти». Другой отпустит. Потом опять вместе пьют. Сердиться друг на дружку не имеют нужды: сердца у них на это нету.

У Шоминских юрт мы въехали на Сосьву. Дорога идет то рекой, то лесом. Дует резкий, пронизывающий ветер, и я лишь с трудом могу делать в тетради свои заметки. Сейчас мы едем открытым местом: между березовой рощей и руслом реки. Дорога убийственная. Ветер заносит на наших глазах узкий след, который оставляют за собою наши нарты. Третий олень ежеминутно оступается с набитой колеи. Он тонет в снегу по брюхо и глубже, делает несколько отчаянных прыжков, взбирается снова на дорогу, теснит среднего оленя и сбивает в сторону вожака. Рекой и замерзшим болотом приходится ехать шагом. В довершение беды захромал наш вожак,—тот самый бык, которому нет равного. Волоча заднюю левую ногу, он честно бежит по ужасной дороге, и только низко опущенная голова и высунутый до земли язык, которым он жадно лижет на бегу снег, свидетельствуют об его чрезмерных усилиях. Дорога сразу опустилась, и мы оказались меж двух снежных стен, аршина в полтора вышиною. Олени сбились в кучу, и казалось, что крайние несут на своих боках среднего. Я заметил, что у вожака передняя нога в крови.

— Я, однако, коновал мало-мало,—объяснил мне Никифор,—кровь пускал ему, когда вы спали.

Он остановил оленей, вынул из-за пояса нож (у нас такие ножи называются финскими), подошел к больному быку и, взяв нож в зубы, долго ощупывал больную ногу. «Не пойму, что за притча такая»,—сказал он недоумевая и стал ковырять ножом повыше копыта. Животное во время операции лежало, поджав ноги, без звука, и затем печально лизало кровь на больной ноге. Пятна крови, резко выделявшиеся на снегу, обозначили место нашей стоянки. Я настоял на том, чтоб в мою кошеву запрягли оленей шоминского остяка, а наши пошли под легкие нарты. Бедного хромого вожака привязали сзади. От Шомы мы едем около пяти часов, столько же придется еще проехать до Оурви,—и только там можно будет сменить оленей у богатого остяка, оленевода Семена Пантюя. Согласится ли он, однако, отпустить своих оленей в далекий путь? Я рассуждаю об этом с Никифором. Может быть, придется, говорю я ему, купить у Семена две тройки?

«Ну, что же?—отвечает Никифор с вызовом,—и купим!» Мой способ передвижения производит на него такое же впечатление, какое на меня когда-то производило путешествие Филеаса Фога. Если помните, он покупал слонов, покупал пароходы и, когда не хватало топлива, бросал деревянную снасть в жерло машины. При мысли о новых затруднениях и тратах Никифор, когда он во хмелю, т.-е. почти всегда, приходит в азарт. Он совершенно отожествляет себя со мною, хитро подмигивает мне и говорит: «Дорога нам в копеечку войдет... Ну, да нам наплевать... Нам денег не жалко. Быки? Падет бык—купим нового. Чтоб я быков жалел—никогда: пока терпят—едем. Го-го! Главное дело до места доехать. Правильно я говорю?»

— Правильно!

— Никифор не довезет, никто не довезет. Мой дядя Михаил Осипович (добрый мужик!) говорит мне: Никифор, ты везешь этого субъекта? Вези. Бери шесть быков из моего стада—вези. Даром бери. А ефрейтор Сусликов говорит: везешь? Вот тебе пять целковых.

— За что?—спрашиваю я Никифора.

— Чтоб вас увез.

— Будто за это? А ему-то что?

— Ей богу за это. Он братьев любит, он за них горой стоит. Потому, будем говорить, за кого вы страдаете? За мир, за бедняков. Вот тебе, говорит, Никифор, пять целковых—вези, благословляю. В мою, говорит, голову вези.

Дорога вступает в лес и сразу становится лучше: деревья охраняют её от заносов. Солнце уж высоко стоит на небе, в лесу тихо, и мне так тепло, что я снимаю гусь и остаюсь в одном полушубке. Шоминский остяк с нашими оленями все время отстает, и нам приходится его поджидать. Со всех сторон нас окружает сосна. Огромные деревья, без ветвей до самой вершины, ярко-желтые, прямые, как свечи. Кажется, что едешь старым прекрасным парком. Тишина абсолютная. Изредка только снимется с места пара белых куропаток, которых не отличаешь от снежных кочек, и улетит глубже в лес. Сосна резко обрывается, дорога круто спускается к реке, мы опрокидываемся, оправляемся, пересекаем Сосьву и снова едем по открытому месту. Только редкие малорослые березки возвышаются над снегом. Должно-быть, болотом едем.

— А сколько верст мы проехали?—справляюсь я у Никифора.

— Да верст 300, надо быть. Только кто его знает? Кто здешнии версты мерял? Архангел Михаил, больше никто не мерял... Про наши версты давно сказано: меряла баба клюкой, да махнула рукой... Ну да ничего: дня через три будем на заводах, только бы погода продержалась. А то бывает—ой-ой... Раз меня под Ляпином буран захватил: в трое суток я пять верст проехал... Не дай бог!

Вот и Малые Оурви: три-четыре жалкие юрты, из них только одна жилая. Лет двадцать тому назад они, вероятно, были заселены все. Остяки вымирают в ужасающей прогрессии... Верст через десять приедем в Большие Оурви. Застанем ли там Семена Пантюя? Достанем ли у него оленей? На наших ехать дальше нет никакой возможности...

* * *

... Неудача! В Оурви мы не застали мужиков: они с оленями стоят в чуме, на расстоянии двух оленьих побежек; приходится проехать несколько верст назад и затем свернуть в сторону. Если б остановились в Малых Оурви и разведали там, мы съэкономили бы несколько часов. В настроении, близком к отчаянию, я дожидался, пока бабы добывали нам одного оленя на смену нашему захромавшему вожаку. Как всюду и везде, оурвинские бабы находились в состоянии похмелья, и, когда я стал разворачивать съестные продукты, они попросили водки. Разговариваю с ними через Никифора, который с одинаковой свободой говорит по-русски, по-зырянски и на двух остяцких наречиях: верховом и низовом, почти несхожих между собою. Здешние остяки по-русски не говорят ни слова. Впрочем, русские ругательства целиком вошли в остяцкий язык и на-ряду с государственной водкой составляют наиболее несомненный вклад государственно-руссификаторский культуры. Среди темных звуков остяцкой речи в местности, где не знают русского слова з д р а в с т в у й, вдруг ярким метеором сверкнет удалое отечественное слово, произносимое без всякого акцента, с превосходной отчетливостью.

Время-от-времени я угощаю остяков и остячек своими папиросами. Они курят их с почтительным презрением. Эти пасти, закаленные спиртом, совершенно нечувствительны к моей жал-

кой папиросе. Даже Никифор, уважающий все продукты цивилизации, признался, что мои папиросы не заслуживают внимания. «Не в коня овес»,—пояснил он мне свой приговор.

Мы едем к чуму. Какая дичь и глушь кругом! Олени бродят по сугробам снега, путаются между деревьями в первобытной чаще,—и я решительно недоумеваю, как ямщик определяет дорогу. У него имеется для этого какое-то особое чувство, как и у этих оленей, которые удивительнейшим образом лавируют своими рогами в чаще сосновых и еловых ветвей. У нового вожака, которого нам дали в Оурви, огромные ветвистые рога, не менее пяти-шести четвертей длиною. Дорога на каждом шагу перегорожена ветвями, и кажется, что олень вот-вот запутается в них своими рогами. Но он в самую последнюю минуту делает еле заметное движение головой,—и ни одна игла не дрогнет на ветке от его прикосновения. Я долго следил неотрывающимся взглядом за этими маневрами, и они казались мне бесконечно таинственными, какими кажутся всякие проявления инстинкта нашему резонирующему разуму.

* * *

Неудача и здесь! Старик-хозяин уехал с работником в летний чум, где осталась часть оленей. Ждут его с часа на час, но когда именно он приедет, неизвестно. А без него его сын, молодой парень с рассеченной пополам верхней губой, не решается сговориться. Приходится ждать. Никифор отпустил оленей кормиться мохом, а для того, чтобы не смешать их с туземными оленями, провел несколько раз ножом по спине обоих быков и оставил на шерсти свои инициалы. Потом он на досуге поправил нашу кошеву, которая совсем растряслась дорогой. С отчаянием в душе я бродил по поляне, потом вошел в чум. На коленях у молодой остячки сидел совершенно голый мальчик лет трех-четырех; мать одевала его. Как они живут с детьми в этих шалашах при сорока, и пятидесятиградусных морозах? «Ночью ничего,—объяснял мне Никифор,—зароешься в меха и спишь. Я и сам ведь не одну зиму в чумах прожил. Остяк, так тот голым на ночь разденется, да в малицу так и влезет. Спать ничего, вставать худо. От дыхания вся одежда закуржует, хоть топором руби... Вставать худо». Молодая остячка завернула мальчика подолом

своей малицы и приложила его к груди. Здесь кормят детей грудью до пяти-шести лет.

Я вскипятил на очаге воду. Не успел оглянуться, как Никифор насыпал себе на ладонь (господи, что это за ладонь!) чаю из моей коробки и всыпал в чайник. У меня не хватило мужества сделать ему замечание, и теперь придется пить чай, побывавший на ладони, которая видела многое, но давно не видела мыла...

Остячка накормила мальчика, умыла его, потом вытерла тонкими древесными стружками, одела и отпустила из чума. Я удивлялся той нежности, какую она проявляла к ребенку. Теперь она сидит за работой: шьет малицу из оленьих шкур оленьими жилами. Работа не только прочная, но и, несомненно, изящная. Весь борт украшен узорами из кусочков белого и темного оленьего меха. В каждый шов пропущена полоска красной ткани. На всех членах семьи пимы, малицы, гуси домашней женской работы. Сколько тут положено адского труда!

Старший сын лежит в углу чума больной третий год. Он достает, где может, лекарства, принимает их в огромном количестве и живет зиму в чуме под открытым небом. У больного на редкость осмысленное лицо: страдание провело на нем черты, похожие на следы мысли... Я вспоминаю, что именно здесь, у этих самых оурвинских остяков умер месяц тому назад молодой березовский купец Добровольский, приехавший за пушниной. Он пролежал тут несколько дней, в жару, без всякой помощи...

У старика Пантюя, которого мы дожидаемся, около пятисот оленей. Он на всю округу известен своим богатством. Олень— это все: он кормит, одевает, возит. Несколько лет тому назад олень стоил 6—8 рублей, а теперь 10—15. Никифор объясняет это непрерывными эпидемиями, которые уносят оленей сотнями.

* * *

Сумерки все больше сгущаются. Ясно, что никто уж не станет к ночи ловить оленей, но не хочется сдавать последнюю надежду, и я жду старика с таким нетерпением, с каким его, может быть, никто не ждал в течение всей его долгой жизни. Было уже совсем темно, когда он, наконец, приехал с работниками. Хозяин вошел в чум чинно, поздоровался с нами и уселся у

очага. Его лицо, умное и властное, поразило меня. Очевидно, пятьсот оленей, которыми он владеет, позволяют ему чувствовать себя королем от головы до пят.

— Скажите ему,—подталкивал я Никифора,—что же время терять?

— Погодите, сейчас еще нельзя: ужинать сядут.

Вошел работник, рослый, плечистый мужик, гнусаво поздоровался, переменил в углу промокшие обутки и подвинулся к костру. Что за ужасная физиономия! Нос совершенно исчез с этого несчастного лица, верхняя губа высоко поднята, рот всегда полуоткрыт и обнажает могучие белые зубы. Я в ужасе отвернулся.

— Может быть, время поднести им спирту?—спросил я Никифора с уважением к его авторитету.

— Самое время!—ответил Никифор.

Я достал бутылку. Невестка, которая с приходом старика начала прикрывать свое лицо, зажгла у костра кусок бересты и, пользуясь ею, как лучиной, разыскала в сундуке металлическую чарку. Никифор вытер чарку подолом своей рубахи и налил до краев. Первая порция была поднесена старику. Никифор объяснил ему, что это спирт. Тот важно кивнул головой и молча выпил большую чарку спирта в 95°; ни один мускул не дрогнул на его лице. Потом пил младший сын, с рассеченной верхней губой. Он выпил через силу, сморщил свое жалкое лицо и долго плевал в костер. Потом выпил работник и долго качал головой из стороны в сторону. Потом дали больному; тот не допил и вернул рюмку. Никифор выплеснул остатки в костер, чтоб показать, каким продуктом он угощает: спирт вспыхнул ярким пламенем.

— Таак [1]),—сказал спокойно старик.

— Таак,—повторил сын, выпуская изо рта струю слюны.

— Сака таак [2]),—подтвердил работник.

Потом выпил Никифор и тоже нашел, что слишком крепко. Разбавили спирт чаем. Никифор заткнул горлышко пальцем и помахал в воздухе бутылкой. Все еще раз выпили. Потом еще раз разбавили и еще выпили. Наконец Никифор принялся излагать, в чем дело.

---

[1]) Крепкий.

[2]) Очень крепкий.

— Сака хова,—сказал старик.

— Хоза, сака хоза,—повторили за ним все хором.

— Что говорят?—спросил я нетерпеливо Никифора.

— Говорят: очень далеко... Тридцать рублей просит до заводов на проход.

— А сколько возьмет до Няксимволи?

Никифор что-то проворчал с явным неудовольствием, причину которого я понял только впоследствии, но все же поговорил со стариком и ответил мне:—до Няксимволи—13 рублей, до заводов—30.

— А когда ловить оленей?

— Чуть свет.

— А сейчас никак нельзя?

Никифор с ироническим видом перевел им мой вопрос. Все засмеялись и отрицательно покачали головами. Я понял, что ночевка неизбежна, и выбрался из чума на свежий воздух. Тихо и тепло. Я побродил с полчаса по поляне и затем улегся спать в кошеве.

В полушубке и в гусе я лежал как бы в меховой берлоге. Над чумом круг воздуха окрашен огнем догорающего очага. Вокруг абсолютная тишина. В вышине ярко и отчетливо висели звезды. Деревья стояли неподвижно. Запах оленьего меха, сопревшего от дыхания, слегка душил меня, но мех приятно согревал, безмолвие ночи гипнотизировало, и я уснул с твердым намерением чуть свет поднять на ноги мужиков и как можно раньше выехать. Сколько времени потеряно—ужас!

* * *

Несколько раз я просыпался в тревоге, но кругом стояла тьма. В начале пятого, когда часть неба просветлела, я пробрался в чум, ощупал среди других тел Никифора и растормошил его. Он поднял на ноги весь чум. Очевидно, лесная жизнь в морозные зимы не проходит этим людям даром: проснувшись, они так долго кашляли, отхаркивались и плевали на пол, что я не выдержал этой сцены и выбрался на свежий воздух. У входа в чум мальчик лет десяти лил изо рта воду на грязные руки и затем размазывал ее по грязному лицу; окончив эту операцию, он старательно вытер пучком древесных стружек.

Вскоре безносый работник и младший сын с рассеченной губой ушли на лыжах с собаками сгонять оленей к чуму. Но прошло добрых полчаса, прежде чем из леса появилась первая группа оленей.

— Должно быть, пошевелили,—объяснил мне Никифор,— теперь все стадо скоро здесь будет.

Но оказалось не так. Только часа через два собралось довольно много оленей. Они тихо бродили вокруг чума, рыли мордами снег, собирались в группы, ложились. Солнце уже поднялось над лесом и освещало снежную поляну, на которой стоит чум. Силуэты оленей, больших и малых, темных и белых, с рогами и без рогов, резко вырисовываются на фоне снега. Удивительная картина, которая кажется фантастической и которой никогда не забудешь. Оленей охраняют собаки. Маленькое лохматое животное набрасывается на группу оленей голов в пятьдесят, как только те отдалятся от чума,—и олени в бешеном страхе мчатся назад, на поляну.

Но даже эта картина не могла прогнать мысли о потерянном времени. День открытия Государственной Думы—двадцатое февраля—был для меня несчастным днем. Я дожидаюсь полного сбора оленей в лихорадочном нетерпении. Сейчас уже десятый час, а стадо далеко еще не согнано. Потеряли сутки; теперь уже ясно, что раньше 11—12 ч. выехать не удастся, да до Оурви отсюда еще верст 20—30 по плохой дороге. При неблагоприятной комбинации обстоятельств меня могут сегодня нагнать. Если допустить, что на другой же день полиция хватилась и от кого-либо из бесчисленных собутыльников Никифора узнала, по какому пути он поехал, она могла еще 19-го в ночь нарядить погоню. Мы едва отъехали 300 верст. Такое расстояние можно сделать в сутки—полторы. Следовательно, мы как раз дали неприятелю достаточно времени, чтобы догнать нас. Эта задержка может стать роковой.

Я начинаю придираться к Никифору. Ведь я говорил вчера, что нужно немедленно съездить за стариком, а не ждать. Можно было ему накинуть несколько лишних рублей, только бы выехать с вечера. Конечно, если б я сам говорил по-остяцки, я бы все это устроил. Но потому-то я и еду с Никифором, что не говорю по-остяцки... и т. д.

Никифор угрюмо смотрит мимо меня.

— Что ж ты с ним поделаешь, когда не хотят? И олень у них раскормленный, балованный,—как ты его ночью поймаешь? Ну, да ничего,—говорит он, поворачиваясь ко мне,—доедем!

— Доедем?

— Доедем!

Мне тоже начинает сразу казаться, что ничего, что доедем. Тем более, что уж вся поляна сплошь покрыта оленями, а из лесу показываются на лыжах остяки.

* * *

— Сейчас будут имать оленей,—говорит Никифор.

Я вижу, как остяки берут в руки по аркану. Старик-хозяин медлительно собирает петлю на левой руке. Потом все они долго перекрикиваются о чем-то. Очевидно, уславливаются, вырабатывают план действий и намечают первую жертву. Никифор тоже посвящен в заговор. Он всполошил какую-то группу оленей и погнал ее в широкий промежуток между стариком и сыном. Работник стоит дальше. Испуганные олени мчатся сплошной массой. Целый ручей голов и рогов. Остяки зорко следят за какой-то точкой в этом потоке. Раз! Старик бросил свой аркан и недовольно покачал головой. Раз! Молодой остяк тоже промахнулся. Но вот безносый работник, который на открытом месте, среди оленей, внушил мне сразу уважение своим стихийно-уверенным видом, метнул аркан, и уже по движению его руки видно было, что он не промахнется. Олени шарахнулись от веревки, но белый большой олень с бревном на шее, сделав два-три прыжка, остановился и завертелся на месте: петля опутала его вокруг шеи и рогов.

Никифор объяснил мне, что это поймали самого хитрого оленя, который мутит все стадо и уводит его в самый нужный момент. Теперь белого бунтаря привяжут, и дело пойдет лучше. Остяки стали снова собирать свои арканы, наматывая их на левую руку. Потом перекрикивались, вырабатывая новый план действий. Бескорыстный азарт охоты овладел и мною. Я узнал от Никифора, что теперь хотят поймать вон ту широкую важенку с короткими рогами, и принял участие в военных действиях. Мы погнали с двух сторон группу оленей в ту сторону, где настороже стояло три аркана. Но важенка, очевидно, знала,

что ждет ее. Она сразу бросилась в сторону и ушла бы совсем в лес, если б ее не переняли собаки. Пришлось снова предпринять ряд обходных движений. Победителем оказался и на этот раз работник, который улучил момент и набросил хитрой важенке петлю на шею.

— Это важенка неплодная,—объяснил мне Никифор,—телят не носит, поэтому в работе очень крепка.

Охота становилась интересной, хотя и затягивалась. После важенки поймали сразу в два аркана огромного оленя, который походил на подлинного быка. Затем произошел перерыв: группа нужных оленей вырвалась из круга и ушла в лес. Снова работник с младшим сыном ушли на лыжах в лес, и мы ждали их около получаса. Под конец охота пошла успешнее, и общими силами поймали тринадцать оленей: семь—нам с Никифором в дорогу и шесть штук—хозяевам. Около одиннадцати часов мы выехали, наконец, на четырех тройках из чума по направлению к Оурви. «На заводы» с нами поедет работник. Сзади его нарты привязан седьмой, запасной олень.

* * *

Захромавший бык, которого мы, уезжая в чум, оставили в оурвинских юртах, так и не поправился. Он печально лежал на снегу и дался в руки без аркана. Никифор еще раз пустил ему кровь—так же бесцельно, как и прежде. Остяки стали уверять, что олень вывихнул себе ногу. Никифор постоял над ним в недоумении и затем продал его на мясо одному из здешних хозяев за восемь рублей. Тот потащил бедного оленя на веревке. Так печально кончилась судьба оленя, «которому нет равного в мире». Любопытно, что Никифор продал оленя, не справившись о моем согласии. По нашему уговору, быки поступали в его собственность лишь после благополучного прибытия на место. Мне очень не хотелось отдавать оленя, сослужившего мне такую ценную службу, под нож. Но протестовать я не решился... Совершив свою торговую операцию и укладывая деньги в кошелек, Никифор обернулся ко мне и сказал: «Вот и получил двенадцать рублей чистого убытку». Чудак! Он забыл, что оленей покупал я, и что они, по его уверению, должны были доставить меня на место. А между тем я проехал на них каких-нибудь 300 верст и нанял других.

Сегодня так тепло, что подтаивает. Снег размяк и мокрыми комьями летит из-под копыт во все стороны. Оленям тяжело. Вожаком у нас идет однорогий бык довольно скромного вида. Справа—бесплодная важенка, усердно перебирающая ногами. Между ними—жирный малорослый олень, впервые узнавший сегодня, что такое упряжка. Под конвоем слева и справа он честно выполняет свои обязанности. Остяк ведет впереди нарты с моими вещами. Поверх малицы он надел ярко-красный балахон и на фоне белого снега, серого леса, серых оленей и серого неба он выделяется, как нелепое и в то же время необходимое пятно.

Дорога так тяжела, что на передних нартах дважды обрывались постромки: при каждой остановке полозья примерзают к дороге, и нарты трудно сдвинуть с места. После первых двух побежек олени уже заметно устали.

— Остановимся ли мы в Нильдинских юртах чай пить?—спросил меня Никифор.—Следующие юрты далече.

Я видел, что ямщикам хочется чаю, но мне жалко было терять время, особенно после того, как мы сутки простояли в Оурви. Я дал отрицательный ответ.

— Ваша воля,—ответил Никифор и сердито ткнул шестом бесплодную важенку.

* * *

Молча мы проехали еще верст сорок: когда Никифор трезв, он угрюм и молчалив. Стало холоднее, дорога подмерзала и все улучшалась. В Санги-тур-пауль мы решили остановиться. Юрта здесь на диво: есть скамейки, есть стол, покрытый клеенкой. За ужином Никифор перевел мне часть разговора безносого ямщика с бабами, прислуживавшими нам, и я услышал любопытные вещи. Месяца три тому назад у этого остяка повесилась жена. И на чем? Чорт знает, на чем, сообщал мне Никифор,—на тоненькой старой мочальной веревочке, повесилась «сижа» (сидя), привязав один конец к суку. Муж был в лесу, белку промышлял вместе с другими остяками. Приезжает десятский, тоже остяк, зовет в юрты: жена захворала шибко («значит, и у них не сразу объявляют», мелькает у меня в голове). Но муж ответил: «Разве ж там некому огонь в очаге развести,—на то с ней мать живет,—а я чем могу помочь?» Но десятский настоял, муж при-

ехал в юрты, а жена уж «поспела».—Это у него вторая жена уже,—закончил Никифор.

— Как? и та повесилась?

— Нет, та своей смертью померла, от хворости, как следует...

Оказалось, что двое хорошеньких ребят, с которыми, к великому моему ужасу, целовался в губы наш остяк при отъезде из Оурви, его дети от первой жены. Со второй он прожил около двух лет.

— Может, ее силой выдали за этакого?—спросил я.

Никифор навел справку.

— Нет, говорит, сама к нему пошла. Потом он ее старикам 30 рублей калыму дал и жил с ними вместе. А по какой причине удавилась—неизвестно.

— У них это, должно быть, очень редко бывает?—спросил я.

— Что не своей смертью помирают? У остяков это частенько бывает. Летось у нас тоже один остяк из ружья убился.

— Как? нарочно?

— Не, нечаянно... А то еще у нас в уезде полицейский писарь застрелился. Да где?—На полицейской каланче. Взлез на самый верх: вот вам, говорит, сукины сыны!—и застрелился.

— Остяк?

— Не... Молодцоватов—русский субъект... Никита Митрофанович.

* * *

Когда мы выехали из Санги-турских юрт, было уже темно. Оттепель давно прекратилась, хотя было все же очень тепло. Дорога установилась прекрасная, мягкая, но не топкая, —самая дельная дорога, как говорит Никифор. Олени ступали чуть слышно и тянули нарты шутя. В конце концов, пришлось отпрячь третьего и привязать сзади, потому что от безделья олени шарахались в сторону и могли разбить кошеву. Нарты скользили ровно и бесшумно, как лодка по зеркальному пруду. В густых сумерках лес казался еще более гигантским. Дороги я совершенно не видел, передвижения нарт почти не ощущал. Казалось, заколдованные деревья быстро мчались на нас, кусты убегали в сторону, старые пни, покрытые снегом, рядом со стройными бе-

резками проносились мимо нас. Все казалось полным тайны. Чу-чу-чу-чу... слышалось частое и ровное дыхание оленей в безмолвии лесной ночи. И в рамках этого ритма в голове всплывали тысячи забытых звуков. Вдруг в глубине этого темного леса свист. Он кажется таинственным и бесконечно-далеким. А между тем это остяк развлек своих оленей в пяти шагах от меня. Потом снова тишина, снова далекий свист, и деревья бесшумно мчатся из мрака в мрак.

В полудремоте мною начинает овладевать тревожная мысль. По обстановке моей поездки остяки должны меня принимать за богатого купца. Глухой лес, темная ночь, на 50 верст вокруг ни человека, ни собаки. Что их может остановить? Хорошо еще, что у меня есть револьвер. Но ведь этот револьвер заперт в саквояже, а саквояж увязан на нартах ямщика,—того самого безносого остяка, который мне в данную минуту начинает почему-то казаться особенно подозрительным. Непременно нужно будет,—решаю я,—извлечь на стоянке револьвер из саквояжа и положить рядом с собою.

Удивительное существо этот наш ямщик в красной мантии! Повидимому, отсутствие носа не повлияло на его обоняние; кажется, будто он чутьем определяет место и находит дорогу. Он знает каждый куст и чувствует себя в лесу, как в юрте. Вот он что-то сказал Никифору: оказывается, здесь под снегом должен быть мох, значит, можно покормить оленей. Мы остановились и выпрягли оленей. Было часа три ночи.

Никифор объяснил мне, что их, зырянские, олени хитрые, и что сколько он, Никифор, ни ездил, никогда не отпускал их кормиться вольно, а всегда кормил на привязи. Отпустить оленя легко,—а если потом не поймаешь? Но остяк держался других взглядов и решил отпустить своих оленей на честное слово. Такое благородство подкупало, но я с сомнением всматривался в оленьи морды. Что, если им покажется более привлекательным тот мох, который растет в окрестностях оурвинского чума? Это было бы поистине печально. Впрочем, прежде чем отпустить оленей на чисто-моральных основаниях, ямщики срубили две высокие сосны и разрубили их на семь бревен, аршина полтора каждое. Бревна эти были в качестве сдерживающего начала подвешены на шею каждому оленю в отдельности. Надо надеяться, что эти брелоки не окажутся слишком легкими...

Отпустив оленей, Никифор нарубил дров, обтоптал вблизи дороги круг в снегу и разложил в углублении костер, а вокруг настлал еловых ветвей и устроил помост для сиденья. На двух сырых ветках, воткнутых в снег, повесили два котелка и набивали их снегом, по мере того, как он таял... Чаепитие у костра на февральском снегу показалось бы, вероятно, гораздо менее привлекательным, если б хватил мороз градусов в 40—50. Но небо удивительно покровительствовало: стояла тихая и теплая погода.

Боясь проспать, я не лег вместе с ямщиками. Около двух часов просидел у костра, поддерживая в нем огонь и записывая при его мерцающем свете путевые впечатления.

* * *

Чуть свет я разбудил ямщиков. Оленей поймали без всяких затруднений. Пока их привели и запрягали, стало совсем светло, и все приняло совершенно прозаический вид. Сосны уменьшились в объеме. Березы не мчались нам навстречу. У остяка был заспанный вид, и мои ночные подозрения рассеялись, как дым. Заодно я вспомнил, что в древнем револьвере, который я добыл перед отъездом, только два патрона, и что меня убедительно просили не стрелять из него во избежание несчастных случаев. Револьвер так и остался в саквояже.

Пошел сплошной лес: сосна, ель, береза, могучая лиственница, кедр, а над рекой—тал и гибкий чернотал. Дорога хороша. Олени бегут ровно, но без резвости. На передних нартах остяк понурил голову и поет свою унылую песню, в которой только четыре ноты. Может быть, он вспоминает старую мочальную веревку, на которой повесилась его вторая жена. Лес, лес... Однообразный на неизмеримом пространстве и в то же время бесконечно разнообразный в своих внутренних сочетаниях. Вот через всю дорогу перекинулась подгнившая сосна. Огромная, она во всю длину покрыта снежным саваном, который нависает над нашими головами. А вот здесь, очевидно, прошлой осенью горел лес. Сухие, прямые стволы, без коры и без ветвей, стоят как бессмысленно натыканные телеграфные столбы или как некрыленные парусами мачты замерзшей гавани. Несколько верст мы едем пожарищем. Потом пошла сплошная ель, ветвистая, темная, частая. Старые гиганты теснят друг друга, вершины

их смыкаются в высоте и не дают доступа солнечным лучам. Ветви затканы какими-то зелеными нитями, точно покрыты грубой паутиной. И олени и люди становятся меньше среди этих вековых елей. Потом дерево сразу пошло мельче, и на снежную поляну рассыпным строем выбежали сотни молодых елок и застыли в равном расстоянии друг от друга. За поворотом дороги наш поезд едва не наскочил вдруг на маленькие нарты с дровами, запряженные тремя собаками и девочкой-остячкой. Сбоку шел мальчик лет пяти. Очень красивые дети. У остяков, как я заметил, вообще, нередко миловидные дети. Но отчего же так безобразны взрослые?

Лес и лес... Вот снова пожарище, повидимому, старое: среди обгорелых стволов идет в гору молодая поросль.—Отчего загораются леса? от костров?—Какие тут костры?—отвечает Никифор,—тут и души живой летом не бывает: летом дорога рекой идет. От тучи леса загораются. Ударит туча и зажжет. А то еще дерево о дерево трется, пока не загорится: качает их ветер, а летом дерево сухое. Тушить? Кому тут тушить? Ветер огонь разносит, ветер и тушит. Клей сверху обгорит, кора облупится, хвоя обгорит, а ствол останется. Года через два корень высохнет, и ствол свалится...

Много тут голых стволов, вот-вот готовых упасть. Иной держится на тонких ветвях соседней ели. А этот совсем уже было падал на дорогу, но задержался, бог весть как, аршина на три вершиной от земли. Нужно наклониться, чтоб не расшибить головы. Снова полоса могучих елей тянется в течение нескольких минут, затем внезапно открывается просека на речку.

— Пс таким просекам весной хорошо уток ловить. Птица весной сверху вниз летит. Вот по заходе солнца на такой просеке натягиваешь сеть—от дерева и до дерева, до самого верху. Большая такая сеть, что твой невод. Сам тут же под деревом лежишь. Утка стаей летит на просеку и в сумерки вся так стаей в сеть и вобьется. Тогда за веревочку дернешь, сеть упадет и всю добычу накроет. Штук по 50 можно так сразу взять. Только успевай закусывать.

— Как закусывать?

— Убить-то ее надо ведь, чтоб не разлетелась? Вот и закусываешь ей зубами головку сверху—только поспевай... кровь по губам так и течет... Конечно, и палкой тоже можно бить ее, только зубами вернее...

Сперва олени, как и остяки, казались мне все на одно лицо. Но вскоре я убедился, что каждый из семи оленей имеет свою физиономию, и я научился ее различать. Временами чувствую нежность к этим удивительным животным, которые уже приблизили меня на пятьсот верст к железной дороге.

Спирт у нас весь вышел. Никифор трезв и угрюм. Остяк поет свою песню о мочальной веревке. Минутами мне невыразимо странно думать, что это я, именно я, а не кто другой, затерялся среди необъятных, пустынных пространств. Эти две нарты, эти семь оленей и эти два человека,—все это движется вперед ради меня. Два человека, взрослых, семейных, оставили свои дома и переносят все трудности этого пути, потому что это нужно кому-то третьему, чужому и чуждому им обоим.

Такие отношения имеются всюду и везде. Но нигде они, пожалуй, не могут так поразить воображение, как здесь, в тайге, где они выступают в такой грубой, обнаженной форме...

* * *

После ночной кормежки оленей мы проехали мимо Сарадейских и Менк-я-паульских юрт. Только в Ханглазских мы сделали привал. Здесь народ, пожалуй, еще дичее, чем в других юртах. Все им в диковинку. Мои столовые принадлежности, мои ножницы, мои чулки, одеяло в кошеве, все вызывало восторг изумления. При виде каждой новой вещи все крякали. Для справки я развернул пред собою карту Тобольской губернии и прочитал вслух имена всех соседних юрт и речек. Они слушали, разиня рты, и когда я кончил, хором заявили, как перевел Никифор, что все совершенно верно. У меня не оказалось мелочи и в благодарность за кров и очаг я дал всем мужчинам и бабам по три папиросы и по конфете. Все были довольны. Старушка-остячка, менее безобразная, чем другие, и очень бойкая, буквально влюбилась в меня, т.-е. собственно во все мои вещи. И по улыбке ее видно было, что чувство ее—совершенно бескорыстное восхищение явлениями другого мира. Она помогла мне укрыть ноги одеялом, после чего мы с ней очень хорошо простились за руки, и каждый сказал несколько приятных слов на своем языке.

— А скоро Дума соберется?—спрашивает меня неожиданно Никифор.

— Да вот уж третьего дня собралась...

— Ага... Что-то она теперь скажет? Надо бы *их*, надо бы урезонить, едят их мухи. Нашего брата вовсе прижучили. Мука, например, была рубль пятьдесят копеек, а теперь, вот, остяк говорил, рубль восемьдесят стала. Как жить при этаких ценах? А нас, зырян, пуще теснят: соломы воз привез—плати, дров сажень поставил—плати. Русские и остяки говорят: «земля наша». Думе бы надо в это дело вступиться. Урядник-то у нас ничего—маховый человек, а вот пристав не под нашу лапу.

— Не очень-то Думе дадут вступиться: разгонят.

— Вот то-то и есть, что разгонят,—подтвердил Никифор и прибавил при этом несколько сильных слов, энергии которых мог бы позавидовать бывший саратовский губернатор Столыпин.

В Няксимвольские юрты мы приехали ночью. Оленей здесь сменить можно, и я решил это сделать, несмотря на оппозицию Никифора. Он все время настаивал, чтобы нам ехать на оурвинских оленях «на проход», без смены, приводя самые несообразные аргументы и чиня мне всякие препятствия при переговорах. Я долго дивился его поведению, пока не понял, что он заботится об обратном пути: на оурвинских оленях он вернется обратно в чум, где оставил своих. Но я не сдался, и за 18 рублей мы наняли свежих оленей до Никито-Ивдельского, большого золотопромышленного села под Уралом. Это последний пункт «оленного» тракта. Оттуда до железной дороги придется еще верст полтораста проехать на лошадях. От Няксимволи до Ивделя считается 250 верст—сутки хорошей езды.

Здесь повторилась та же история, что в Оурви: ночью ловить оленей невозможно; пришлось заночевать.

Остановились мы в бедной зырянской избе. Хозяин служил раньше приказчиком у купца, но не поладил и теперь сидит без места и без работы. Он сразу поразил меня своей литературной не-крестьянской речью. Мы разговорились. Он с полным пониманием рассуждал о возможностях разгона Думы, о шансах правительства на новый заем.—Издан ли весь Герцен?—справился он, между прочим. И в то же время этот просвещенный человек—чистейший варвар. Он пальцем о палец не ударит, чтоб помочь своей жене, которая содержит всю семью. Она печет для остяков хлебы—две печи в сутки. Дрова и воду носит на себе. Да, кроме того, дети у нее же на руках. Всю ночь, что мы провели у нее, она не ложилась ни на час. За перегородкой горела лампочка,

и по шуму слышно было, что идет какая-то тяжелая возня с тестом. Утром она попрежнему была на ногах, ставила самовар, одевала детей и подавала проснувшемуся мужу высохшие пимы.

— Что же муж-то ваш вам не помогает?—спросил я ее, когда мы с ней остались в избе одни.

— Да работы ему настоящей нету. Рыбу тут промышлять—негде. За пушниной охотиться он не привычен. Земли тут не пашут,—в прошлом году только первый раз соседи пахать пробовали. Что ж ему делать то? А по домашности наши мужики не работают. Да и ленивы они, надо правду сказать, немногим лучше остяков. Оттого-то русские девки никогда за зырян замуж не выходят. Что ей за охота в петлю лезть? Это только мы, зырянки, привыкли.

— А зырянки за русских замуж выходят?

— Сколько хочешь. Русские мужики любят на наших бабах жениться, потому что против зырянки никто не сработает. Но только за зырянина русская девка никогда не пойдет. Такого и случая не было.

— Вы вот говорили, что ваши соседи пробовали пахать. Что ж, уродило у них?

— Хорошо уродило. Один полтора пуда ржи посеял—собрал тридцать пудов. Другой пуд посеял—собрал двадцать пудов. Верст сорок отсюда до пашни.

Няксимволи—первое место на пути, где я услышал о земледельческих попытках.

* * *

Выехать отсюда нам удалось только после полудня. Новый ямщик, как все ямщики, обещал выехать «чуть свет», а в действительности привел оленей только к 12 часам дня. С нами он отправил мальчика.

Солнце светило ослепительно ярко. Трудно было открыть глаза, даже сквозь веки снег и солнце вливались в глаза расплавленным металлом. И в то же время дул ровный, холодный ветер, не дававший снегу таять. Только когда въехали в лес, глаза получили возможность отдохнуть. Лес тот же, что и прежде, и такое же количество звериных следов, которые я при помощи Никифора научился различать. Вот заяц путал свои бестолковые петли. Заячьих следов масса, потому что за зайцем тут никто не

охотится. Вот целый круг вытоптан заячьими лапами, а от него радиусом во все стороны расходятся следы. Подумаешь, что ночью тут был митинг и, застигнутые патрулем, зайцы бросились врассыпную. Куропаток здесь тоже много, и отпечаток острой лапки там и здесь виден на снегу. Вдоль дороги шагов на тридцать ровной линией, нога в ногу вытянулся в ряд вкрадчивый след лисы. Вон по снежному откосу спускались к реке, друг за другом, гуськом, серые волки, растаптывая один и тот же след. Везде и всюду разбросан еле-заметный следок лесной мыши. Легкий горностай оставил во многих местах свой след, точно отпечаток узлов вытянутой веревочки. Вот дорогу пересекает ряд огромных ям: это неуклюже ступал лось.

Ночью мы снова остановились, отпустили оленей, развели костер, пили чай, и утром я снова в лихорадочном состоянии ожидал оленей. Прежде, чем отправиться за ними, Никифор предупредил, что у одного из них отвязалась колотушка.

— Что ж он, ушел?

— Бык-то здесь,—ответил Никифор, и тут же начал обстоятельно бранить хозяина оленей, который не дал в дорогу никакой справы: ни веревки, ни аркана. Я понял, что дело обстоит не вполне благополучно.

Сперва был пойман бык, случайно подошедший к нартам. Никифор долго хрипел по-оленьи, чтоб заслужить расположение быка. Тот подходил совсем близко, но как только замечал подозрительное движение, немедленно бросался назад. Эта сцена повторялась раза три. Наконец Никифор разостлал петлями небольшую веревку, снятую с кошевы, и прикрыл ее снегом. Потом стал снова вкрадчиво хрипеть и курлыкать. Когда олень приблизился, осторожно ступая ногами, Никифор рванул веревку, и колотушка оказалась в петле. Пойманного быка на веревке потащили в лес, к остальным оленям, в качестве парламентера. После того прошел добрый час. В лесу совсем рассвело. Время-отвремени я слышал в отдалении человеческие голоса. Потом все снова затихло. Как обстоит дело с оленем, избавившимся от колотушки? В дороге я слышал поучительные рассказы о том, как приходится иногда по три дня разыскивать ушедших оленей.

Нет, ведут!

Сперва поймали всех оленей, кроме «вольного». Тот бродил вокруг да около и не поддавался ни на какую лесть. Потом сам

подошел к пойманным оленям, стал среди них и уткнул морду в снег. Никифор подкрался к нему ползком и схватил вольника за ногу. Тот рванулся, опрокинулся сам и опрокинул человека. Но не тут-то было! Победителем оказался Никифор.

* * *

Около 10 часов утра приехали в Соу-вада. Три юрты заколочены, только одна жилая. На бревнах лежала огромная туша убитой самки лося, немного дальше—изрезанный дикий олень; куски посиневшего мяса лежали на закопченой крыше и среди них—два лосиных теленка, вырезанных из брюха матери. Все население юрты было пьяно и спало вповалку. На наше приветствие никто не откликнулся. Изба большая, но невероятно грязная, без всякой мебели. В окне—треснувшая льдина, припертая снаружи палками. На стене—двенадцать апостолов, портреты всех монархов и объявление резиновой мануфактуры.

Никифор сам развел огонь в очаге. Потом встала остячка, пошатываясь от хмеля. Подле нее спали трое ребят, один—грудной. Последние дни у хозяев была большая удачная охота. Кроме лося, добыли семь диких оленей; шесть туш лежат еще в лесу.

— Почему так много везде пустых юрт?—спрашивал я Никифора, когда мы выехали из Соу-вада.

— От разных причин... Если кто помер в избе, остяк в ней жить не будет: или продаст, или заколотит, или перенесет на новый оклад. То же, если женщина, когда нечиста, войдет в избу,—тогда конец, меняй избу. У них в это время женщины особь живут, в шалашах... А то еще вымирают остяки шибко... Вот юрты и пустуют.

— Вот что́, Никифор Иванович, вы теперь меня купцом больше не называйте... Как станем выезжать на заводы, вы говорите про меня, что я инженер из экспедиции Гете. Слыхали про эту экспедицию?

— Не слыхал.

— Видите ли, есть проект провести железную дорогу от Обдорска к Ледовитому океану, чтоб сибирские товары можно было оттуда на пароходах прямо вывозить за границу. Вот вы и говорите, что я ездил в Обдорск по этому делу.

День был на исходе. До Ивделя оставалось меньше полусотни верст. Мы приехали в вогульские юрты Ойка-пауль. Я

попросил Никифора войти в избу—посмотреть, что и как. Он вернулся минут через десять. Оказалось, изба полна народа. Все пьяны. Пьют местные вогулы вместе с остяками, везущими купеческую кладь в Няксимволи. Я отказался входить в избу из опасения, чтоб Никифор не напился под самый конец. «Я пить не буду,—успокаивал он меня,—только куплю у них бутылочку в дорогу».

К нашей кошеве подошел высокий мужик и стал о чем-то по-остяцки спрашивать Никифора. Разговора я не понимал до того момента, как с обеих сторон раздались энергичные салюты на чистом русском языке. Подошедший был не вполне трезв. Никифор, ходивший в юрту за справкой, тоже успел потерять за этот короткий промежуток необходимое равновесие. Я вмешался в разговор. «Чего он хочет?»—спросил я Никифора, принимая его собеседника за остяка. Но тот ответил сам за себя. Он обратился к Никифору с обычным вопросом: кто едет и куда? Никифор послал его к чорту, что и послужило основой дальнейшего обмена мыслей.

— Да вы кто будете: остяк или русский?—спросил я в свою очередь.

— Русский, русский... Широпанов я, из Няксимволи. А вы не из компании ли Гете будете?—спросил он меня.

Я был поражен.

— Да, из компании Гете. А вы откуда знаете?

— Меня туда приглашали из Тобольска, когда отправлялись еще для первого исследования. Один англичанин тогда был там, инженер, Чарльз Вильямович... вот фамилию его я забыл...

— Путман?—подсказал я наобум.

— Путман? Нет, не Путман... Путманова жена была, а тот назывался Крузе.

— А теперь что вы делаете?

— У Шульгиных в Няксимволи приказчиком служу, с их кладью еду. Только вот третьи сутки хвораю: все тело ломит...

Я предложил ему лекарства. Пришлось войти в юрту.

* * *

Огонь в очаге догорал, и никто о нем не заботился, было почти совсем темно. Изба полным-полна. Сидели на нарах, на полу, стояли. Женщины при виде нового приезжего по обыкнове-

нию полузакрыли платками лица. Я зажег свечу и отсыпал Широпанову салицилового натру. Тотчас же меня со всех сторон обступили пьяные и полупьяные остяки и вогулы с жалобами на свои болезни. Широпанов был переводчиком, и я добросовестно давал от всех болезней хинин и салициловый натр.

— А верно, что ты там живешь, где царь живет?—спросил меня ломаным русским языком старый, высохший вогул маленького роста.

— Да, в Петербурге,—ответил я.

— Я на выставке был, всех видел, царя видал, полицеймейстера видал, великого князя видал...

— Вас туда депутацией возили? В вогульских костюмах?

— Да, да, да...—все утвердительно замахали головами.

— Я тогда моложе был, крепче... Теперь старик, хвораю...

Я и ему даю лекарства. Остяки были мною очень довольны, пожимали руки, в десятый раз упрашивали выпить водки и очень огорчались моими отказами. У очага сидел Никифор, пил чашку за чашкой, чередуя чай с водкой. Я несколько раз многозначительно взглядывал в его сторону, но он сосредоточенно глядел в чашку, делая вид, что не замечает меня. Пришлось дожидаться, пока Никифор напьется «чаю».

— Мы третьи сутки из Ивделя едем, сорок пять верст, все время пьют остяки. В Ивделе у Митрия Митрича стояли, у Лялина. Отличный человек. Он с заводов новые книжки привез: «Народный календарь», газету тоже. В календаре, например, точно показано, кто сколько жалованья получает: кто 200 тысяч, кто—полтораста. За что, например? Я этого ничего не признаю. Я вас не знаю, господин, а только я вам прямо говорю: мне... не надо... не желаю... не к чему... Двадцатого числа Дума собралась; эта будет еще получше прежней. Посмотрим, посмотрим, что сделают господа социалы... Социалов там человек пятьдесят будет, да народников полтораста, да кадетов сто... Черных совсем мало.

— А сами вы какой партии сочувствуете, если можно узнать?—спросил я.

— Я по своим убеждениям социал-демократ... потому что социал-демократия все рассматривает с точки зрения научного основания.

Я протер глаза. Глухая тайга, грязная юрта, пьяные вогулы, и приказчик какого-то мелкого кулака заявляет, что он социал-

демократ в силу «научного основания». Признаюсь, я почувствовал прилив партийной гордости.

— Напрасно же вы торчите в этих глухих и пьяных местах,— сказал я ему с искренним сожалением.

— Что поделаешь? Я раньше в Барнауле служил, потом без места остался. Семья. Пришлось сюда ехать. А уж с волками жить—по-волчьи выть. Я вот тогда отказался с экспедицией Гете ехать, а теперь бы с удовольствием. Если понадобится, напишите.

Мне стало неловко и хотелось сказать ему, что я вовсе не инженер и не член экспедиции, а беглый «социал»... но подумал и — воздержался.

Время было усаживаться на нарты. Вогулы окружили нас на дворе с зажженной свечой, которую я, по их просьбе, подарил им. Было так тихо, что свеча не тухла. Мы много раз прощались, какой-то молодой остяк даже сделал попытку поцеловать мою руку. Широпанов принес шкуру дикого оленя и положил ее на мою кошеву в качестве подарка. Уплаты ни за что не хотел принять, и мы кончили тем, что я подарил ему бутылку рому, которую вез «на всякий случай». Наконец, тронулись.

* * *

К Никифору вернулась его говорливость. Он в сто первый раз рассказывал мне, как он сидел у брата, как пришел Никита Серапионович—«хитрый мужик!»—и как он, Никифор, сперва отказался, и как ефрейтор Сусликов дал ему пять целковых и сказал «вези!»—и как дядя Михаил Егорыч—«добрый мужик!»— сказал ему: «Дурак! зачем сразу не сказал, что везешь этого субъекта?»... Закончив, Никифор начинал снова: «Я вам теперь окончательно откроюсь... Сидел я у брата, у Пантелей Ивановича, не пьяный, а выпивши, как сейчас. Ну, ничего, сидел. Вдруг это, слышу, приходит Никита Серапионович»...

— Ну вот, Никифор Иванович, скоро приедем. Спасибо вам. Никогда трудов ваших не забуду. Если б только можно было, я бы и в газетах напечатал: «Покорнейше, мол, благодарен Никифору Ивановичу Хренову; без него не уехать бы мне никогда».

— А почему ж нельзя?

— А полиция?

— Да, верно. А то хорошо бы. Раз уж меня было пропечатали.

— Как?

— Дело такое было. Один обдорский купец сестрин капитал присвоил, а я ему—надо правду сказать—помощь оказал. Помощь не помощь, а так... посодействовал. Раз, говорю, деньги у тебя, значит, тебе бог дал. Правильно?

— Ну, не совсем.

— Ладно... Значит, посодействовал. Никто не узнал,—только один субъект, Петр Петрович Вахлаков, проведал. Шельма! Взял да и напечатал в газете: «Один вор, купец Адрианов, украл, а другой вор, Никифор Хренов, концы спрятать пособил». Все верно, так и напечатано...

— А вы бы его в суд—за клевету!—посоветовал я Никифору.—У нас один министр, может быть, слышали, Гурко, не то украл, не то помог украсть, а когда его уличили, он и привлек за клевету. Вот бы и вам.

— Хотел! Да нельзя; он мне приятель первый... Это он не по злобе, а для шутки... Маховой мужик—на все руки. Одним словом вам сказать,—не человек, а прейс-курант!..

* * *

Часа в четыре ночи мы приехали в Ивдель. Остановились у Дмитрия Дмитриевича Лялина, которого Широпанов мне рекомендовал, как «народника». Он оказался сердечным и любезнейшим человеком, которому я рад здесь высказать искреннюю признательность.

— У нас тихая жизнь,—рассказывал он мне за самоваром.— Даже революция нас не коснулась. Событиями мы, конечно, интересуемся, следим за ними по газетам, сочувствуем передовому движению, в Думу посылаем левых, но самих нас революция на ноги не подняла. На заводах, в рудниках—там были стачки и демонстрации. А мы тихо живем, даже полиции у нас нет, кроме горного урядника... Телеграф только у Богословских заводов начинается, там же и железная дорога, верст 130 отсюда.—Ссыльные? Есть и у нас несколько человек: три лифляндца, учитель, цирковой атлет. Все на драге работают, нужды у них особенной нет. Тоже тихо живут, как и мы, ивдельцы. Золото ищем, по вече-

рам на огонек друг к другу ходим... Здесь поезжайте до Рудников смело, никто не остановит: можно отправиться на земской почте, можно на вольных. Я вам найду ямщика.

С Никифором мы распрощались. Он еле держался на ногах.

— Смотрите, Никифор Иванович,—сказал я ему,—как бы вас вино на обратном пути не подвело.

— Ничего... что будет брюху, то и хребту,—ответил он мне на прощанье.

* * *

Здесь в сущности кончается «героический» период истории моего побега—переезд на оленях по тайге и тундре на протяжении семи-восьмисот верст. Побег, даже в своей наиболее рискованной части, оказался, благодаря счастливым обстоятельствам, гораздо проще и прозаичнее, чем он представлялся мне самому, когда был еще в проекте, и чем он представляется другим лицам со стороны, если судить по некоторым газетным сообщениям. Дальнейшее путешествие ничем не походило на побег. Значительную часть пути до Рудников я проделал в одной кошеве с акцизным чиновником, производившим по тракту учет винных лавок.

В Рудниках я заехал кое-к-кому справиться, насколько безопасно садиться здесь на железную дорогу. Провинциальные конспираторы очень напугали меня местным шпионажем и рекомендовали, прождав неделю в Рудниках, ехать с обозом на Соликамск, где будто бы все окажется не в пример безопаснее. Я не внял этому совету—и не жалею об этом. 25 февраля ночью я без всяких затруднений сел у Рудников в вагон узкоколейной железной дороги и после суток медленной езды пересел на станции Кушва в поезд Пермской дороги. Затем через Пермь, Вятку и Вологду я прибыл в Петербург вечером 2-го марта. Таким образом пришлось пробыть в пути двенадцать суток, чтоб получить возможность проехать на извозчике по Невскому проспекту. Это совсем недолго: «туда» мы ехали месяц.

На подъездном уральском пути положение мое было далеко еще не обеспеченным: по этой ветке, где замечают каждого «чужого» человека, меня на каждой станции могли арестовать по телеграфному сообщению из Тобольска. Но когда я через сутки оказался в удобном вагоне Пермской дороги, я сразу почувствовал, что дело мое выиграно. Поезд проходил через те же станции,

на которых недавно нас с такой торжественностью встречали жандармы, стражники и исправники. Но теперь мой путь лежал совсем в другом направлении и ехал я совсем с другими чувствами. В первые минуты мне показалось тесно и душно в просторном и почти пустом вагоне. Я вышел на площадку, где дул ветер и было темно, и из груди моей непроизвольно вырвался громкий крик—радости и свободы!

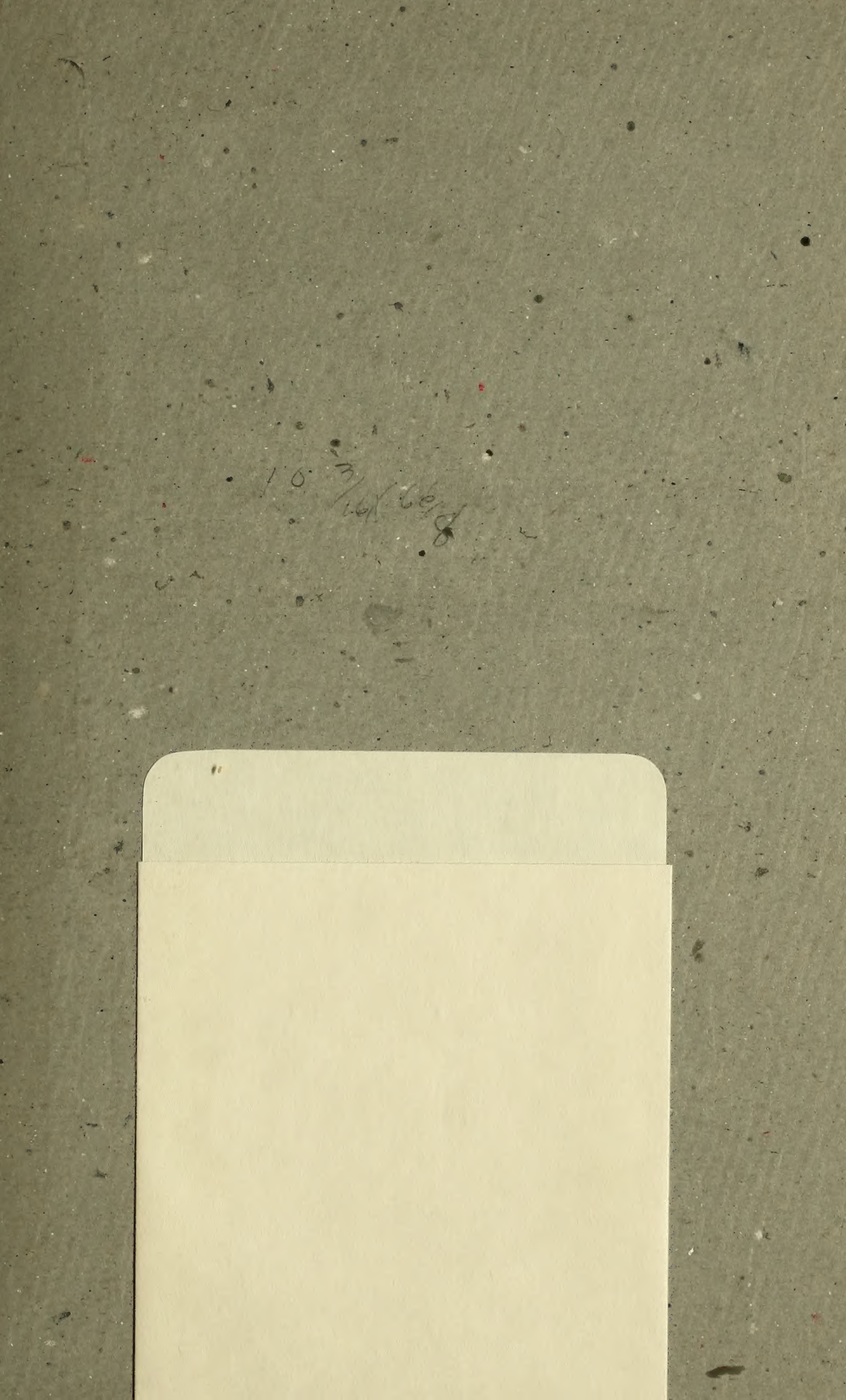
А поезд Пермь-Котласской дороги увозил меня вперед, вперед и вперед.

---

# Алфавитный указатель.

# ОГЛАВЛЕНИЕ.

*Часть II.* *Стр.*





DUKE UNIVERSITY LIBRARIES
1905 / L. Trotskii.
947.08 T858RA
D90441864-